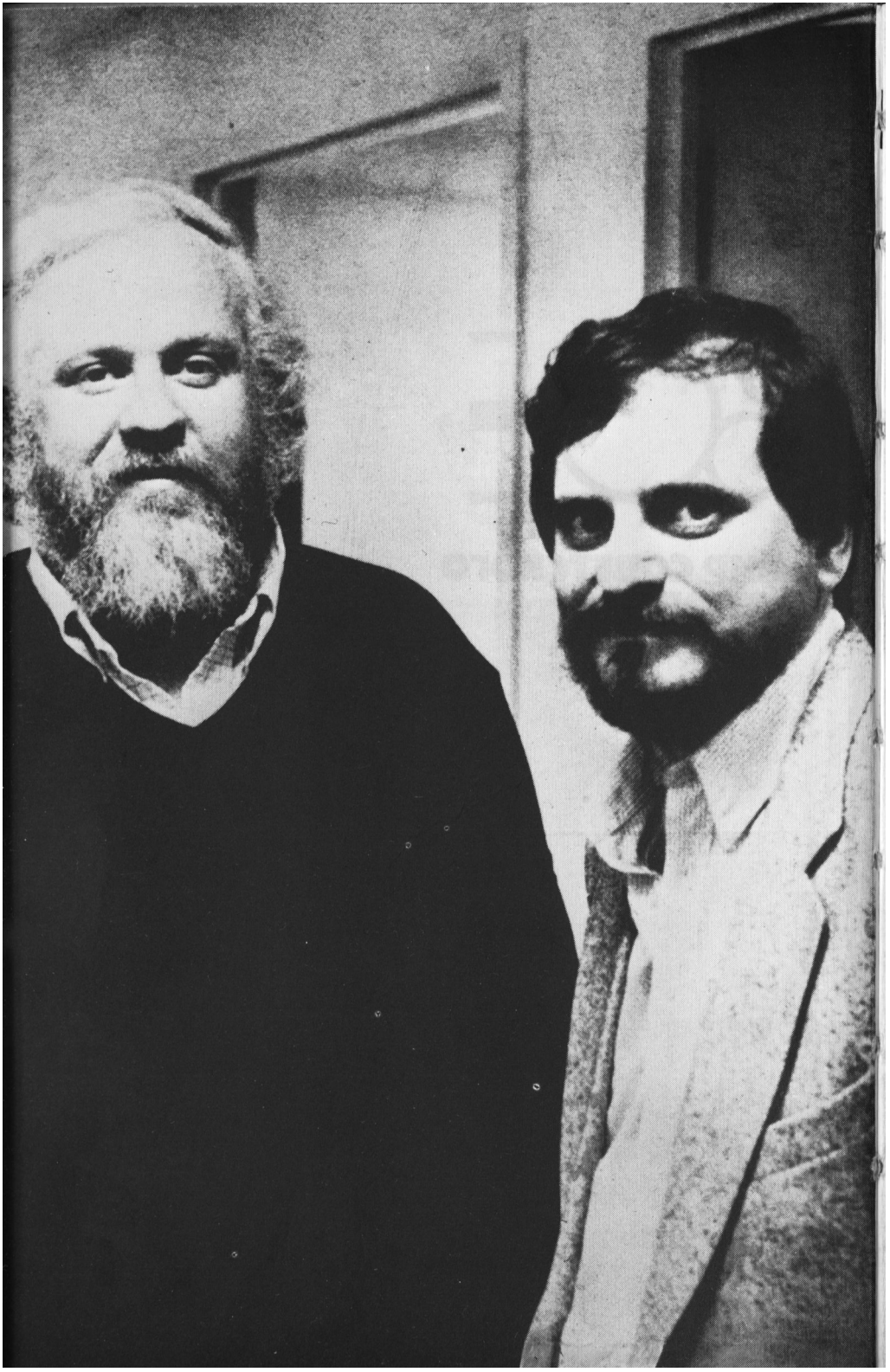


ПЕТР ВАЙЛЬ
АЛЕКСАНДР ГЕНИС

60-Е

МИР СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА

Москва,
«Новое литературное обозрение»

ББК 66.3 (2) 6
В 14

Художник *О. Смирнов*

Вайль П., Генис А.
60-е. Мир советского человека. Изд. 2-е, испр.
М.: Новое литературное обозрение, 1998, с илл. — 368 с.

ISBN 5-86793-052-1

В уникальном исследовании известных публицистов-эмигрантов П. Вайля и А. Гениса впервые проанализированы различные аспекты советского общества 60-х годов — образ жизни, общественные умонастроения, стереотипы сознания, атмосфера. Авторами нарисована яркая картина эпохи, начавшейся в 1961 г. XXII съездом Коммунистической партии и завершившейся в 1968 г. оккупацией Чехословакии, — эпохи парадных шествий, социальных упований, зарождения диссидентского движения, надежд и разочарований. Легко и остроумно написанная книга увлекает и заставляет думать. Впервые изданная в России в 1996 г., она стала бестселлером.

© «Ардис», 1988
© П. Вайль, А. Генис
© «Новое литературное обозрение», 1998

ISBN 5-86793-052-1

ОТ АВТОРОВ

Когда в 1984-м мы начали работать над этой книгой, 60-е годы казались замкнутым, завершенным историческим этапом. Советская жизнь тогда застыла в неподвижности, по сравнению с которой бурная реальность оттепельных лет предстала соблазнительной для исследователя.

Перестройка смешала все карты, но она же по-новому высветила предмет наших занятий. Горбачевские реформы оказались тесно связанными с проблематикой 60-х. Более того, в 60-х мы до сих пор находим источники почти всех перестроечных новаций.

Прежде чем представить книгу на суд читателя, нам хотелось бы указать на несколько обстоятельств.

Эта книга посвящена не истории первой оттепели, которую принято датировать 1956—64 годами, а эпохе шестидесятых, которые, как мы полагаем, начались в 1961 году XXII съездом, принявшим программу построения коммунизма, а закончились в 68-м оккупацией Чехословакии, воспринятой в СССР как окончательный крах всех надежд. Такие хронологические рамки позволяют выделить особый период в советской истории, период эклектичный, противоречивый, парадоксальный, но объединенный многими общими тенденциями. В эти годы советская цивилизация развилась в наиболее характерную для себя модель, сформировался особый тип «шестидесятника», личность которого так часто вспоминают сегодня. В эти же переломные годы произошли и коренные изменения в идеологии советского общества.

Главной нашей задачей была попытка воспроизвести атмосферу 60-х, описать не столько события, сколько нравы, образ жизни, общественные идеи, стиль эпохи.

Работая над книгой, мы широко использовали свидетельства массовой культуры того времени — прессу, книги, фильмы, телепередачи, песни, анекдоты. Относясь, с одной стороны, критически к таким источникам, как советские журналы и газеты того времени, с другой стороны, мы стремились учесть, что официальные источники информации не только искажают реальность, но и моделируют ее. Пытаясь сохранить точку зрения внешнего наблюдателя, мы, однако, отдаем себе отчет в том, что, будучи поздними «детьми оттепели», часто относимся к 60-м некритично. Что ж, наши заблуждения — тоже характерная примета времени.

Еще один важный вопрос — кто герой нашей книги? О ком, собственно говоря, мы пишем?

Мы ориентировались на достаточно широкий круг людей, в среде которых рождались, жили и умирали идеологические течения или хотя бы идеологические моды. Наверное, этот круг средней интеллигенции, активно заинтересованной в проблемах общественной жизни, условно можно определить как подписчиков «толстых» журналов.

В те дни, когда мы пишем эти строчки, в Советском Союзе происходит испытание главного тезиса нашей книги, тезиса о примате слова над делом. Сумеет ли реальность наконец трансформировать утопический характер страны? Только если это произойдет, 60-е по-настоящему станут предметом истории, потеряв живую связь с современностью.

Авторы приносят искреннюю благодарность всем тем, кто, поделившись своими воспоминаниями и размышлениями о 60-х, предоставил в наше распоряжение важнейший источник книги — устные свидетельства современников. Особую помощь, дав авторам обстоятельные интервью, оказали: М. Азбель, В. Аксенов, И. Бродский, В. Войнович, С. Волков, А. Гладилин, С. Довлатов, В. Комар и А. Меламид, Л. Копелев и Р. Орлова, К. Кузьминский, Л. Лосев, Ю. Любимов, Ф. Незнанский, Э. Неизвестный, В. Паперный, А. Синявский, Б. Спасский, И. Суслов, Б. Фрумин, О. Целков, М. Шемякин, Б. Шрагин.

Приносим также благодарность Б. Парамонову, который, взяв на себя труд прочесть рукопись книги, сделал ряд существенных замечаний.

Естественно, все упомянутые лица не разделяют ответственность с авторами ни за концепцию книги, ни за высказанные в ней суждения, ни за содержащиеся в ней ошибки.

Петр Вайль, Александр Генис.
Нью-Йорк, октябрь 1988 года

КНИГА ПЕРВАЯ

1 ФУНДАМЕНТ УТОПИИ
2 ИНТЕРВЕНЦИЯ
3 В ПОИСКАХ ГЕРОЕВ
4 МАРШ ЭНТУЗИАСТОВ



1 ФУНДАМЕНТ УТОПИИ

КОММУНИЗМ

20 Г. ДО Н. Э.

ПУТЕМ ПИРАМИДЫ

КОСМОС

СОАВТОР ЭПОХИ

ПОЭЗИЯ



ОНЁК

№ 40 ОКТЯБРЬ 1960
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

ПРОЧНЫЙ МИР НА ЗЕМЛЕ МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕН ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА БУДЕТ ВЫБРОШЕНО ОРУЖИЕ.

Н. С. ХРУЩЕВ.

КОММУНИЗМ

20 Г. ДО Н. Э.



ОНЁК

ЯНВАРЬ 1961
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

ДЕЛА У НАС ИДУТ ХОРОШ

ПО СЛЕДАМ БЕССМЕННОГО ЧАСОВОГО

С. С. Смир

ШЕСТЬСОТ НЕВЕСТ И ЖЕНИХ

Эра коммунизма началась в Советском Союзе 30 июля 1961 года. Можно сказать, что этот день следует считать датой построения коммунистического общества в одной, отдельно взятой стране — СССР.

Хотя проект новой, третьей, Программы КПСС был принят Пленумом ЦК в июне, в газеты текст попал 30 июля.

Это было воскресенье. В «Современнике», который в ту пору именовался еще «театром-студией», шло «Третье желание», в Зеркальном театре сада «Эрмитаж» — легкомысленная «Девушка с веснушками». На вечер телевидение запланировало всенародный праздник — матч московских команд «Спартак» и «Динамо». Хотя их монополию уже нарушили торпедовцы, а в нынешнем сезоне к чемпионству резво шли киевляне, старая гвардия бурно волновала умы. Гагарин, распрощавшись с Фиделем, летел в Бразилию и по пути в этот день был с восторгом принят населением голландской колонии Кюрасао. Госполитиздат закончил выпуск 22-го тома Полного собрания сочинений Владимира Ильича Ленина со статьями о ликвидаторах, отзовистах и примиренцах. Никита Сергеевич Хрущев инспектировал сельское хозяйство. «В шесть часов утра, когда солнце только поднималось над степью, Н. С. Хрущев уже подъезжал к селу Екатериновка», где высокого гостя ждал председатель колхоза по фамилии Могильченко [1].

Любое из этих событий привлекало внимание читателей газет в такой большой стране, как Советский Союз, и все события поблекли перед главным — текстом проекта Программы КПСС. Потому что в жизнь каждого советского человека вторглась поэзия, призванная изменить жизнь такой большой страны, как Советский Союз.

Новая Программа КПСС обещала построить коммунизм, и эта задача, собственно говоря, уже была выполнена самим произнесением сакральных слов: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!» Строительство утопии — и есть воплощение утопии, так как все, что для этого нужно,— наличие цели и вера.

Такое прочтение проекта Программы КПСС возможно только при подходе к тексту как к художественному произведению. В этом великая разница между проповедью и инструкцией. Инструкцию должно выполнять, проповеди достаточно внимать.

Проповедь о добре, благополучии и красоте жизни, которую несла новая Программа, наводила на сравнения с утопиями прошлого. Характерно, что обсуждения Программы в советской периодике практически не обходились без этого слова — «утопия»,— хотя оно прежде носило явно негативный оттенок. Теперь слово и само понятие были реабилитированы: то, что раньше

обозначало «несбыточную мечту», оставило за собой только значение «изображения идеального общественного строя». Вовсю мелькали имена Томаса Мора и Кампанеллы. В особой чести был итальянец: ведь это он впервые в истории трактовал труд как дело чести и насущную потребность человека. Он же предлагал применять к лентяям не только убеждение, но и принуждение («кто не работает — тот не ест»). А герб Советского Союза был уже описан в «Утопии» Мора: серп, молот, колосья.

Новая редакция утопии — Программа КПСС — была универсальной, учитывая в самом буквальном смысле мысли и чаяния всех членов советского общества. Потребность в таком универсальном инструменте назрела.

Всегда перед страной стояли конкретные и внятные задачи: победить внешних врагов, победить внутренних врагов, создать индустрию, ликвидировать безграмотность, провести коллективизацию. Все это сводилось к общей идее построения социализма, вскоре после чего началась великая война — мощный импульс созидания через разрушение. Советский народ всегда что-то строил, попутно что-то разрушая: буржуазное искусство, попутчиков, кулачество как класс. XX съезд отнял у людей идеалы — маячил призрак великой смуты: священное имя Сталина, «вождя и вдохновителя всех наших побед», было дискредитировано. Страна пребывала в неясном томлении — без опоры, без веры, без цели. Со страной поступили нечестно, сказав как не надо, а как надо — не сказав.

В самом прямом смысле в конкретные цифры Программы никто не поверил. Но этого и не требовалось — по законам функционирования художественного текста. Но зато каждый нашел в Программе желаемое для себя. О чем же говорила Программа?

Целью она провозглашала строительство коммунизма — то есть общества, смыслом которого является творческое преобразование мира. Многозначность этой цели только увеличивала ее привлекательность. Творческое преобразование мира — это было все: научный поиск, вдохновение художника, тихие радости мыслителя, рекордная горячка спортсмена, рискованный эксперимент исследователя.

При этом духовные силы человека направлены вовне — на окружающий мир, неотъемлемой частью которого он является. И в качестве таковой человек не может быть счастлив, когда несчастливы другие.

Знакомые по романам утопистов и политинформациям идеи обретали реальность, когда любой желающий принимался за трактовку путей к светлой цели.

Художники-модернисты усмотрели в параграфах Программы разрешение свободы творчества. Академисты и консерваторы — отвержение антигуманистических тенденций в искусстве. Молодые прозаики взяли на вооружение пристальное внимание к духовному миру человека. Столпы соцреализма — укрепление незыблемых догм. Перед любителями рок-н-ролла открывались государственные границы. Перед приверженцами «Камаринской» — бездны патриотизма. Руководители нового типа находили в Программе простор для инициативы. Сталинские директора — призывы к усилению дисциплины. Аграрии-западники разглядели зарю прогрессивного землепользования. Колхозные мракобесы — дальнейшее обобществление земли. Прогрессивное офицерство опиралось на модернизацию военной техники. Жуковские бонапартисты — на упомянутых в Программе сержантов.

И все хотели перегнать Америку по мясу, молоку и прогрессу на душу населения: «Держись, корова из штата Айова!»

Программа с мастерством опытного проповедника коснулась заветных струн в душе. Против предложенных ею задач нельзя было ничего иметь в принципе. Три цели, намеченные Программой, не могли не устраивать: построение материально-технической базы, создание новых производственных отношений, воспитание нового человека.

Первая задача обеспечивала благополучие без стяжательства. Облик погрязшего в плюшевых абажурах обывателя не нравился никому. Отрицание частной собственности превратилось из лозунга в категорический императив, и всем было ясно, что в правильном обществе правильные люди должны располагаться под светом торшеров изящного — даже не рисунка, а неведомого пока дизайна.

Новые производственные отношения предусматривали принцип соучастия. И Программа, в которой труд не разделялся с досугом, давала однозначный ответ. Только при таком характере труда возможно построение этой самой материально-технической базы.

Общий труд, сама идея общего дела была немыслима без искренности отношений человека с человеком. Это было ключевым словом эпохи — искренность. Моральный кодекс строителя коммунизма — советский аналог десяти заповедей и Нагорной проповеди — был призван выполнить третью главную задачу — воспитание нового человека. В этих библейских параллелях тексту Программы стилистически ближе суровость ветхозаветных заповедей. В 12 тезисах Морального кодекса дважды фигурирует слово «нетерпимость» и дважды — «непримиримость». Будто казалось мало просто призыва к честности (пункт 7), добросовестному труду (2), коллективизму (5); ко всему этому требовалась еще борьба с проявлениями противоположных тенденций (пункт 9)[2]. Искренность обязана была быть агрессивной, отрицая принцип невмешательства,— что логично при общем характере труда и всей жизни в целом.

В том, что Программа обещала построить коммунизм через 20 лет, было знамение эпохи — пусть утопия, пусть волюнтаризм, пусть беспочвенная фантазия. Ведь все стало иным — и шкала времени тоже.

В этой новой системе счисления время сгущалось физически ощутимо. На дворе стоял не 1961 год, а 20-й до н. э. Всего 20-й — так что каждый вполне отчетливо мог представить себе эту н. э. и уже сейчас поинтересоваться: «Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?»

Изменение масштабов и пропорций было подготовлено заранее. С 1 января вступила в действие денежная реформа, в 10 раз укрупнившая рубль. 12 апреля выше всех людей в мировой истории взлетел Юрий Гагарин, за полтора часа обогнувший земной шар, что тоже оказывалось рекордом скорости. В сознании утверждалось ощущение новых пространственно-временных отношений.

Действительность в соответствии с эстетикой соцреализма уверенно опережала вымысел. Иван Ефремов, опубликовавший за четыре года до Программы свою «Туманность Андромеды», объяснялся: «Сначала мне казалось, что гигантские преобразования планеты в жизни, описанные в романе, не могут быть осуществлены ранее, чем через три тысячи лет... При доработке романа я сократил намеченный срок на тысячелетие»[3]. Тут существен порядок цифр. Про тысячелетия знали и без Ефремова — то, что когда-то человечество придет к Городу Солнца, алюминиевым дворцам, Эре Великого Кольца. Потрясающе дерзким в партийной утопии был срок — 20 лет.

Во «Введении» новой Программы сказано, о каких пространственных границах идет речь: «Партия рассматривает коммунистическое строительство как великую интернациональную задачу, отвечающую интересам всего человечества»[4]. Именно так — всего человечества.

Что касается временных пределов, они были четко указаны в последней фразе Программы: «Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!»[5]

«Нынешнее поколение» — это было ясно каждому. Это когда подрастут внуки. Когда женится сын. Когда станешь взрослым.

Публицист Шатров нарисовал картинку обсуждения проекта Программы:

«Весть о высшем счастье человека стучится во все двери. Желанной и дорогой гостьей она входит в каждый дом.

— Читали?

— Слышали?

— Мы будем жить при коммунизме!» [6]

Сценка довольно точно передает ощущение мозгового сдвига, возникающего при чтении Программы. Надо отдавать себе отчет в том, что никто и не заблуждался насчет построения коммунизма в 20 лет. Любой мог выглянуть в окно и убедиться в том, что пока все на месте: разбитая мостовая, очередь за картошкой, алкаши у пивной. И даже ортодокс понимал, что пейзаж не изменится радикально за два десятилетия.

Но Программа и не была рассчитана на выглядывание из окна и вообще на соотнесение теории с практикой. В ней отсутствует научная система изложения, предполагающая вслед за построением теории стадию эксперимента. Текст Программы наукообразен — и только. При этом философские, политические, социологические термины и тезисы с поэтической прихотливостью переплетаются, образуя художественное единство. Сюжет Программы построен, как в криминальном романе, когда читатель к концу книги и сам уже понимает, кто есть кто, но все же вздрагивает на последнем абзаце, в сладостном восторге убеждаясь в правильности своей догадки:

«— Читали?

— Слышали?

— Мы будем жить при коммунизме!»

Положения Программы не доказывались, а показывались, апеллируя скорее к эмоциям, чем к разуму. Когда-то Каутский грустил о временах, «когда каждый социалист был поэтом и каждый поэт — социалистом» [7]. Эти времена диалектически возрождались на глазах поколения 60-х. Программа партии была безнадежно неубедительна логически, но доказывала верность обозначенной цели и выбранного пути самим своим появлением.

Сам факт существования Программы — при всех очевидных содержащихся в ней нелепостях — опровергал эти нелепости. Цифры Программы не соответствовали здравому смыслу, но вполне укладывались в законы волевого счисления.

Характерно, что самые впечатляющие положения Программы были отнюдь не самыми важными. Все говорили о том, что будет бесплатный транспорт, бесплатные коммунальные услуги, бесплатные заводские столовые. Дело, видимо, именно в прочтении Программы как художественного текста, в котором конкретные и внятные детали берут на себя функцию пересказа. Трудно пересказать своими словами лирическое стихотворение или дальнейшее развитие принципов социалистической демократии. Но вот с приключенческим рассказом или бесплатным проездом в автобусе это сделать куда проще.

Также и в Моральном кодексе: запавшие в душу советского человека заповеди, которые чаще всего повторяются и пишутся на заборах,— это вовсе не самые главные тезисы. Это те, которые выражены афористически:

— кто не работает, тот не ест;

— каждый за всех, все за одного;

— человек человеку — друг, товарищ и брат [8].

Эти кристаллы внятности вычленились из массы неудобоваримых формул, вроде «забота каждого о сохранении и умножении общественного достояния» [9].

Программу КПСС читали немногие. О восприятии ее следует говорить, имея в виду пересказ текста — то есть то, что осталось в сознании после бесконечного бормотания по радио и телевидению, заклинаний в лозунгах и газетах. Конечно же, вышли в свет тысячи всяких научных трудов, трактующих Программу, но это фактор, который имеет отношение к пропаганде или карьере. Другое дело — сфера воображения.

Поэт Долматовский вопрошал:

Великая Программа, дай ответ,
Что будет с нами через двадцать лет? [10]

Вопрос кажется глупым: ведь как раз про это в самой Программе и написано. Но в том-то и дело, что по сути ее текст предназначен не для буквального восприятия, а именно для трактовки, пересказа про себя и вслух, переосмысления, для полета фантазии.

Лирик мечтал о том, что «все лучшее в эпохах прошлых в дорогу заберем с собой». Он складывал в романтический рюкзак «и Моцарта, и стынь есенинских берез» [11], отдавая дань интернационализму, партийности и почвенничеству.

Человек попроще размышлял о свободном столике в ресторане и отдельной квартире. «Нигде не скажут «нет мест». Задумал жениться — мать не спросит с удрученным видом: «А где жить-то будете?» [12]

Прямое воплощение идеалов 17-го года виднелось неисправимому комсомольцу. «Глаза Программы смотрят нам в глаза, в них — нашей революции метели» [13].

В представлении сатирика мечты о совершенном обществе причудливо, но гармонично сочетались с тревогой о будущем своей профессии: «При коммунизме человека общественные суды будут приговаривать к фельетону!» [14]

ФУНДАМЕНТ УТОПИИ

Поэтическая энциклопедия тем и прекрасна, что каждый находит в ней свое, как Белинский находил что ему нужно в «Евгении Онегине».

Заботы сатириков, кстати, были самыми показательными. Предполагалось, что недостатки должны изживаться с нечеловеческой быстротой — то есть со скоростью, соответствующей новой шкале времени. Сатирики сбились с ног в поисках персонажей для фельетонов будущего. После долгих дебатов в качестве резерва духовного роста остались грубияны, равнодушные, эгоисты. Остальных следовало забыть на перроне, когда государственный поезд отправится в коммунизм. Это так буквально и изображалось: перрон, а на нем пестрый стиляга, синеносый алкоголик, толстая спекулянтка, прыщавый тунеядец. Все они задумчиво смотрели на отходящий состав с молодцеватыми пассажирами. Паровоз уезжал туда, где царствовали нестяжательство, братство, искренность. В новую Утопию.

30 июля 1961 года, когда страна прочла проект Программы КПСС, построение коммунистического общества этим и закончилось — то есть его построил каждый для себя, в меру своего понимания и потребностей. Во всяком случае, страна так или иначе применила Программу для насущных надобностей.

Жизнь предлагает художественные детали в загадочном обилии. 30 июля 1961 года в том же номере «Правды», где был напечатан текст Программы КПСС, нашлось место сообщению о выходе в свет очередного 22-го тома Полного собрания сочинений В. И. Ленина. Именно в этом томе содержатся слова вождя:

«Утопия... есть такого рода пожелание, которое осуществить никак нельзя, ни теперь, ни впоследствии...»[15]

Совпадение, конечно, символическое. Но вряд ли кто по-настоящему надеялся Программу КПСС осуществить — «ни теперь, ни впоследствии». Сам процесс, который именовался (всерьез или иронически) строительством будущего, продолжал творить небывалый в мировой истории феномен — советского человека.



Л. И. БРЕЖНЕВ,
Первый секретарь ЦК КПСС.

А. Н. КОСЫГИН,
Председатель Совета Министров СС

СООБЩЕНИЕ

о Пленуме Центрального Комитета КП

14 октября с. г. состоялся Пленум Центрального Комитета КПСС.

Пленум ЦК КПСС удовлетворил просьбу Хрущева Н. С. об освобождении его от обязанностей Первого секретаря ЦК КПСС, члена

Президиума ЦК КПСС и Председател Министров СССР в связи с преклонны стом и ухудшением состояния здоров

Пленум ЦК КПСС избрал Первым рем ЦК КПСС т. Брежнева Л. И.

В Президиуме Верховного Совета СС

15 октября с. г. под председательством Председателя Президиума Верховного Совета СССР тов. А. И. Микояна состоялось заседание Президиума

Президиум Верховного Совета СССР удовлетворил просьбу тов. Хрущева Н. С. и Сергеевича об освобождении его от обязанностей Председателя Совета Министров СССР в связи с преклонным возрастом и ухудшением состояния здоровья.

Председателем Совета Министров СССР Президиум Верховного Совета СССР назначил тов. Косыгина Алексея Николаевича, освободив его от обязанностей первого заместителя Председателя Совета Министров СССР.

Указы Президиума Верховного Совета СС освобождении тов. Хрущева Н. С. от обязанно седателя Совета Министров СССР и о

Указы Президиума Верховного Совета С поздравлении тов. Косыгина А. Н. с назначение Председателя Совета Министров СССР.

Тов. Косыгин А. Н. сердечно поблагодар ральный Комитет Коммунистической партии Союза и Президиум Верховного Совета СС занное ему доверие и заверил, что приложит для того, чтобы выполнить возложенные на занности.

КОМИНИ

«Утопия... есть такого рода пожелание, которое осуществить никак нельзя, ни теперь, ни впоследствии...»

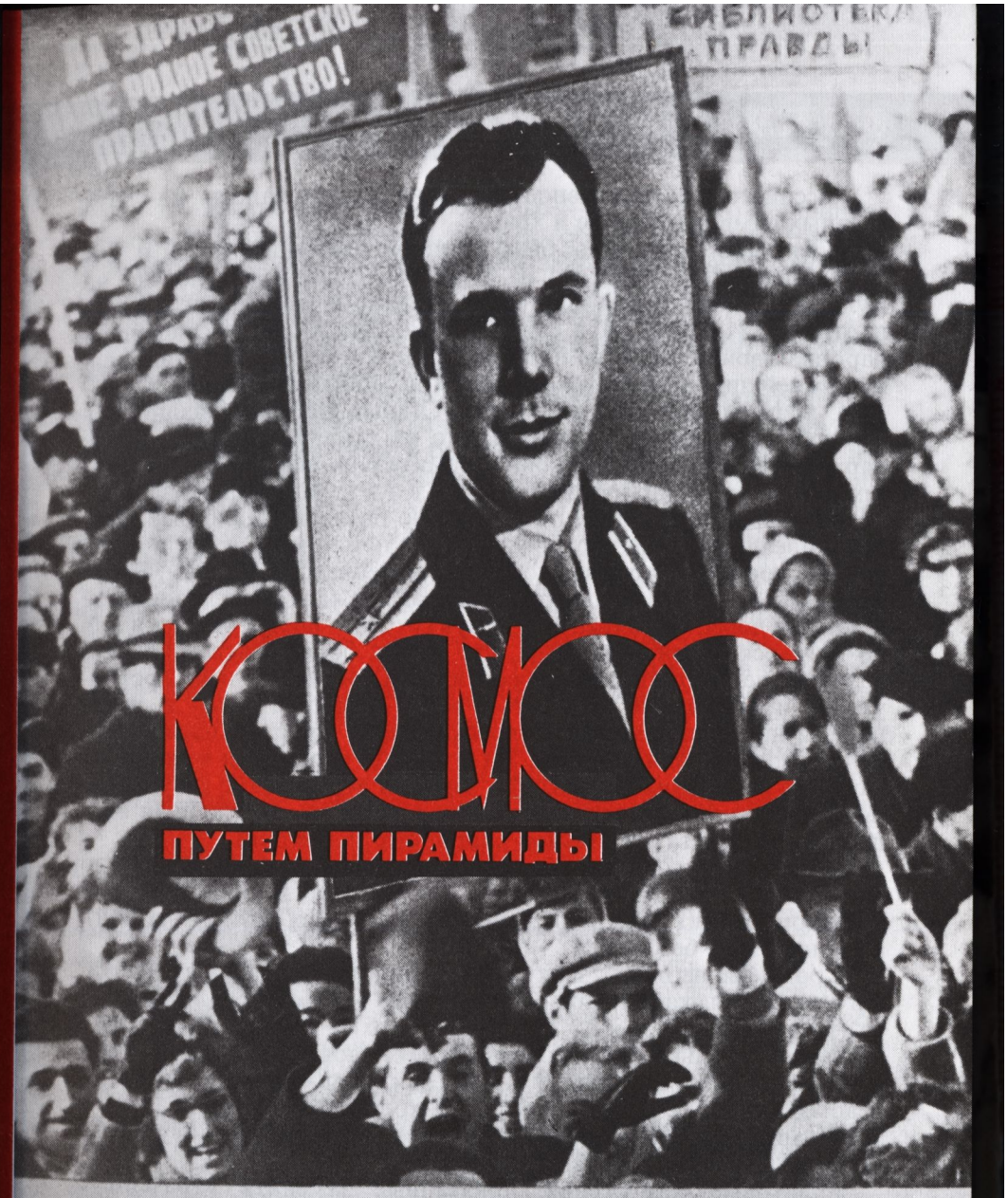


ПРОШУ ДОЛОЖИТЬ ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВУ И ЛИЧНО НИКИТЕ СЕРГЕЕВИЧУ ХРУЩЕВУ, ЧТО ПРИЗЕМЛЕНИЕ ПРОШЛО НОРМАЛЬНО, ЧУВСТВУЮ СЕБЯ ХОРОШО

Ю. А. ГАГАРИН

ВЕСЬ СОВЕТСКИЙ НАРОД ВОСХИЩЕН ВАШИМ СЛАВНЫМ ПОДВИГОМ, СЛАВНЫЙ БУДУТ ПОМНИТЬ В ВЕКАХ КАК ПРИМЕР МУЖЕСТВА, ОТВАГИ И ГЕРОЙСТВА ВО ИМЯ СЛУЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ.

Н. С. ХРУЩЕВ



КОСМОС

ПУТЕМ ПИРАМИДЫ

СЫН РОССИИ

Открыто глядит
Чуть застенчивый парень.
Упрям подбородок крутой.
Так вот ты какой,
Наш товарищ Гагарин,
Простой и такой непростой!

Ты, словно Россия,
Орел светлоглазый!
Сам бросил ты вызов судьбе.
Крутая закваска
Рабочего класса,
Солдатская хватка в тебе.

Вчерашний смоленский
Застенчивый мальчик,
Как ты возмужал со страной!
Старик Циолковский
И юный Кибальчич
Стоят за твоею спиной.

Парит над тобою,
Горит, как награда,
Стяг ленинский, красный,
родной.

Бойцы Петрограда,
Бойцы Сталинграда
Стоят за твоею спи

А кто, кто рванется
За Юрием следом!
Нетрудно таких оты

Смеется и плачет,
Как в праздник Поб
Россия, счастливая

Российское коллективное сознание основывалось на двух главных символах: войне и храме.

Идея народной войны была мощной движущей силой и для рати Александра Невского на Чудском озере, и для войска на Куликовом поле, и для ополчения Минина и Пожарского, и для партизан 1812 года. И в советской России XX века священная народная война стала не просто образом в песне Александрова, но важнейшим аргументом в борьбе до победного конца.

С храмом дело обстояло хуже. Старые храмы упразднились с верой. Если и была иллюзия, что их смогут заменить новые партийные сооружения, то она стремительно исчезла: ввиду приземленной утилитарности решаемых в этих учреждениях задач.

Со старыми храмами поступали по-разному. Наиболее пылкие и идеалистически настроенные революционеры рушили церкви — не понимая, что активно творят мученические образы. Более практичные и трезвые превращали храмы в картофелехранилища и детские дома, не только используя готовую постройку, но и идя по пути осквернения святыни, что всегда более действенно, чем разрушение. В отдельных случаях власти поступали даже с остроумием и фантазией. Гордость России — воздвигнутый в честь победы над Наполеоном московский храм Христа Спасителя — не просто сровняли с землей. На его месте соорудили не клуб, не казарму, не райком — а бассейн, заменив возвышение углублением, гору пропастью, мужской символ женским. И зияющая впадина была залита стерильной хлорированной водой.

Но вертикальная картина мира присуща нашему сознанию еще больше, чем горизонтальная, потому что в плоскости наш кругозор может быть ограничен (например, суша — водой), а взгляд вверх безбрежен.

Кромлехи неолита, зиккураты Вавилона, пирамиды Египта, пагоды Китая, кафедралы Европы — все это возвышало человека, устремляя его ввысь. И в той иерархии ценностей, которая неизменна столько, сколько существует человек, верх всегда противостоит низу со знаком плюс, как день — ночи, правый — левому, белый — черному, теплый — холодному. Универсальный знаковый комплекс заставляет человека задирать голову, даже если он опасается, что свалится кепка.

Культовые сооружения, призванные заменить утраченные храмы, так и не были построены в советской России. Магнитка и Днепрогэс были слишком служебными конструкциями: они варили обыденный металл и перекачивали банальную воду. Требовалась чистая идея — без утилитарной нагрузки.

Нужду в подвиге восполнил космос, тем более прекрасный, что для завоевания его не требовалось кровопролития. Да и вообще это деяние было универсальным — потому что не принадлежало простому смертному. В самих образах космонавтов причудливо смешались демократические запросы народного государства и религиозные каноны. С одной стороны, они были простыми парнями, из соседнего двора, обыкновенными, советскими. С другой — их окружали таинственность небожителей и высокие достоинства служителей культа.

Герои в Советском Союзе всегда призваны выполнять широкую просветительскую задачу. Допустим, токарю совершенно недостаточно ловко точить болванки: передовой токарь еще играет на виолончели. Рекордсмен не просто быстро бегает, но и пишет кандидатскую диссертацию по ферромагнетизму. Оперный бас берет на две октавы ниже всех других басов и при этом награжден медалью «За отвагу на пожаре». По мере продвижения вверх число достоинств увеличивается, стремясь к бесконечности. Именно поэтому про маршалов и членов Политбюро неизвестно ничего вообще, ибо недоступно умственному взору. (В скобках стоит вспомнить о попытках низвести богов до героев. Так, о Ленине сообщалось, что он ежедневно в Швейцарии совершал по горным кручам прогулки в 70 и более километров. Мао Цзэдун погрузился в Янцзы, побив все мировые рекорды, при том, что во время заплыва дружески беседовал с рядом плывущими товарищами. Эти попытки были забыты как снижающие образ верховного существа.)

Космонавты — вознесшиеся буквально выше всех — должны были занимать промежуточное положение, сочетая рабоче-крестьянскую доступность и принадлежность к высшим сферам. Их начисто лишили даже подобия недостатков, и следует только дивиться тому, что первым в космос отправился человек с сомнительной по пролетарскому происхождению фамилией Гагарин, а вторым — человек с нерусским именем Герман. Однако все разъяснилось наилучшим образом. Смоленский крестьянин Гагарин как раз и утер нос своим однофамильцам-князьям, лишний раз доказав демократический характер советской России. Что касается Титова, то оказалось, что его отец увековечил в своих детях — Германе и Земфире — бессмертные образы великого русского поэта. Кстати, таким путем была внедрена ставшая постоянной линия повышенной интеллигентности космонавтов.

В начале 60-х существовало даже некое противостояние Гагарина и Титова. Первый был любимцем народа, второй — интеллигенции, покоренной иноземным именем, более заметной задумчивостью и его играющим на скрипке отцом. Но затем, после многочисленных полетов, стало ясно, что энциклопедичность знаний присуща всем космонавтам без исключения. Биограф

новых героев пишет: «Как-то в беседе с Юрием Гагариным зашла речь о профессии космонавта. Он говорил, что космонавт не может, да и не должен замыкаться в какой-то одной области знаний. История, искусство, радиотехника, астрономия, поэзия, спорт...» [16]

Люди — от самых обычных до подвижников и героев — совершают по жизни горизонтальный путь. Путь вертикальный — удел мифологических персонажей.

В выборе и подаче космических кандидатов были проявлены такт и мудрость, причем еще до полетов человека. Самые популярные собачьи имена в России — иностранные, вроде Рекс или Джульбарс, но полетели наши, русские, теплые: Лайка, Белка, Стрелка и совсем уж домашняя Чернушка. Американцы опрометчиво запустили в космос обезьяну, которую нельзя полюбить, потому что она карикатура на человека, а не друг его, как собака.

Так же располагали к народной любви и космонавты-люди. Без объяснения причин каждый знал, что они добрые и умные. Например, о Павле Поповиче писали: «В дневниках Генриха Гейне он как-то прочел одну фразу...» [17] Это производило впечатление: не стихи ведь Некрасова, а никому не ведомые дневники Гейне!

С другой стороны, никогда не пресекалась иная тема: о простых парнях.

Глухая ночь. Глубокий сон.
Два сердца бьются в унисон.
Рассвет невозмутим и тих.
Горячий завтрак на двоих. [18]

В этих стихах верен расчет на замирание: горячий завтрак, как у всех. Как Ахиллес делается ближе, но не ниже из-за своей уязвимости. Как Ленин: «Он, как вы и я, совсем такой же...» — и именно от таких слов встает неземной образ исключительности.

Космонавту № 1 Юрию Гагарину была уготована счастливая судьба. С его даром улыбки — шире, чем у американских президентов, — он стал вечным символом и принял божественные почести еще при жизни. Его имя, по сути, следовало бы писать с маленькой буквы, так как оно превратилось в понятие. Причем понятие не такое, какими вошли в историю имена Моцарта как символа творчества, Ньютона — гения, Гитлера — злодейства, Макиавелли — коварства, Колумба — поиска и открытия. С именем Гагарина связано нечто неопределенное, имеющее отношение к высшей степени. Евтушенко мог написать про Боброва: «Гагарин шайбы на Руси» [19], и этот образ необъясним, но понятен. Просто что-то очень хорошее, носящее всеобщий характер.

Это целиком соответствует тому характеру, который имело освоение космоса для советского общества.

Разумеется, присутствовал политический момент соревнования двух систем. Вроде бы там, в Америке, и нейлоновые рубашки дешевые, и телевизоры почти у всех, и с мясом без перебоев. А с другой стороны, чего не видели — того не знаем. Полет же в космос — факт непреложный, как непреложно и то, что они запустили своего Джона Гленна только через 10 месяцев после нашего Гагарина и через полгода после нашего Титова.

Наглядность советской победы ошеломила американцев, взволновавшихся еще раньше, в 57-м, когда СССР запустил спутник. На смену трезвому практичному Эйзенхауэру пришел размашистый гуманитарный Кеннеди, и космическая лихорадка началась. Она и закончилась почти одновременно. В Советском Союзе такой финальной вехой можно считать смерть Гагарина в 1968 году, хоть она и не имела никакого отношения к космическим полетам. Просто с уходом из жизни первого героя новой формации ушла и романтика космоса. Больше в СССР возбуждения в этой сфере не наблюдалось. Да, собственно, и не от чего было, так как полеты приняли отчетливый пропагандистский характер: то новый рекорд длительности, то в ракету посажен монгол — гальванизация идеи была уже невозможна.

Американцы закончили на торжественной ноте. 21 июля 1969 года Нил Армстронг ступил на Луну, и Штаты взяли реванш.

Но Армстронг явился в конце первого этапа космической эры, а до него мир обомлел от советских побед. И казалось, что это не просто полеты куда-то в небо, за какими-то научными исследованиями. Казалось, что сам прорыв — значителен и символичен. Так оно, конечно, и было. Интересно, что универсальность освоения космоса для всего общества сформулировал все-таки американец — президент Джонсон. Он сказал: «Если мы посылаем человека к Луне, то значит, можем помочь старушке с медицинской страховкой» [20].

Научно-технический прогресс как панацея от всех бед — мысль не новая. Еще немного, еще чуть-чуть — и заколосятся груши на вербе, и добрые роботы выкопают на тучных полях сладкие корни, и человечество затрубит в рог изобилия.

Для советского человека космос был еще и символом тотального освобождения. Разоблачен Сталин, напечатан Солженицын, выпущены транзисторные приемники, идет разговор об инициативе и критике. Выход в космос казался логическим завершением процесса освобождения и логическим началом периода свободы. Ощущение силы и беззаветной веры в нее сказывалось во всем: в стихах, сибирских стройках, первых хоккейных успехах.

Вовсю звенела капель оттепели, ораторы рассуждали о возврате

к ленинским нормам, пример молодой Кубы возрождал светлую память революции. И сама революция — в соответствии с техническим веком — воспринималась космично:

Россия тысячам тысяч свободу дала.
Милое дело! Долго будут помнить про это.
А я снял рубаху,
И каждый зеркальный небоскреб моего волоса,
Каждая скважина
Города тела
Вывесила ковры и кумачовые ткани.
Гражданки и граждане
Меня — государства...
...Радуясь солнцу, смотрели сквозь кожу.[21]

Так понимали революцию не только Хлебников, но и Платонов, Заболоцкий, Циолковский: как тотальное освобождение всего — даже атомов. Циолковский, почитаемый в СССР лишь как первый теоретик космических полетов, излагал мысли о полном преображении личности и общества через уход в космос, где составляющие человека частицы соединятся в новом, более совершенном и гармоничном сочетании.

Подсознательно нечто подобное ощущалось: сама идея освоения космоса возвышала и облагораживала человека. И никто, разумеется, не обращал внимания на разговоры о научных экспериментах. От этого как раз хотелось отмахнуться, обратив свои душевные силы именно к чистоте и бескорыстию идеи. Как обращал просветленный взор человек иных эпох к пирамиде, пагоде, собору — символам стремления к высшим образцам, которые помогут преобразить жизнь внизу по своему идеальному подобию.

12 апреля 1961 года недоступное и вечно желанное небо стало ближе. Оно перестало быть прежним, потому что Гагарин оплодотворил его — как мужчина оплодотворяет женщину, но в этом было целомудрие и красота древнего мифа. Тогда, в 61-м, это действо стало высшей — буквально — точкой порыва к свободе и задало высокие стандарты стремления к ней.

Когда все стандарты были отменены, то сама идея покорения космоса исчезла, хотя космические полеты продолжаются. Дело, вероятно, в том, что осквернение святыни всегда более действенно, чем разрушение ее.

В одном древнем мифе рассказывается о том, что когда-то небо лежало близко от земли, но люди вытирали о него грязные руки, и оно ушло ввысь.



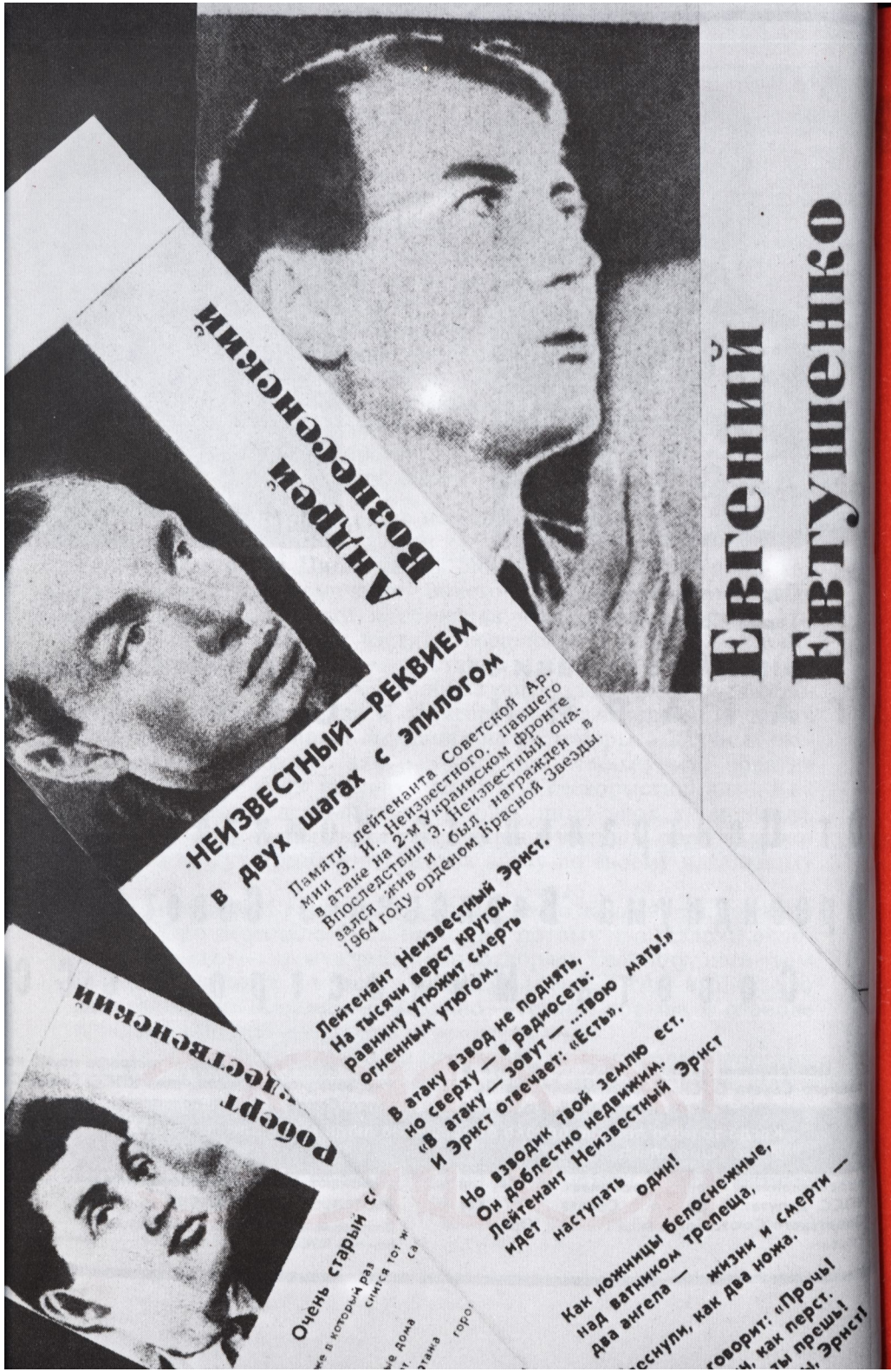


Первый летчик-космонавт
Герой Советского Союза
Юрий Алексеевич ГАГАРИН

Герой Советского Союза
инженер-полковник
Владимир Сергеевич СЕРЕГИН

От Центрального Комитета КПС
Президиума Верховного Совета ССС
и Совета Министров ССС

Центральный [illegible] КПСС, [illegible]ум в [illegible] этой [illegible]ной [illegible]астрофе погиб ком[illegible]
ховного Совета С[illegible]СР [illegible]овет Минис[illegible]ров ССС [illegible] [illegible]р авиационн[illegible] части, член КПСС, Герой Сов[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [



Салюты

Я был мальчишкою веснушчатым,
и под моих соседок аханье
я сообщения выслушивал
о всех победах нашей армии.
А сам бежал скорей на улицу
среди восторженного люда
и ждал,
когда же ночь нарушится
огнями нового салюта.
Ракеты возникали рыжие,
и голубые,
и оранжевые.
Они цвели над всеми крышами,
меня собою завораживая.
И я на мостовой залузганной
тащил желание такое:
поймать
хотя б одну салютинку
своей мальчишеской рукою...
Мое бесценное мальчишество
за все грехи мои, наверно,
уходит от меня мучите
и, видимо,
уже на
Но в добрый
героя моло

я ои
т

Главным поэтом эпохи был Хрущев. Стихов он, правда, не писал — только мемуары. Поэты-автократы известны современной истории. Мао Цзэдун, Хо Ши Мин, Агостиньо Нето, Юрий Андропов. Через много лет после смерти Сталина выяснилось, что и он писал стихи. К счастью — очень плохие. «К счастью» — потому что иначе образ Сталина в исторической перспективе приобрел бы дополнительные нюансы.

Хрущев стихов не писал, но был поэтом в высшем смысле, дав творческий импульс, выражавшийся в простых, как и подобает истинной поэзии, словах: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!»

В словах и делах Хрущева была простота, которая вдохновляла лучшие образцы русской гражданской поэзии:

И на обломках самовластья напишут наши имена,—

предсказывал Пушкин.

Пускай нам вечным памятником будет
Построенный в боях социализм,—

завещал Маяковский.

Нынешнее поколение советских людей
Будет жить при коммунизме! —

обещал Хрущев.

В области стихотворной формы Хрущев пошел своим путем, предпочтя хромой хорей заезженному российскому ямбу.

Задача и цель предложенной с партийной трибуны программы была так или иначе ясна каждому. Но как невозможно объясниться в любви текстом Морального кодекса, так и вся повседневная жизнь требовала иного, чем сухие директивы, словесного выражения.

Хрущев был главным поэтом эпохи. А ее поэтический конспект составил Евгений Евтушенко.

Евтушенко сумел просто и доступно разъяснить народу — что же происходит в стране и мире. Даже у самих преобразователей кружилась голова от крутых виражей и зигзагов, а чем дальше от Кремля, тем непонятнее и неожиданнее все становилось. Это противоречило неторопливой российской мудрости: «Тише едешь — дальше будешь», «Жизнь прожить — не поле перейти...» Ходячие истины пословиц и поговорок, кажется, полностью исчерпывают потребность в анализе событий и явлений — благодаря своей языковой завершенности, абсолютной, как идеальный шар, гармоничности. На уровне удобных и внятных формул происходит постижение мира, и Евгению Евтушенко удалось эти формулы найти.

Похоже, он очень рано осознал свое назначение. Характерно, что начинал Евтушенко с программных и соответствующих времени стихов. Шло время холодной войны, и 16-летний Евтушенко в 1949 году дебютировал в «Советском спорте» антиамериканскими стихами. Характерно и то, что стихи были именно о спорте. Спорт был той легальной формой войны, в которой уместно было употреблять агрессивно-наступательную лексику. Разумеется, имели значение и личные пристрастия поэта, который чуть было не сделал профессиональную карьеру футболиста. На протяжении десятилетий Евтушенко писал стихи о боксе, альпинизме, конькобежном спорте. (Заметим в скобках, что другой народный поэт послевоенной России, Владимир Высоцкий, тоже много и охотно писал о боксе, альпинизме, конькобежном спорте.)

Потрясающая общественная чуткость Евтушенко направляла его на слабые участки фронта борьбы за новое. В советской поэзии уже не оставалось лирики, и он, Евтушенко, стал первым лирическим поэтом оттепели. И на этом пути он единственный раз отступил от требований эпохи. Забылся. Забыл, что ведет конспект.

Сборники «Шоссе Энтузиастов» (1956), «Обещание» (1957), «Стихи разных лет» (1959), «Взмах руки» (1962), «Нежность» (1962) сохранили лирические стихи Евтушенко — ту поэзию, до уровня которой он так и не поднимался в следующие годы. Но те строки, вместе с пришедшими несколько позже песнями Окуджавы, впервые за много лет показали отвыкшим от нормальных слов людям, что лирика — это не только когда ждут пропавшего без вести на фронте.

Людей неинтересных в мире нет.
Их судьбы — как истории планет:
у каждой все особое, свое,
и нет планет, похожих на нее [22].

И стихов, похожих на эти, тогда не было. То есть были, конечно, но не выходили стотысячными тиражами. Все это было захватывающе ново:

А после ты любишь, а может быть, нет,
а после не любишь, а может быть, любишь,
и листья и лунность меняешь на людность,
на липкий от водки и «Тетры» пакет [23].

Получалось совсем, как у Ремарка, но чувства поэта были незаемными. В них была безыскусность и простота эмоций, что-то вроде пронзительной лирики блатных песен.

Целое поколение советских людей твердило, как заклинание:

Ты спрашивала шепотом:
«А что потом? А что потом?»
Постель была расстелена,
и ты была растерянна...[24]

А потом в стране началась лавина лирических стихов. И уже стало трудно разбирать, чем Евтушенко отличается от Эдуарда Асадова. Тогда, в начале 60-х, это было ясно безусловно. Хотя и тогда стихи Евтушенко и Асадова были похожи. Но первым руководил импульс передовой идеологии. В лирике это означало прославление любви вплоть до добрачных связей и супружеской измены. А Асадов привычно и надоедливо бубнил: «Они студентами были, они друг друга любили» — причем так, чтобы было ясно, что «любили» в самом бестелесном значении.

Но хотя высшие поэтические достижения Евтушенко остались именно в области интимной лирики, он рожден был не для звуков сладких и молитв, а именно для житейского волненья. Его, как и Маяковского, увлекла стихия преобразований. При этом Евтушенко, будучи поэтом более скромного дарования, в каждый момент полностью контролировал свои поступки.

Моя поэзия, как Золушка,
забыв про самое свое,
стирает каждый день, чуть зорюшка,
эпохи грязное белье[25].

В этой декларации все честно и верно — в первую очередь, удручающее качество стихов. Поэзия Евтушенко все чаще забывала про самое свое, все больше ее влек конспект эпохи. Поэт находил адекватные задачи дня, формулировки, не упуская ничего важного и значительного.

Советский Союз увлеченно следил за событиями на Кубе:

Фидель, возьми меня к себе
солдатом Армии Свободы![26]

Проникновение западной массовой культуры волновало умы:

Что мне делать с этим парнишкой,
с его модной прической парижской,
с его лбом без присутствия лба,
с его песенкой «Али-баба?»[27]

Интеллигенция воевала с ретроградами за передовое искусство:

Мы лунник в небо запустили,
а оперы в тележном стиле[28].

Страна потрясена хрущевскими разоблачениями и страшится повторения сталинизма, и Евтушенко пишет в «Наследниках Сталина»:

И я обращаюсь к правительству нашему с просьбою:
удвоить, утроить у этой плиты караул...[29]

Ширится и растет борьба с бездельниками и тунеядцами:

Закон у нас хороший есть:
«Кто не работает — не ест!»[30]

Молодежь живо интересуется Западом:

Этой девочке ненавистен
мир — освистанный моралист.
Для нее не осталось в нем истин.
Заменяет ей истины — «твист»[31].

Всегда болезненна была для России проблема еврейства и антисемитизма:

Ничто во мне про это не забудет!
«Интернационал» пусть прогремит,
когда навеки похоронен будет
последний на земле антисемит[32].

Этому стихотворению Евтушенко обязан своей мировой славой. «Бабий Яр» был моментально переведен на все языки мира. Крупнейшие газеты мира дали сообщение о «Бабьем Яре» на первых страницах — «Нью-Йорк таймс», «Монд», «Таймс»... Западный мир, в котором отношение к евреям стало пробным камнем цивилизации, пришел в восторг. Буквально в один день Евтушенко стал всемирной знаменитостью. Хотя за год до этого поэт объездил множество стран, читал стихи в США, Франции, Англии, Африке, только скромная публикация в «Литературной газете» 19 сентября 1961 года сделала Евтушенко суперзвездой. (Интересно, знал ли он, что на этот день выпал Йом Кипур — Судный день, в иудаизме день покаяния в грехах?)

Алексей Марков, напечатавший в газете «Литература и жизнь» отповедь «Бабьему Яру»[33], вынужден был отменить свои поэтические вечера из боязни физической расправы. По рукам ходили стихи — ответ Маркову.

И вот другой садится за чернила,
Но по бумаге яд в стихах разлит.
В стихах есть тоже пафос, страстность, сила,
звучат слова «пигмей», «космополит»...[34]

Космополит Евтушенко мог торжествовать — он стал народным трибуном. Именно тогда его стали критиковать, ругать, поносить по-настоящему. И именно тогда на его выступление однажды пришли 14 тысяч человек. Именно тогда он выступал по 250 раз в год. И кто-то из эпиграммистов мог с полным основанием почтительно пошутить:

То бьют его статьею строгой,
то хвалят двести раз в году.
А он идет своей дорогой
и бронзовеет на ходу[35].

Это была слава.

В отличие от Есенина, который хотел «задрав штаны бежать за комсомолом», Евтушенко сам вел комсомол и всю передовую общественность страны. К слову говоря, ему трудно было бы задрать штаны: тогда поэты были во всем первыми — брюки у них были самые узкие, идеи самые прогрессивные, слова самые смелые. Один западный корреспондент, завороженный трибунным чтением Евтушенко, сказал, что он мог бы возглавить временное правительство. Наверное, это так — но лишь по форме, не по содержанию. По содержанию Евтушенко преобразователем и революционером не был. Он шел в фарватере эпохи, которая требовала лозунга. И толпа, которая всегда слышит громогласный призыв, а не отданный вполголоса приказ, смотрела снизу вверх на своего лидера — поэта.

И лидер так же нуждался в аудитории, как и она в нем. Его строки рассчитаны на прочтение вслух. Это ораторские речи, слегка зарифмованные — благо процветала ассонансная рифма. Сам Евтушенко считал, что изобрел что-то в области стихосложения, даже писал о какой-то «евтушенковской» рифме[36]. Но все это неверно, да и неважно, потому что при чтении на стадионе ветер относит окончания слов.

Трудно себе представить, что тогдашние поэты изучали античные риторики, но действовали они именно в соответствии с их указаниями. «Оценить речь, основанную на знании, есть дело образованных, а здесь, перед толпою, это невозможно. Здесь мы непременно должны вести доказательства и рассуждения общедоступным путем»[37].

Нам не слепой любви к России надо,
а думающей, пристальной любви![38]

— это было доступно.

Установка на риторику, на помощь трибун давала немедленные результаты, разочаровывая будущих читателей. И тут все

предусмотрел Аристотель: «Речи ораторов, даже если они имели успех, кажутся неискусными в руках; причина этого та, что они пригодны только для устного состязания»[39]. В соответствии с законами риторики, заботы о точности и красоте стиля были не только необязательны, но и излишни — как не следует заботиться о прорисовке каждого листика при изображении отдаленного леса.

Это было время самородков. Стихийные бунтари темпераментом и напором искупали недостаток поэтического мастерства и образования. Мог же Евтушенко написать — да еще для французского журнала! — что Артюр Рембо перестал писать стихи, потому что стал работорговцем[40]. Мало того, что Рембо торговал не рабами, а кофе, но и причина здесь перепутана со следствием.

Дело тут, видимо, в том, что то же требование эпохи, которое побуждало к интимной лирике и гражданскому горению, требовало и красоты — в любом ее, самом экзотическом, воплощении. В стихи Евтушенко с начала 60-х хлынули потоки кальвадоса, перно, атлантических волн, тихоокеанских прибоев, в которых, как в водовороте, закружились работорговцы Рембо, парижские красавицы, африканские пальмы. Все это было заманчивое, хоть и не наше — и только постепенно становилось нашим, как для Маяковского, который считал себя «в долгу перед бродвейской лампионией». Евтушенко ощущал этот новый мир своим приобретением и щедро делился с читателем впечатлениями о твисте, луковом супе, встрече с Хемингуэем.

В «Автобиографии» поэта, в истории публикации «Бабьего Яра», есть небольшая характерная деталь. Евтушенко рассказывает, как ждал из типографии свежего номера «Литературки» со стихами, как целовался с печатниками, как потом «сел со своим приятелем в свою старенькую машину. И вдруг — о, чудо! — я обнаружил на сиденье бутылку «Божоле». ...Мы откупорили бутылку, выпили ее прямо в машине»[41].

Так тогда было нужно. Именно французским вином должен был праздновать победу над антисемитами настоящий русский поэт.

Боль и ответственность за все на свете были насущной необходимостью для тогдашнего поколения поэтов. Евтушенко, по его собственному признанию, влюбился в Беллу Ахмадулину, когда она сказала: «Революция больна. Революции надо помочь»[42]. И они помогали той революции, которая потом предала их.

Евтушенко принес в жертву своей праведной борьбе самое важное и дорогое — талант и поэтическое мастерство. Он не

создал своей метафорической системы, своего ритма, своей строфы, своей тематики. Хотя и мог. По своей поэтической потенции — несомненно, мог. Но он был лишь соавтором эпохи.

Хрущев, по чьему личному указанию были напечатаны в «Правде» в 62-м году «Наследники Сталина», может в той же мере, что и Евтушенко, считаться автором этих стихов. Потому что кроме факта опубликования в «Правде» других достоинств у «Наследников Сталина» нет. В поэзии Евтушенко почти физически ощущается его лихорадочная торопливость — успеть сделать все как надо. Не завтра, не для завтра, а сейчас и для сейчас. Хрущев с поэтическим легкомыслием разрешал все проблемы посадками кукурузы, а за ним уже спешил Евтушенко:

Весь мир — кукурузный початок,
похрустывающий на зубах! [43]

Они были соратники и соавторы — поэт-преобразователь Хрущев и поэт-глашатай Евтушенко.

В своем последнем всплеске — «Братской ГЭС» — Евтушенко сделал попытку эпоса, а на деле создал несколько хороших лирических стихотворений, спрятанных в 5000 строк про турбины и пирамиды.

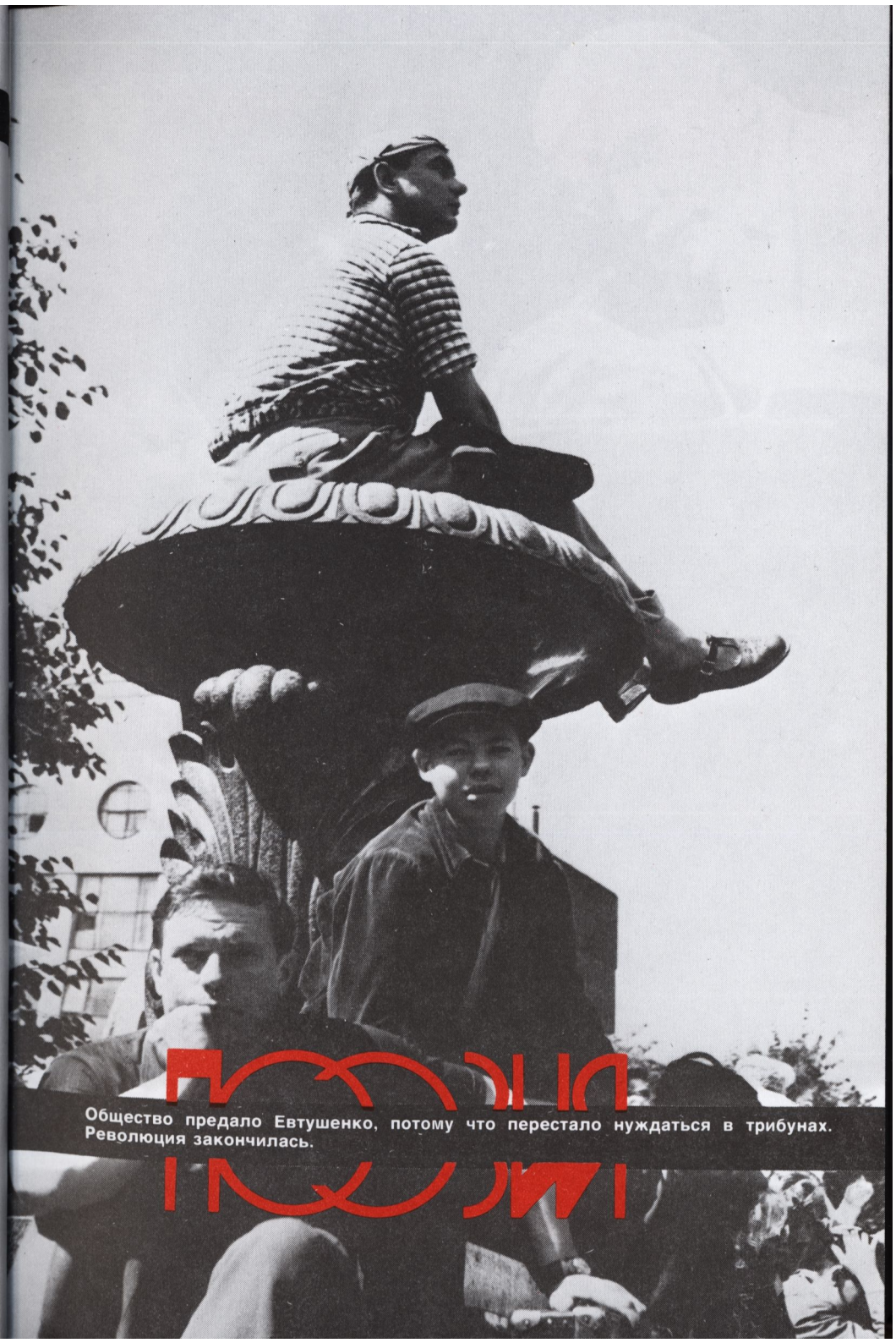
Тот импульс, который возносил поэта к толпе, уже угасал. Евтушенко не продался и не предал идеалы. Он и не мог их предать, потому что его идеалом было максимальное соответствие обществу, полное растворение в нем. Наоборот — общество предало Евтушенко, потому что перестало нуждаться в трибунах. Революция закончилась.

Кипение мощной натуры не дало поэту перейти из революционеров в бюрократы, что обычно происходит. Евтушенко остался один со своим ярким и ненужным дарованием, выветренным на стадионах. Как точно он написал в одном из ранних стихотворений:

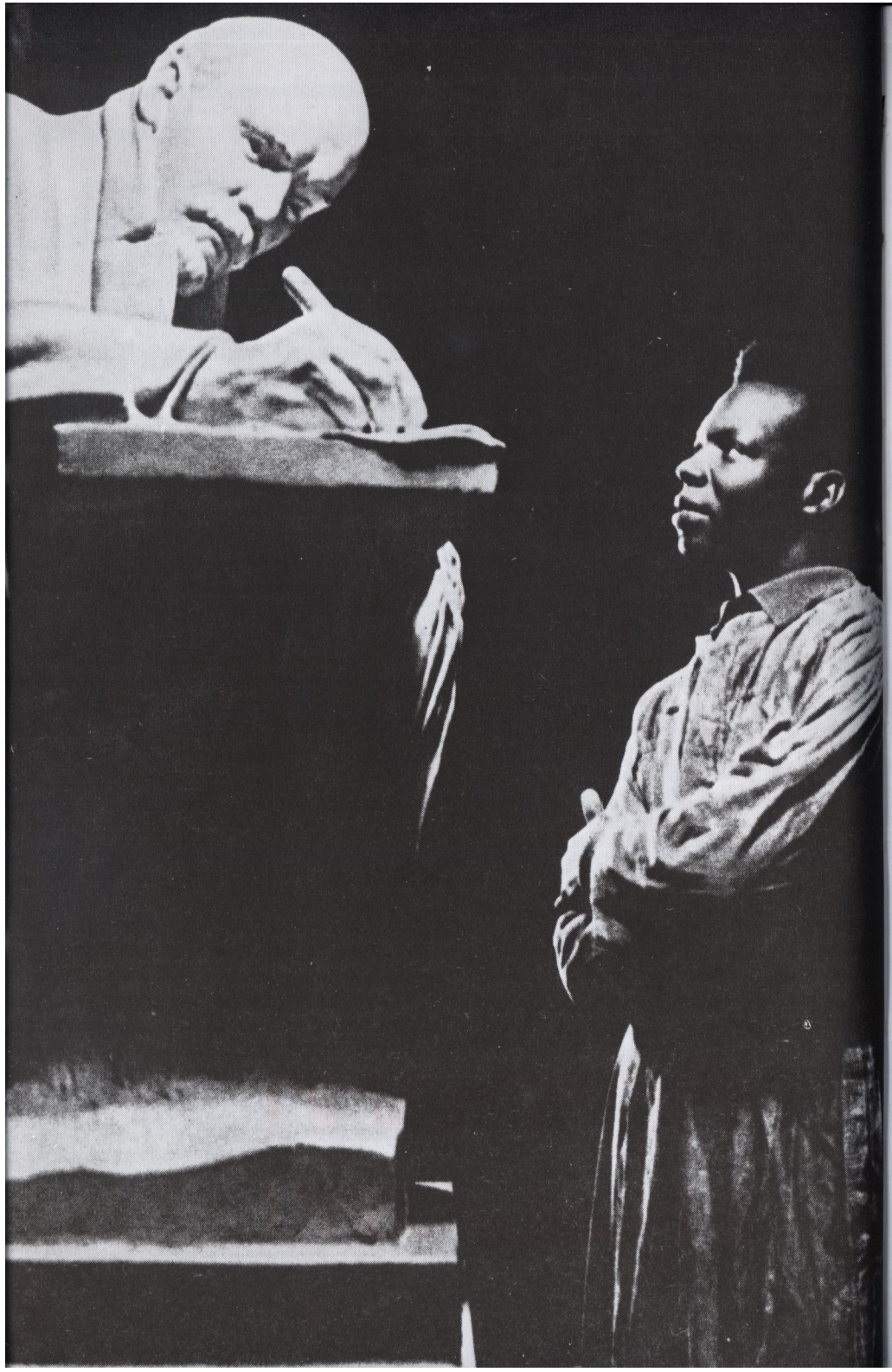
Мне страшно, мне не пляшется.
Но не плясать — нельзя [44].

В Большой Советской Энциклопедии про Евгения Евтушенко сказано: «В лучших стихах и поэмах Е. с большой силой выражено стремление постигнуть дух современности» [45].

Это правда. Слишком безусловна была зависимость поэта от эпохи.



Общество предало Евтушенко, потому что перестало нуждаться в трибунах. Революция закончилась.



ИНТЕРВЕНЦИЯ

2

ЕВРОПА

БЕРЕЗОВЫЕ ПАЛЬМЫ

МЕТАФОРА РЕВОЛЮЦИИ

КУБА

ПЕРЕВЕРНУТЫЙ АЙСБЕРГ

АМЕРИКА



1968
«ПРАВДА»

ЕВРОПА

БЕРЕЗОВЫЕ ПАЛЬМЫ

Неподалеку от Останкинской дубравы, на пересе[чении] с 4-й [Ме]щанской, [ули]цы обширно[го ле]чены гра[ни]цы обширно[го уча]стка превратятся в [ста]тель Скоро он [ста]ну[т] ную площ[адь]. Здесь возникнет [баш]ня Большого [Мо]сковского телецентра. Вступ[ив] уверенный [в] прием программ в радиу[с] сыграет большую [ро]ль в [ра]звитии между городами [и] демократии.

Перед коллектив[ом] проектировщиков [воз]ник[ла] инженер — Н. Никитин, [ар]хитекторы — Д. [Ка]талов, Д. Бурдин) стояла [за]дача. Башня в порядке «совмес[тно]го строительства приз[ва]на быть своеобразным высо[тным] балконом, с [ко]торого экскурсанты смогут о[бо]зревать [Мо]скву.

Несколько лет авторы трудились над конструктивной схе[мой], объемно-планировочным решением. И вот работа зав[ер]шена. На столе инженера Н. Никитина появились макеты. Смелость инженер[ов] Десять массивных [ко]нусообразных фундаментов, рассчитанных на [ко]лоссальную нагрузку. Могучий ствол устремляется ввысь. Даже уменьшенная во много раз, башня производит внушительное впечатление.

Ее справедливо называют уникальной. Посмотрите на сравнительную схему, где стоят рядом несколько широко известных высотных сооружений Москвы и западноевропейских городов. Слева Шуховская башня на Шаболовке; дальше шпиль главного корпуса МГУ, возносящийся над Ленинскими горами; знаменитая Эйфелева башня, гордость Парижа; телевизионная вышка в Штутгарте (ФРГ). У всех их стройный, изящный рост. Но даже рядом с ними останкинская башня, изображенная посредине, выглядит великаном. Ее высота — 508 метров.

Напомним, что высота этажа обычного здания — около четырех метров. Следовательно, башня Большого Московского телецентра превзойдет все существующие небоскребы Нью-Йорка, в том числе стодвухэтажный «Эмпайр стейт билдинг».

Перенесемся в 1963 год и совершим мысленное путешествие по башне.

...Входим в один из трех пассажирских лифтов, каждый из которых вмещает 15 человек. Нажим кнопки. На световом табло вспыхивают цифры, обозначающие смену высот: 20... 100... 150... 300... Сам подъем не ощущаешь, кажется, что лифт недвижим.

Инженер знакомит экскурсантов с «начинкой» башни.

В коническом основании, максимальный диаметр которого превышает 60 метров,— 11 этажей. В них телевизионные передатчики, всевозможные технические и вспомогательные помещения, кабинеты администрации.

Ствол башни представляет собой полую оболочку, по мере подъема суживающуюся от 18 до 7 метров. Стенки ствола, в свою очередь, становятся все тоньше — от тридцати шести сантиметров доходят до двадцати.

На уровне 360 метров оборудован ресторан. По соседству несколько смотровых площадок. Тут собралось человек шестьсот — семьсот. Москвичи, приезжие, иностранные туристы любуются открывшейся перед ними панорамой столицы.

Поднимаемся еще выше. Опять смотровые площадки, метеорологическая станция. Синоптики шутливо именуют ее горкой.

Отметка «392 метра». До сих пор башня была железобетонной, с предварительно напряженной арматурой в виде натянутых стальных тросов. Отсюда устремляется в небо венчающая часть — стальная полая оболочка высотой в 116 метров.

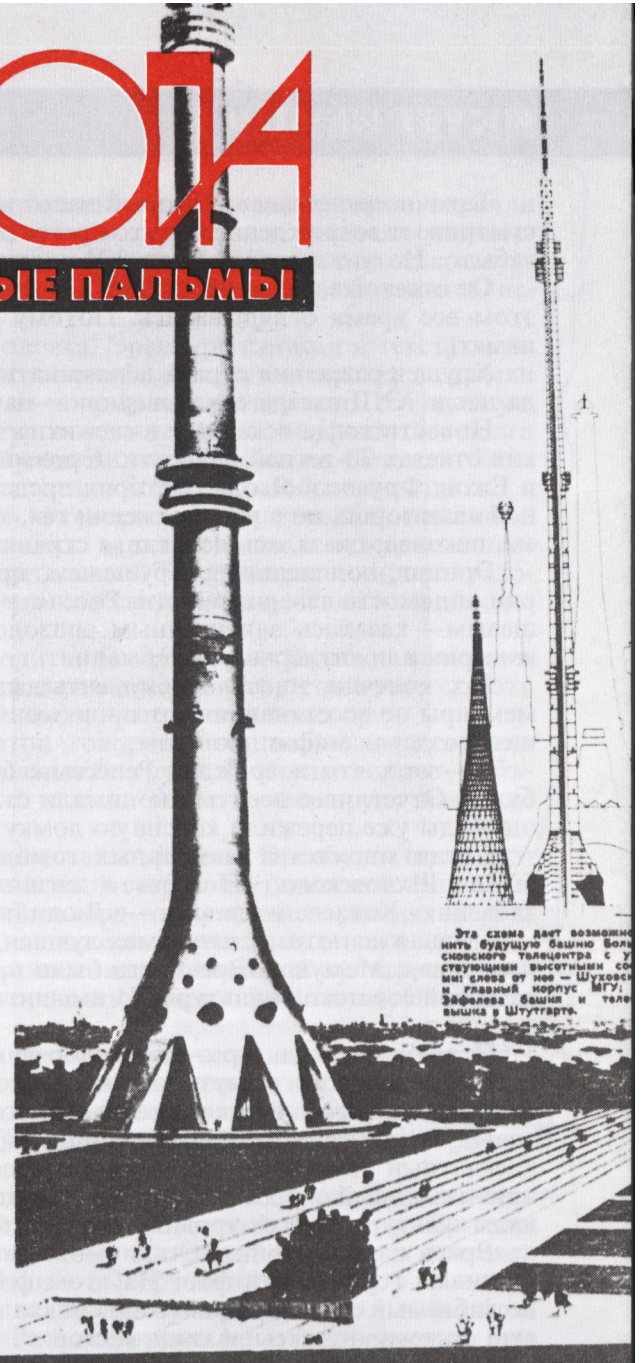
Но вернемся из недалекого будущего в настоящее. Работники Министерства строительства РСФСР и Главмосстроя, которым поручено возведение башни, рассказывают о некоторых особенностях проекта.

Конструкторы постарались придать башне максимальную прочность, долговечность и жесткость. Обычные методы расчетов на прогибы, деформацию, колебания оказались неприемлемыми, столь велика башня. В проекте, например, предусмотрены скорости ветра, вдвое большие, чем те, которые когда-либо наблюдались в Московской области. При средней скорости ветра амплитуда колебания макушки башни будет составлять 1—1,5 метра. Переход из одного крайнего положения в другое займет целых 7 секунд. В сравнении с другими подобными сооружениями такой период колебаний очень велик. Следовательно, люди, находящиеся в верхней точке сооружения, почти не почувствуют его движения.

Стальные тросы арматуры строители натянут с помощью мощных домкратов. Общая сила натяжения составит 6 500 тонн. В работах по строительству башни участвуют тресты «Железобетонстрой», «Стальмонтаж», «Строитель», десятки проектных организаций.

Пройдет три года, и в московский пейзаж впишется пятисотметровая громада. Силуэт башни, запечатленный на фотоснимках, почтовых марках, всевозможных сувенирах, станет известным всему миру.

Б. БОРИСОВ



Эта схема дает возможность представить будущую башню Большого московского телецентра с уже существующими высотными сооружениями слева от нее — Шуховской башней, главный корпус МГУ, Эйфелева башня и телевизионная вышка в Штутгарте.

ВЫСОТА 508 МЕТРО

Термин «ренессанс», который часто прилагали к 60-м, предусматривает возрождение чего-то прекрасного, что было временно забыто. Но что именно? Когда? И почему?

От ответов зависел облик эпохи, которая звала вперед, но при этом все время оглядывалась. Потому что пафос ее выражала память.

Хрущев разрешил стране вспоминать еще на XX съезде. Когда после XXII съезда ему поверили — началась пора мемуаров.

Новости тогда искали не в свежих газетах, а в стенографических отчетах 30-летней давности. Героями дня опять стали Киров и Ежов, Фрунзе и Ягода. История предстала страшной запутанной авантюрой, но в распоряжении тех, кто следил за ее развитием, наконец, оказалась последняя страница.

Эпилог, подписанный Хрущевым, придавал советской истории видимость завершенности. Россия — между Лениным и Хрущевым — казалась законченным эпизодом, как наполеоновская империя или гитлеровская Германия.

Но, конечно, никакие документы, никакие архивы, никакие мемуары не восстанавливают прошлое. Они формируют настоящее, создавая миф о прошлом.

От того, что возрождал Ренессанс 60-х, зависело, каким он будет. Отчетливее всех это понимали старые писатели, которые однажды уже пережили коренную ломку общества.

Среди множества мемуарных томов в 60-е вышли «Жили-были» Шкловского, «Повесть о жизни» Паустовского, «Трава забвения» Катаева и главная — «Люди, годы, жизнь» Эренбурга.

Главная не потому, что самая лучшая, и не потому, что самая правдивая. Мемуары Эренбурга были программой строительства новой советской культуры. И именно так ее восприняли враги и друзья.

Сталинская культура — противоречивый клубок, составленный из Маяковского, музыкальной классики, академической живописи, натуралистического театра. В этом легко увидеть хаос.

На самом деле устойчивую социальную систему обслуживал адекватный ей стиль — сталинский классицизм, по недоразумению названный соцреализмом. Его нормативная поэтика объединяла культуру на всех уровнях — от эпитета до архитектуры.

Враги народа, война, Сталин — все это придавало жизни отчетливый героический фон. На этом фоне был ограничен даже несгибаемый секретарь райкома. Он входил в древнюю поэтическую систему — Аяксы, Ахилл, Гектор...

Ярким примером стилистической мощи может и даже должна служить повесть Эренбурга «Оттепель». Написанное в 1954 году и переведенное на множество языков (в том числе — финский,

телугу, иврит), это произведение вряд ли справедливо оценили современники. По сути и свои и зарубежные читатели удовлетворились одним названием — «Оттепель». Это слово, как «спутник», вошло в политический словарь и стало обозначать историческую веху.

Но все же, кроме заголовка, Эренбург написал и текст, очень характерный, даже символический. Автор, не выходя за рамки классицизма, попытался по-новому эксплуатировать его идейную сущность. Герои Эренбурга вдохновлены конфликтом долга с чувством не в меньшей степени, чем персонажи Корнеля. Если конфликта нет, они мужественно борются, чтобы его создать.

«Моя жизнь — завод»,— говорит отрицательный персонаж. «Я, может быть, разбираюсь в станках, но с чувствами плохо»[1],— вторит ему положительный. Теперь не так-то просто разобраться где кто, потому что классицистская поэтика всех объединила своей стихией.

Неважно, что происходит в повести, неважно, какие монологи произносят ее герои. Существенно лишь то, что хочет сказать автор. Потому что классицизм — это всегда аллегория.

В данном случае автор говорит, что любовь — не помеха повышению производительности труда. Или еще короче — объявляет, что наступила оттепель. То есть — цитирует название повести.

Именно триумфальный успех этой книги Эренбурга показывает, каким прочным был стилевой стержень сталинской культуры.

«Оттепель» — последний аккорд гармонического искусства 50-х. Она завершила этот этап, но даже не намекала, куда идти дальше.

Чтобы Ренессанс 60-х состоялся, советской культуре нужно было открыть свою античность — свои прототипы. И она их нашла.

Сталинская культура существовала в стилевом вакууме. Когда ее границы стали рушиться, на растерявшегося зрителя и читателя обрушилось западное искусство разных эпох и направлений. Моне, Кафка, Сартр, Пикассо — все они предстали современниками, модернистами, агрессорами.

Разностилевую западную культуру объединяло одно качество — она была отличной от норм советской культуры. Ее надо было приспособить к советскому обществу, врастить в контекст правильной идеологии. Или — выкорчевать.

Спор об отношении к западному влиянию стал войной за ценности цивилизации. Речь шла уже не о направлении или школе, а об историческом месте России на карте мира. Грубо говоря, где проходит граница Европы — по Уралу или по Карпатам?

«По Уралу!» — заявил Илья Эренбург и написал «Люди, годы, жизнь».

Сам Эренбург был мифом — советский европеец. Как апостол Павел, с которым его часто сравнивали, Эренбург принадлежал двум мирам.

В 60-е эта раздвоенность позволила ему стать пророком. Эренбург мечтал присоединить советскую Россию к европейской цивилизации.

Автор «Оттепели», завершивший классицистский период советской культуры, он открывал ее следующий этап в не менее аллегорическом ключе. Только теперь олицетворения пороков и добродетелей носили имена прославленных писателей, художников, ученых.

То, что хотел сказать и сказал Эренбург, очень просто: Россия — часть Европы. Вклад ее в создание европейской культуры огромен. Это — ручей, река, пусть даже водопад, но вливается российский поток все же в общее море. Нет никаких препон между востоком и западом Европы, кроме тех, которые устроили неумные люди по обе стороны границы.

Тут нет ничего нового, ничего особенного, ничего крамольного. И все же Эренбургу потребовалось полторы тысячи страниц, чтобы доказать этот тезис. Тезис оказался крамольным.

В своих мемуарах Эренбург принципиально не делает различия между советским и несоветским, между русским и нерусским. Его герои перемешаны самым причудливым образом. Бальмонт, Пикассо, Есенин, Модильяни, Ленин, Эйнштейн. Поэты, художники, политики. Россия, Франция, эмиграция.

Все в этой грандиозной панораме должно служить концепции единого мира, в котором лишь талант и стиль различают людей и идеи.

Для Эренбурга, космополита, обжившего глобус, земля есть братство художников, преобразующих лоскутную карту в единый глобус искусства. Народы «разделяют не мысли, а слова, не чувства, а форма выражения этих чувств: нравы, детали быта»[2].

Эренбург страстно доказывал, что русские не хуже и не лучше Европы — просто потому, что русские и есть Европа. С наслаждением он перечисляет русские имена парижских художников, не забывает упомянуть славянских жен иностранцев. Ему дорого, что Бабель говорит по-французски, что Алексей Толстой разбирается в тонких винах, что Мейерхольд и Эйзенштейн покорили Запад. Когда он пишет, что «парижане считали советское искусство наиболее передовым»[3], то имеет в виду не российский приоритет, а торжество искусства без границ. Как его любимое

бургундское, творчество разливается по бутылкам разной формы и цвета, но вино от этого не становится другим.

Мы — это они! Они — это мы! — кричал Эренбург на разных языках, в разных странах, в разное время. Советская история интерпретировала эти слова в зависимости от ситуации. Иногда как призыв к мировой революции, иногда как «убей немца», иногда как безродный космополитизм.

В 1961 году эта концепция вылилась у Эренбурга в формулу: «Береза может быть дороже пальмы, но не выше ее»[4].

На самом деле, тогда советская интеллигенция была уверена, что пальма выше. Прошло немного лет, и утвердилось мнение, что выше все-таки береза. В этих ботанических спорах определялась историософская модель России.

Эренбург провозглашал: СССР не есть остров, изолированный от остального человечества во времени и пространстве. «История изобилует ущельями, пропастями, а людям нужны хотя бы хрупкие мостики, связывающие одну эпоху с другой»[5], — писал Эренбург и с наслаждением строил эти мостики. Не только западная, но и русская культура ждала своего второго открытия. И Эренбург азартно открывал. Волошин, Цветаева, Мандельштам, Андрей Белый, Ремизов, Мейерхольд и множество других вошли в сознание советского общества из «энциклопедии» Эренбурга, которая была полней Большой Советской.

Он показывал, что темным сталинистским векам предшествовал другой мир. Красочный, великолепный, веселый, ослепительный, как Атлантида.

Так начался Ренессанс.

Эренбург распоряжался богатствами мировой культуры с тем произволом, который позволяет первооткрывателю давать имена новым землям. (Потом, конечно, это ему припомнили — и избирательность памяти, и снисходительные нотки, и прекрасно освоенную, даже воспетую им «науку молчания». Но не сразу.) Впрочем, Эренбург и не настаивал на объективности своих мемуаров. Он создавал программу, а программа обязана быть тенденциозной. Ключевым моментом этого построения была, конечно, революция.

В космополитической утопии Эренбурга социализм нельзя было обойти. Но его можно было пристроить.

Эренбургу это сделать было проще, чем другим: он знал, что такое капитализм: «Я возненавидел капитализм; это была ненависть поэта...»[6]

Что ненавидят поэты больше всего? Деньги. Толпу. Пошлость. Буржуев.

«Может быть, русские первые низвергнут власть денег»[7],— говорит французский поэт молодому Эренбургу. И действительно низвергли — подтверждает старый Эренбург всей книгой.

Революция уничтожила вечную зависимость творца от буржуя, говорит он. Расчистила путь к всемирному братству художников, раскрепостила фантазию, раздвинула художественные границы, дала народу искусство. И все это потому, что революция отменила деньги.

На Западе есть свобода, но и есть собственность. Буржуям не нужно искусство, им нужен комфорт. Поэтому только богема достойна представлять древнюю европейскую цивилизацию.

В Советском Союзе народ освободили от собственности в государственном масштабе. «Никогда люди так плохо не жили, и, кажется, никогда у них не было такого творческого горения»[8].

Конечно, революция, уничтожив одни преграды, построила другие, тоже внушительные. Но Эренбург никогда не забывает главного — денег-то нет. Поэтому: «Будущее, конечно, принадлежит Советскому Союзу»[9],— вслед за героем «Оттепели» повторяют многочисленные персонажи эренбурговских мемуаров.

Чтобы оправдать революцию, нужна была глобальная позитивная идея, пусть даже выраженная в негативной форме. В интерпретации Эренбурга коммунизм освобождает человечество от антипоэтического мироощущения. Аристократы духа могут быть голодными, измученными — даже мертвыми! — но они не опустятся до унизительной зависимости от рынка. А если опустятся, значит — это ложные аристократы.

Революцию, объясненную таким образом, можно было приспособить и к борьбе со Сталиным, и к войне с мещанством. К тому же, она не мешала воссоединению с Европой. Младший брат бунтует против старшего, но семья одна. Причем если у нас культ личности, то у них «культ благополучия». У нас он кончился, у них — нет.

Не зря Эренбург так сочувственно цитирует слова Брюсова о том, что «социалистическая культура будет отличаться от капиталистической культуры так же сильно, как христианский Рим от Рима Августа»[10]. Христианство ведь тоже призывало к отмене денег и границ.

В своих мемуарах Эренбург сращивал социализм со свободой, Россию с Европой, поэзию с революцией. Во всяком случае, так казалось читателям 60-х. Не удивительно, что критикам это не понравилось.

Уже в 63-м году они писали: «Автор „Люди, годы, жизнь“ выдвигает на первый план искусство модернизма в различных видах...», «У автора есть пафос объяснения западных модер-

нистских направлений в их связях с западной действительностью. Но в мемуарах нет пафоса объяснения нового русского искусства». И главное — «У Эренбурга ничего не остается от национальной самостоятельности»[11].

Критик хорошо понял Эренбурга — программный характер мемуаров был очевиден для тогдашнего читателя. Спор сразу же перешел к сущности этой программы, а не к деталям ее выражения.

На протяжении 1500 страниц Эренбург строил миф, стремясь собственным примером обосновать возможность жить гражданином мира, не отказываясь от красного паспорта, совместить коммунизм с гуманизмом, сохранить мораль дореволюционного интеллекта, не нарушая советские законы.

В ответ «Литературная газета» ему справедливо указала на недопустимость ухода «от самых волнующих злободневных вопросов: о партийности и народности...»[12]

С партийностью Эренбург еще попробовал разобраться во второй половине своих мемуаров. С народностью за него разобралась эпоха.

В начале 60-х космополитическая мечта Эренбурга окрыляла советскую культуру. Открытие шедевров советского искусства, его триумфы 40-летней давности — придавали значительность еще куцей новой волне. Ренессанс смотрит в прошлое, даже чужое, без зависти, только с восхищением. Ему нужны образцы. Французская живопись, итальянское кино, американская проза — все это насыщало советскую культуру новыми формами, заново открывало истинный реализм, который был так чужд теократическому соцреализму сталинского общества.

Эренбург доказывал, что и отсталая Россия внесла свой вклад в это богатство. Причем Россия левая, революционная, наша. Красная нить, которую он протягивал чуть ли не от Радищева в 60-е годы, стала путеводной. Нужно было только очистить традиционную, интеллигентскую, «протестантскую» культуру от позора пресмыкательства.

Новая жизнь должна была стать разнообразной, веселой, духовной и честной. То есть такой — по мнению 60-х,— какой ее видели декабристы, Чехов, Маяковский. Если и в прошлом были такие блистательные минуты, какие описывал Эренбург, то каким же ослепительным будет будущее?

Этого не знал никто, но догадки строили многие. Не зря публицист тех лет радостно восклицал: «Несчастливых — к ответу». «У нас в стране сейчас такая праздничная обстановка. Как же можно позволить себе жить серо, скучно или быть несчастным? Общество потребует от каждого, чтобы он жил с наслаждением, с азартом, чтобы страсти кипели и мышцы играли»[13].

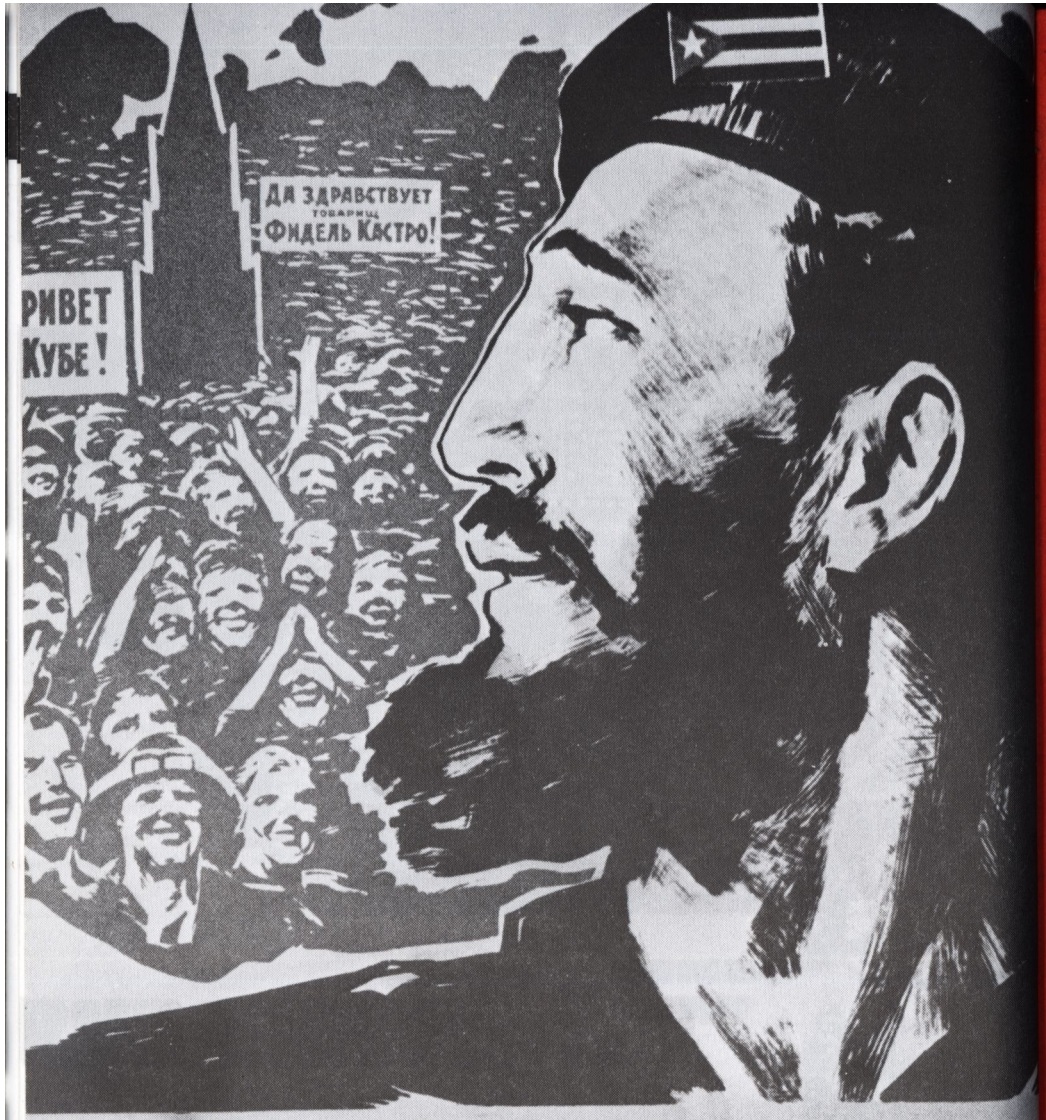
Бодрый интернациональный дух, который так хотел привить Эренбург советской культуре, отнюдь не развратил ее декадентскими настроениями, как опасались тогда ретрограды. Напротив, он помог ей встать на ноги после тяжелых унижений сталинских лет.

Но, очнувшись, культура эта свернула в сторону. Выяснилось, что в веселой атмосфере праздника забыли про национальные корни. Если партийность еще можно было обвести вокруг пальца, то народность — никогда.

Один ренессанс сменился другим. На этот раз путь лежал не вовне, а вглубь — к смутным, но дорогим истокам.

Поздние 60-е отвергали открытия ранних с тем пылом, который позволил американскому путеводителю сделать сакраментальный вывод: «Для русских „родина и народ“ означает то же, что для англосакса — „свобода и демократия“»[14].





ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВЕЧНАЯ
НЕРУШИМАЯ ДРУЖБА И СОТРУДНИЧЕСТВО
МЕЖДУ СОВЕТСКИМ И КУБИНСКИМ НАРОДАМИ

ОГОНЁК

БИБЛИОТЕКА
ПРАВДЫ



МЕТАФОРА РЕВОЛЮЦИИ

КУБА

РУК
ПРОЧ
ОТ КУБ

Невозможно без волнения п
что происходило в Москве, ка
неслась весть об агрессии пр
Республики Куба.

Еще четыре дня назад здесь
столицы шли колонны радостны
приветствовавших Юрия Гагари
мире космонавта. Теперь мо
пришли сюда. Но на этот раз
уже иными. Море возмущения
где недавно ликовало море вос

«Позор интервентам!», «Куба
нет!», «Вива Куба! Вива Фидель!
от Кубы!» — страстно призывал
писанные плакаты. В воздух в
ки; возгласы протеста и лозун
сти с Кубой слились в грозный

Десятки тысяч людей шли с
листическими плакатами на ру
ском, французском, испанско
языках. Шли рабочие автозаво
хачева, студенты московских в
стихия билась в каменных бе
ских улиц.

— Это самый большой позо
канских империалистов, больше
придумаешь! — слышится возму
И эти люди еще пытаются бол
де! В те дни, когда все челове
ся победам в космосе, они пр
полнению своего подлого, д
ного плана! Это — чудовищное
не только против Кубы, но и п
людых стран, борющихся за с
мость.

Народу все больше. Улица
ше вздымаются большие плака
«Руки прочь от Кубы!»



В 60-е Запад, выйдя из газетных клише, воплотился во вполне конкретных плащах «болонья», жевательной резинке, шариковых ручках.

Буржуазная культура — многолетнее пугало пропагандистов — явилась лентами Феллини, страницами Сэлинджера, гитарами «Битлз».

И самое поразительное — с Запада повеяло романтикой революции. Так причудливо складывалась судьба России, что даже величайшее событие в своей истории — революцию — страна получила в 60-е обратно в виде импорта, с маленького острова в Карибском море.

До Фиделя никакой Кубы для русского человека не было. В Западном полушарии была Америка — то есть Соединенные Штаты — это точно. Остальное растворялось в кофейном аромате, голосе Лолиты Торрес, восторженном щебетанье футбольных кличек: Пеле, Диди, Вава.

Латинская Америка ворочалась под толщей расстояний и чуждых культур, потрясая своими редкими явлениями. Так появлялись великие монументалисты: Ривера, Сикейрос, Ороско. Так потом отодвинули усталых европейцев мощные книги Маркеса, Фуэнтеса, Астуриаса.

На подступах к 60-м Латинская Америка удивила мир и социальным произведением — Кубинской революцией. Привыкший к суете банановых республик в духе О. Генри, Запад вначале так же несерьезно отнесся и к переменам на вест-индском острове.

Появление Фиделя Кастро в качестве нового правителя Кубы ничем особенно не удивило. Он сделал несколько обязательных заявлений о счастье народа, походя обругал империализм США и СССР[15], что было принято в среде стран, ищущих «третий путь» развития. Кастро отмежевался от коммунистов[16] — и это было в порядке вещей, так как сахар у Кубы покупала Америка. Три четверти экспорта составлял сахар, половину посевов занимал сахар, от сахара зависела жизнь. Кто мог тогда, зимой 1959 года, предвидеть, что не пройдет и двух лет, как желтоватый тростниковый сахар поплывет в обратную сторону — в Советский Союз. Правительство Эйзенхауэра благосклонно приняло визит Кастро в Штаты, не зная — как и он сам, впрочем, — что через год-два кубинский премьер будет обниматься с Микояном, Хрущевым и Евтушенко, а немного позже весь земной шар повиснет на волоске, протянутом от этого острова, который весь целиком поместился бы в одном штате Пенсильвания.

Советский Союз и сам мог бы разместить Кубу в Таджикской ССР. Известно о ней было ничтожно мало, это уже потом, как водится, выяснилось, что у Кубы с Россией давние связи. Что еще

в середине XVIII века там побывал просветитель Федор Каржавин. Ничего очень лестного он про тамошних жителей не написал, отметил, что облик их «показывает задумчивость и уныние. Они по чрезвычайной своей лености почти ничем убеждены быть не могут к оказанию услуги Европейцу... Паче всего надобно остерегаться, чтобы их чем-либо не оскорбить, потому что мщению не знают пределов»[17].

За два века народ Кубы преобразовался, хотя склонности к мщению не утратил. Наблюдавшийся за кубинскими делами российский человек, переживший опыт своих революций и войн, это качество никогда не считал излишним. Правда, в 60-е слова «ненависть» и «возмездие» несколько увяли, утратив свою былую романтическую привлекательность. В моде был гуманизм, но лишь немногие заметили деловитый энтузиазм Фиделя Кастро: «Мы намерены как можно скорее покончить с расстрелами, чтобы затем всю свою энергию отдать созидательному труду. Я постоянно тороплю трибуналы, чтобы уже в марте мы могли объявить, что значительное число военных преступников примерно наказано, а остальные будут осуждены на каторжные работы. ...Расстреливать — это справедливо, но не это основная задача революции»[18].

Может быть, советские люди были благодарны Фиделю уже за то, что он отнес расстрел к числу второстепенных задач? И потом — как же без расстрелов вообще? В одной из самых модных пьес 60-х, поставленной в «Современнике», наркомы голосуют за декрет о терроре.

«Луначарский. Самое трудное для коммуниста — быть жестоким. Сколько клятв о беспощадной мести мы дали у братских могил! И все же не поднималась рука. Но сейчас чаша переполнена. Рука должна подняться».

«Ногин. Я смотрю на Дзержинского — мука, а не работа. Ему легче себе приговор подписать, чем другому, и все-таки подписывает...»

А когда наркомы обсуждают судьбу стрелявшей в Ленина Фанни Каплан, уникальную юридическую формулировку произносит женщина.

«Коллонтай. По окончании следствия — расстрелять»[19].

Выходило, что расстреливать надо. За это были даже такие интеллигенты, как Луначарский, Чичерин, Красин. Страна заново изучала революцию, мучительно стараясь понять — как вышло, что так легко и искренне начатое дело перешло в угрюмый кровавый обман.

Очень соблазнительно было счесть, что какой-то сбой, ошибка, искажение произошли по пути; что вначале все и задумано и даже сделано было правильно и хорошо; что, во всяком случае,

благие намерения, переполнявшие революционеров, были честны и поэтичны.

Тому, что революция была актом чистым и творческим, подтверждения находили: козыри литературы и искусства. Самый авангардный поэт 60-х, Вознесенский, казался воплощением Маяковского. В Театре на Таганке с аншлагом шли «Десять дней, которые потрясли мир». Из забвения извлекались имена Хлебникова, Татлина, Лисицкого. Читающую Россию потрясло открытие Платонова.

Тогда, в 60-е, зарубежный русский исследователь писал: «В поэзию Цветаевой революция вплелась добавочной хроматической нитью, дополняющей взволнованность и сложность ее словесного рисунка. Мандельштаму революция открыла путь к творческому хаосу псевдоклассической оды, Хлебникову — к простоте разговорного языка, Пастернаку — к непочатому источнику метафорического материала — повседневности. Каждый из них по-своему улавливал свойства вынесенной на поверхность языковой руды взорванного революцией российского космоса» [20].

Смерть, казни, расстрелы признавались ужасным, но — не безоговорочно: рождение и смерть неминуемо тесно связаны, а революция — это именно тяжкий процесс родов. Ощущение великих перемен заставляло не так пристально всматриваться в темные оттенки общего яркого спектра. Джон Рид в дни октября 1917 года заглянул в кино: «Шла итальянская картина, полная крови, страстей и интриг. В переднем ряду сидело несколько матросов и солдат. Они с детским изумлением смотрели на экран, решительно не понимая, для чего понадобилось столько беготни и столько убийств» [21]. Точно так же молодого большевика поражала суета вокруг смерти старухи-процентщицы у Достоевского: о чем, собственно, беспокоиться? [22]

Революция — дело творческое, а ведь романисту ничего не стоит зарезать персонаж или живописцу взмахом кисти убрать фигуру. Коллективное творчество революции, через край бьющее гиперболами, метафорами, гротеском, приносило своих — живых — персонажей в жертву жанру [23].

Инструментом искусства 60-е поверяли революцию, проводя экскурсы в прошлое, перенося исторические события и лица в настоящее. И тут жизнь предложила еще одну метафору, теперь уже не временну́ю, а пространственную — Кубу.

Появился полигон, на котором можно было переиграть собственное прошлое. Полигон, существующий в настоящем, пусть и в таком отдаленно-неведомом — в ином полушарии. Это была поистине «чудесная реальность» [24], как назвал латиноамериканское бытие кубинец Алехо Карпентьер.

На этом «сюрреалистическом континенте» [25] все было волшебно, и волшебной казалась издали Куба, где «Ягуар подходит к воде, чтобы напиться, а Крокодил протягивает рыло свое из воды, дабы Ягуара поймать...» [26]

Земля, дышащая мифами, должна производить нечто грандиозное. И революция на Кубе стала ярким событием для советского человека 60-х: мощный творческий импульс социального переворота связался с экзотикой дальних морей.

Портреты Фиделя и Че висели в домах. Все знали слова лихой песни барбудос:

Куба, любовь моя,
Остров зари багровой!
Песня летит над планетой, звеня.
Куба, любовь моя!

Слишком многое в сознании работало на популярность Кубинской революции в СССР. Простота и красота испанского языка завораживала русских. Язык напоминал о самом романтическом периоде советской истории — Испанской войне. И как тогда все знали «Но пасаран!», так теперь «Патриа о муэрте!»

К Кубе имел отношение главный русский писатель 60-х — Хемингуэй.

Даже Дон Кихот казался как бы кубинцем. Тот Дон Кихот, сходство с которым старательно придавалось в театре и кино обновленным 60-ми героям революции — сухощавым ленинцам с острой бородкой. Хотелось верить, что Кубинскую революцию делают интеллигенты — как и русскую. Те исполненные доброты и суровой нежности люди, которых затем безжалостно истребили мрачные малограмотные злодеи с кавказским акцентом.

Велись поиски параллелей: остров Куба — Республика Советов как остров в кольце врагов; футуристы — абстракционисты; Маяковский — плакаты, которые «очень напоминали наши РОСТА» [27]; мы создавали революционную науку историю — они завели себе новую географию [28]; мы боролись с махизмом — они с мухализмом [29]; у нас кухарка собиралась управлять государством — у них «мальчик озабочен, как министр» [30]. И совсем уже мешая все на свете писал Евтушенко:

Но чтоб не путал я века
и мне потом не каяться,
здесь, на стене у рыбака,
Хрущев, Христос и Кастро! [31]

Расположившиеся, как два разбойника по сторонам Иисуса, бородатый кубинский партизан и лысый советский премьер сливались воедино в порыве преобразования общества.

Кубинская революция легко стала метафорой революции Октябрьской, потому что сам по себе революционный переворот подчиняется законам искусства и диалектики. Один поэт — поэма, много поэтов — революция.

Поэтический характер кубинских событий был налицо: прежде всего, в беспорядке и анархии. Еще во время своей первой попытки — 26 июля 1953 года — бойцы Кастро ясным утром заблудились на городских улицах и провалили атаку на казармы Монкада. В ноябре 56-го 82 человека во главе с Фиделем отплыли из Мексики на шхуне «Гранма» и прибыли вовсе не туда, куда намеревались. В результате 70 из 82 были убиты или взяты в плен.

Такое знакомо и русским революционерам, которые утром 7 ноября 1917 года захватили военное министерство, не проверив чердак, где весь день держал связь по радио с Зимним дворцом и всеми фронтами офицер, который «узнав, что Зимний пал, надел фуражку и спокойно покинул здание» [32].

Три поколения пели песню про матроса-партизана Железняка: «Он шел на Одессу, а вышел к Херсону...» [33] От Одессы до Херсона — даже по прямой, через море — 150 км.

При этом все-таки и Гавана, и Одесса с Херсоном, и Зимний дворец — захвачены и покорены. Как пишет свидетель революции Максимилиан Волошин:

В анархии — все творчество России.
Европа шла культурою огня,
А мы в себе несем культуру взрыва.
Огню нужны — машины, города,
И фабрики, и доменные печи,
А взрыву, чтоб не распылить себя,—
Стальной нарез и маточник орудий.
. . . . . .
Поэтому так непомерна Русь
И в своеволье, и в самодержавьи.
И в мире нет истории страшней,
Безумней, чем история России.

И еще — о людях, которые способны творить такую историю:

Политика была для нас раденьем,
Наука — духоборчеством,
Марксизм — догматикой,
Партийность — аскетизмом.
Вся наша революция была
Комком религиозной истерии [34].

Комплекс донкихотского своеволия и безрассудства, «необычайность великого этого безумия» [35] — в деятелях революции. Дантон, Троцкий, Кастро... Они ниспровергали — это в первую очередь. Но и творили.

Алехо Карпентьер вспоминает слова кубинского поэта Рубена Мартинеса: «Новое искусство? — говорил он.— Новая поэзия? Новая живопись? Хорошо. Но... А может, лучше для начала поговорить о Новом Человеке? Куда девают они Нового Человека, когда утверждают эти новые ценности, которые станут действительно новыми лишь тогда, когда приведут к освобождению нового человека, обновленного новым порядком вещей?» [36]

К тому времени, когда кастровские партизаны спустились с высот Сьерра-Маэстры, такой Новый Человек уже существовал. Это был советский человек. Социальный феномен, та самая толпа, масса, то «интеллектуальное мулатство» [37], которого так брезгливо сторонятся революционные эстеты, не замечая, что сами активно творят эту новую толпу, Нового Человека.

Главнейшим завоеванием революции была отмена частной собственности. Именно этим обобществлением имущества начинается, заканчивается и исчерпывается победа социалистической революции [38].

Отмена частной собственности, лишив человека самой идеи «своего» и тем уравняв с окружающими, точно так же лишенными «своего», в конечном счете повлекла за собой изменение структуры личности [39]. Уэллс однажды высказал догадку: «Большевикам придется перестроить не только материальную организацию общества, но и образ мышления целого народа. ...Чтобы построить новый мир, нужно сперва изменить всю их психологию» [40].

В те же годы другой оказавшийся в России англосакс записывал слова Ленина: «Если социализм может быть осуществлен только тогда, когда это позволит умственное развитие всего народа, тогда мы не увидим социализма даже и через пятьсот лет...» [41]

Ленин вступил в заочную дискуссию с Уэллсом, доказывая, что незачем сперва менять психологию, а потом строить — все можно делать одновременно.

Сам коллективистский характер революционного творчества (один поэт — поэма, много поэтов — революция) предполагал обобществление не только орудий труда и предметов потребления, но и идей, помыслов, надежд.

Можно сказать, что коллективизм подавляет личность. А можно сказать — трансформирует в нечто качественно иное. Отмена частной собственности и ее последствия произвели действие,

противоположное ходу эллинско-христианской цивилизации. Столь схожие заповеди Морального кодекса строителя коммунизма и Священного писания имеют существеннейшее различие: христианство апеллирует к личности, социализм — к коллективу.

Казалось, что реальный социализм отвечает естественному чувству самосохранения, и человек готов отдать свою частную собственность на вещи и мысли за коллективную безопасность, за круговую поруку общего дела, за ощущение причастности.

«Достаточно диктору призвать к тому, чтобы зрители не оставляли у себя мячей, ибо нужно экономить валюту, которую тратят на мячи, как это выполняют все. И даже когда мяч выбивают на улицу, его возвращают. Когда наш народ был таким?»[42]

Фидель Кастро, блестящий пропагандист, выбирает незначительную деталь с бейсбольными мячами: это все жизнь, будни, быт.

Только миф разом дает ответ на все вопросы. И лишенный «своего» человек вознаграждается комфортом жизни в мифологизированном обществе. Такому человеку легче жить, потому что он всегда точно знает, как относиться к первичности материи и покрою пиджака, к свободе воли и белому стиху, к математическим абстракциям и абстрактной скульптуре, к вопросам пола и цвету потолка, к химере совести и вкусу соуса.

Успех Фиделя Кастро, оказавшегося не эфемерным диктатором, к каким привыкли в Латинской Америке, а стабильным лидером, объясняется тем, что он пошел по проверенному Советским Союзом пути коллективного мифологизированного сознания.

Надо сказать, Кастро пришел к этому не сразу. Захватив власть 1 января 1959 года, Фидель только 16 апреля 1961 года объявил Кубинскую революцию социалистической. Этому активно содействовали американцы, на чьем фоне Советский Союз выглядел заботливым другом страны. Экономические санкции США против Кубы — а в противовес визит Микояна, обещавшего 100-миллионный кредит. Американская поддержка отрядов кубинских эмигрантов — а в противовес советская военная помощь Фиделю[43]. И наконец, в апреле 61-го — сражение на Плайя-Хирон.

Там, в бухте Кочинос (по-русски — в заливе Свиней), проиграл Запад и победил СССР, хотя и сражались кубинцы с кубинцами. Врангель снова был сброшен в море, несмотря на Антанту.

Но если взять шире: одержал верх Новый Человек, созданный революцией.

Тогда Куба стала совсем советской. В пивных расшифровывали ее имя: Коммунизм у Берегов Америки. Фиделя звали

Федей. А главное — 60-е взяли Кубу на вооружение для борьбы с внутренними врагами. Стране мешали бюрократы и чиновники — им противодействовали демократичные коммунисты Западного полушария[44]. Сталинисты зажимали новое искусство — Фидель нес абстракционизм в массы[45]. Наши лидеры бубнили по бумажке — их молодые майоры выдавали речи экспромтом. Ортодоксы любовались фонтаном «Дружба народов» — из Гаваны пришла идея Нового Арбата. Журналы «Огонек» и «Крокодил» попрекали молодежь за волосатость — у них даже премьер был с бородой[46].

Но главным врагом всех революций — Октябрьской, Кубинской и 60-х — было мещанство. Идея стяжательства била по самому святому — идее равенства. С мещанством боролись отчаянно, злобно, неутомимо, тасуя аксессуары (абажур, граммофон, сервант) по фельетонам, стихам, карикатурам, вне зависимости от эпох и условий. Призывали на помощь пролетария Горького: «Если Человек похитит огонь с небес — Мещанин освещает этим огнем свою спальню... Человек исследует жизнь звука — Мещанин делает для своего развлечения граммофон...»[47] Воскрешали очищающий порыв, которому противостояла жалкая контрреволюция: «Каминская заводит граммофон, звучит пошленькая шансонетка»[48]. Импульсивные кубинцы даже жизнь отдавали борьбе с вредной звукозаписью:

> И вот, туда ворвавшись с револьвером,
> у шансонетки вырвав микрофон...[49]

Кубинская революция становилась метафорой не только Октябрьской, но уже и ее современной реинкарнации — либеральной, оттепельной революции 60-х. Битва у Плайя-Хирон произошла в тот же памятный 61-й год, который отмечен победами: XXII съездом, Программой КПСС, полетами Гагарина и Титова, «Бабьим Яром» Евтушенко, «Звездным билетом» Аксенова.

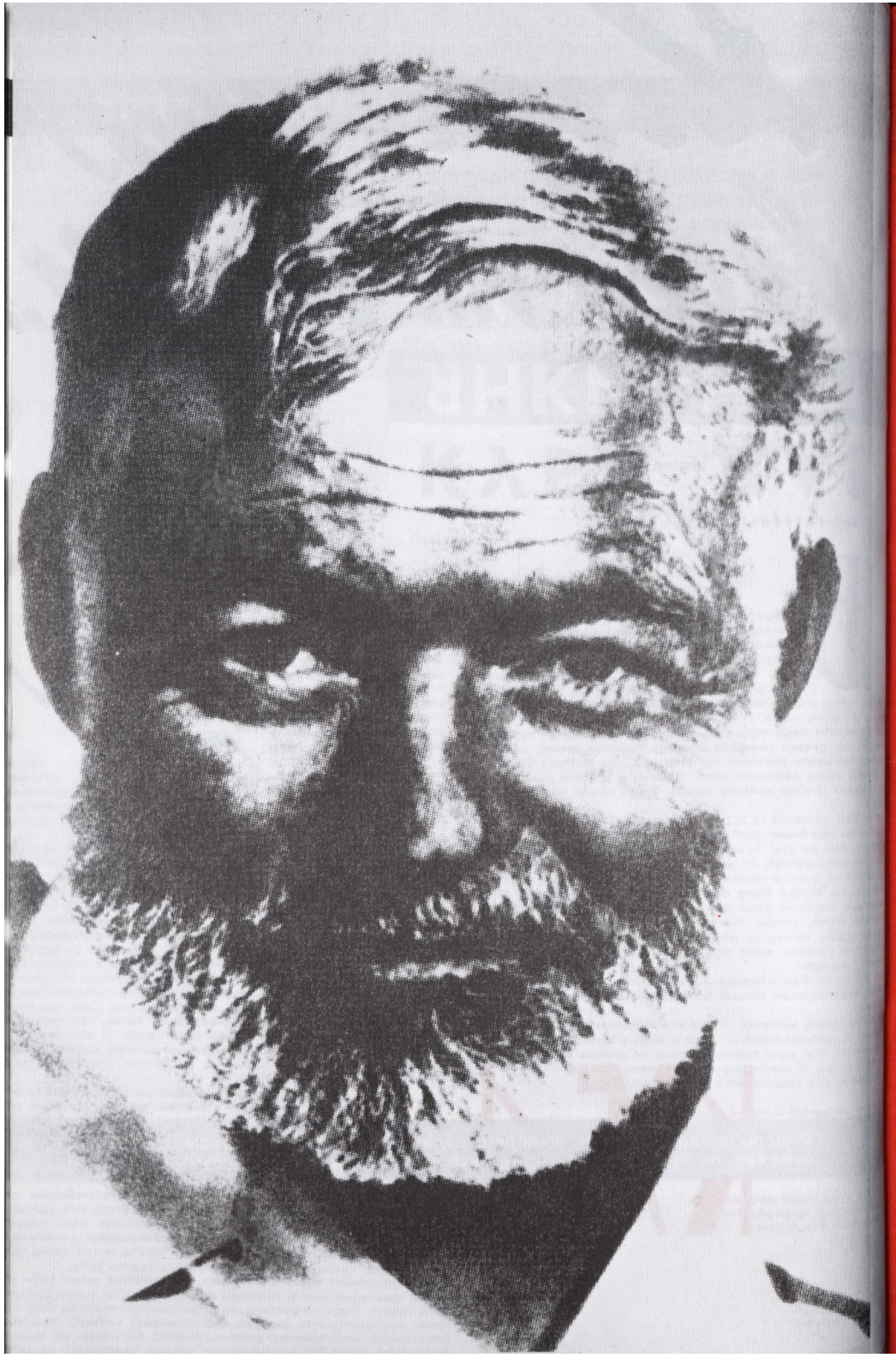
Уже следующий, 62-й год, связал Кубу с угрозой войны, когда Карибский кризис миновал, зато кризис наступил в восприятии Кубы советским человеком. Уже утомлял их бородатый задор, в пивных уже объясняли, что «мы всех их кормим». Выяснилось, что своей свеклы достаточно и на сахар, и на самогон, а вот хлеба стало явно не хватать. На мотив «Куба, любовь моя» зазвучали совсем другие слова.

> Куба, отдай наш хлеб!
> Куба, возьми свой сахар!
> Нам надоел твой косматый Фидель.
> Куба, иди ты на хер!

А еще позже, с затуханием революции 60-х, потускнели и образы 17-го года, и кубинские образцы. Импортный революционный пыл — как любой импорт — оказался явлением временным, преходящим. Разумеется, не в кубинцах тут дело. Просто идея чистоты революции сперва была подвергнута сомнению, а затем и вовсе дискредитирована.

Фидель продолжал быть Фиделем: водил джип, не брил бороды, говорил без бумажки. Но это уже были частные кубинские дела, совсем в другом полушарии.





У ЭРНЕС

«Старик и море» — часть большого романа Эрнеста Хемин



ПОСЛЕДНИЕ

ЛИЦОМ К

ДОБРО ПО

ПЕРЕВЕРНУТЫЙ АЙСБЕРГ

АМЕРИКА

60-е Америки не знали, но в нее верили. Огромная, еще не открытая страна целиком помещалась в радостном подтексте советского сознания [50].

После смерти Сталина две сверхдержавы шли навстречу друг другу в стремительном темпе.

1955 — начинает выходить пустой, но прекрасный журнал «Америка». Ленинград наслаждается премьерой «Порги и Бесс».

1957 — живые американцы гуляют на Московском фестивале.

1958 — Никсон посещает Россию.

1959 — Хрущев триумфально влетает в Вашингтон на «ТУ-114». («Наше радио начинает свою работу с передачи уроков гимнастики, американское телевидение — с передачи уроков русского языка» [51].)

Выставка достижений США в Москве (длинные, как миноносцы, машины цвета «брызги бургундского»!).

1962 — «Великолепная семерка» на советских экранах.

1963 — убийство Кеннеди ощущается в России своей трагедией (из заводской стенгазеты: «Сообщило Би-би-си: / Убит Кеннеди в такси...»).

Друзьями советского народа становятся Рокуэлл Кент и Ван Клиберн. Тройню называют в честь космонавтов — Юрий, Герман, Джон. Культовой книгой опять становятся путевые заметки Ильфа и Петрова «Одноэтажная Америка». Со стола советского человека не сходит дар Нового Света — кукуруза. Американец — герой политического анекдота. Без Америки не обходится ни одна речь Хрущева: коммунизм недостижим, пока СССР не обгонит США.

Главным же американцем в советской жизни был Эрнест Хемингуэй. В его книгах советские читатели нашли идеалы, сформировавшие мировоззрение целого поколения. Стиль его прозы определил стиль шестидесятников.

С 1959 года, когда в Москве вышел двухтомник его произведений, Америка и Хемингуэй стали в России синонимами.

То, что 60-е вычитали из Хемингуэя, имело мало отношения к его творчеству.

Российский читатель давно был привержен к внесюжетному чтению. Для него писатель — автор определенного образа жизни, а не определенного литературного произведения.

Внесюжетное толкование литературы позволяет писателя расширять, углублять, растягивать.

История нашей словесности невозможна без учета того, что читатели вычеркивают из книг и что добавляют. Но если это учитывать, то получится история социальных движений, которая почти буквально совпадает с литературной модой.

Хемингуэй, который и без того так много сделал, чтобы избавиться от сюжета, вряд ли мог предвидеть, как радостно русские читатели перевернут знаменитый айсберг и как решительно они пренебрегут надводной частью.

60-е оставили себе от Хемингуэя антураж, географию, стиль. Их интересовало не содержание диалогов, а их форма, не суть конфликтов, а авторское отношение к ним.

Хемингуэй существовал не для чтения. Важны были формы восприятия жизни, выстроенные писателем. Формам можно было подражать. В них можно было влить свой контекст.

60-е не просто реабилитировали некогда запретного Хемингуэя. Они перевели на русский не столько его книги, сколько стиль его жизни. При этом писателем распоряжались с тем произволом, который может оправдать только любовь.

Подражание Хемингуэю начиналось с внешности. Можно сказать, что 60-е вообще начались с проблем моды. Стиляги были первыми стихийными нонконформистами.

Общественному движению нужна эмблема, способная отразить самые характерные черты эпохи. В этом смысле «обезьяний галстук оказался синонимом XX съезда, а башмаки на рифленой микропорке соответствовали принципам раскрепощения личности. Монумент, изображающий юношу с пышным коком, в брюках-дудочках и канареечных носках, мог бы вместе с зеком в ватнике представлять эпоху реабилитации. Но, к сожалению, все, что осталось от первых нонконформистов,— их диковинные клички, запечатленные фельетонистами «Огонька»,— Бифштекс, Будь-здоровчик, Гришка-лошадь...» [52]

Хемингуэевская мода была следующим шагом. Она не удовлетворялась перечнем аксессуаров — грубый свитер, трубка, борода. Все это желательно, но не обязательно, важнее подчеркнутое безразличие к одежде. Отказ от стандартного костюма означал пренебрежение к внешнему лоску. Хемингуэевская система ценностей исключала торжественное отношение к жизни. Жить спустя рукава проще в свитере, чем в пиджаке.

Когда Ив Монтан приехал в Москву, он выступал в черном

джемпере — о пустяках не поют в смокинге. И даже Хрущев официальному костюму предпочитал вольготную украинскую рубаху.

Мода копировала не только известный портрет Хемингуэя, но и его внутреннее содержание. Подражали не внешности, а отношению к внешности. Поэтому так мало галстуков в гардеробе бывших шестидесятников. Для них этот невинный лоскут — символ капитуляции.

Новый стиль не случайно начинался с одежды. Ядром его было новое отношение к материальному миру.

Советский человек слишком долго жил среди идей, а не вещей. Предметы всегда были этикетками идей, их названиями, часто аллегориями.

Стиляги, придавшие вещам самоценное значение, демонстрировали уже более реалистический подход. Поэтому в милиции их и спрашивали: «Что ты хочешь этим сказать?» Вещь без смысла и умысла казалась опасным абсурдом.

Хемингуэевский мир изобилует предметами, за которыми не стоят идеи. Вещи здесь ничего, кроме себя, не изображают: «Мы пообедали в ресторане Лавиня, а потом пошли пить кофе в кафе «Версаль»[53]. Точность хемингуэевской топографии соответствует бессмысленной определенности карты. Об этом он с наслаждением сам говорит: «Это, кстати сказать, не имеет никакого отношения к рассказу»[54].

(Русская литература и сама полна такими ни к чему не имеющими отношения деталями. Но ведь не без уроков Хемингуэя мы научились по-настоящему ценить Чехова.)

Хемингуэевская проза ощущалась бунтом материального мира против бестелесной духовной жизни. У Хемингуэя постоянно пьют, едят, ловят рыбу, убивают быков, ездят на машинах, занимаются любовью, воюют, охотятся.

В сталинской кулинарной книге сказано: «Правильное питание положительно сказывается на работоспособности человека»[55]. У Хемингуэя едят, потому что вкусно.

С Хемингуэем в Россию пришла конкретность бытия. Спор души с телом стал решаться в пользу тела. Верх и низ поменялись местами. И это была одна из многих микрореволюций 60-х. Грубость, имевшая много оттенков, стала ее приметой. Грубость — это не только отсутствие сантиментов, это и намеренное упрощение, отсечение полисемии: есть то, что есть, и не больше.

Хемингуэй учил, как убирать из жизни не только прилагательные, но и символы. Он возвращал миру определенность, размытую долгим засильем аллегорий. Поэтому он так и настаивал, что в «Старике и море» изображены настоящий старик и настоящее море.

Вывод, который сделали 60-е из хемингуэевского материализма — закономерен, хоть и странен. Престижным стал антиинтеллектуализм. Ученое рассуждение, книжное знание — подозрительны. «Кон что-то говорил о том, что это прекрасный образец чего-то,— не помню чего. Мне собор показался красивым...»[56]

Эрудиция в России — отличительное свойство интеллигентного сословия. Как голубая кровь, она отделяет избранных от плебса. Но в 60-е стало модно не знать. Появился культ романтического невежества. Ценилось лишь свежее, чувственное восприятие. Вычитанное знание ощущалось банальностью. Стиль требовал носить не очки, а бороду[57].

Однако с антиинтеллектуализмом надо было обращаться умело. Герой 60-х мог выглядеть дураком, но только до тех пор, пока окружающие понимали, что он валяет дурака. Айсберг был универсален. Чем больше немудреной простоты виднелось на поверхности, тем утонченней казался невидимый багаж знаний. Нельзя рассуждать о Шпенглере, но можно мимоходом на него сослаться. Небрежное отношение как к материальным, так и к духовным ценностям — вот ключ к тому странному этикету, в плену которого находились шестидесятники.

В конечном счете смысл этого этикета сводился к общению. Правильное отношение к жизни служило паролем, по которому в толпе чужих можно узнать своих.

Когда Брет Эшли объясняет Джейку Барнсу, чем хорош греческий граф, она повторяет только одно: «Но он свой. Совсем свой. Это сразу видно»[58]. Для Хемингуэя «своим» было потерянное поколение. У этого понятия имелся конкретный социально-исторический смысл. Но в России 60-х никакого потерянного поколения не было. Оно появилось 20 лет спустя — как следствие потери общности, созданной и хемингуэевским стилем.

Кто же были «свои» в России?

Смена эпох выражается сменой знаков. Советское общество дохрущевского периода было серьезным. Оно было драматическим, героическим, трагическим. 60-е искали альтернативы этой

идеологической модели. Они заменили знаки, и общество 60-х стало НЕсерьезным.

Отрицание «серьезности» подразумевало борьбу с фальшью, обманом, красивыми словами. Ложь — от государственной до частной — стала главным врагом 60-х. «Правда — бог свободного человека»[59]. Этот горьковский тезис положили на хемингуэевскую поэтику. Именно правда подразумевалась под грубой внешностью, под грубой материальностью нового стиля. Школа подтекста научила главному — чтобы сказать о правде, надо о ней молчать. Или — хотя бы — говорить грубо.

Подтекст нужен был еще и потому, что сущность новой правды скрывалась в тумане.

Впрочем, хемингуэевская правда тоже была расплывчатой: ложь ярко высвечивалась, а правда лишь подразумевалась. Она, как и многое другое, оставалась в подтексте — произнесенная правда превращалась в ложь.

Такая этика, построенная на негативном идеале, позволяла свободу маневра. Благодаря ей сообщество «своих» объединяло самых разных. Поэтому так различна судьба шестидесятников, некогда составлявших монолитную группу.

Бытовой ипостасью невысказанной правды была искренность. Истина лежала в подтексте, как золотой запас. А в качестве разменной монеты в обращение ввели предельную честность и надрывную откровенность. Эпоха требовала «назвать кошку кошкой».

Узкая грань между правдой и ложью становилась еще уже, когда сталкивались представители этих абсолютных категорий — искренность и фальшь. Чтобы успешно балансировать на опасной грани, нужно было отчетливо ощущать стиль, прекрасно владеть техникой хемингуэевского диалога. Герой «Фиесты» признается: «Когда я говорю гадости, я совсем этого не думаю»[60]. Грубость заменяет ему нежность, хамство — лесть. Эпоха, заменившая знаки, конечно, не отменила любовь и дружбу, но загнала их в подтекст. Главные ценности жизни нельзя доставать наружу — иначе они засветятся, как фотобумага. Цинизм 60-х был маской, защищавшей чувства от инфляции.

Те, кто понимал и принимал условия игры в Хемингуэя, составляли братство «своих». В компаниях «своих» всегда царила особая напряженность, особая приподнятость над реальностью. Эстетика Хемингуэя придавала значение пустякам. А значит,

пустяков просто не было. Подтекст награждал глубокомыслием. Самым ярким, самым значительным событием в хемингуэевском стиле было общение, диалог, столкновение двух айсбергов.

Обмен репликами мгновенно открывал в собеседнике своего или чужого. Чужие говорили о том, что в жизни всегда есть место подвигу. Свои меланхолически замечали: «Я люблю, чтобы в коктейле была маслина»[61].

Круг почитателей хемингуэевского стиля не имел программы. Объединяло их только мировоззрение, в котором сконцентрировались экстремальные черты философии Хемингуэя: примат интуитивного подхода, яркая, но скрытая эмоциональность, стыдливое самолюбование, болезненная мужественность, тайная жажда пафоса, а главное — преимущество подтекста перед текстом.

Люди, обремененные или облагодетельствованные таким своеобразным комплексом, не могли не общаться. Стиль мог реализоваться только в момент пересечения. «Человек один не может ни черта»[62] — в том числе и вести диалог.

В 60-е культ общения распространился на все структуры общества. Акцент сместился с труда на досуг. Вернее, досуг включил в себя труд. Будь то бригада строителей, геологическая партия или научно-исследовательский институт — атмосфера дружеского взаимопонимания казалась куда важней производственных задач.

Единомышленники собирались, чтобы насладиться только что рожденным единомыслием, чтобы сообща воссоздавать стиль. Дружба стала и сутью, и формой досуга. Даже шире — жизни.

Мир, в котором поменяли знаки, как бы рождался заново. И людей, которые стояли у его колыбели, объединяло вдохновение первооткрывателей.

Развенчание могущественных прежде идей пришло сверху. Но политические перемены не отменяли красивые слова — они просто хотели заменить одни слова другими. Хемингуэевский стиль отменял красивости вовсе. В отрицании он был тотальнее Хрущева.

Негативный пафос шестидесятников соответствовал эпохе. В эти годы история развивалась в соответствии с карнавальным ритуалом: профанация короля — вплоть до выноса из мавзолея его трупа, торжество низа над верхом, замена торжественного стиля грубым просторечием. Лучше всего ситуация развивалась

по формуле теоретика карнавала М. Бахтина (его реабилитированная книга вышла в 1963 году): «Мироощущение, освобождающее от страха, максимально приближающее мир к человеку и человека к человеку (все вовлекается в зону вольного фамильярного контакта), с его радостью смен и веселой относительностью, противостоит только односторонней и хмурой официальной серьезности, порожденной страхом, догматической, враждебной становлению и смене, стремящейся абсолютизировать данное состояние бытия и общественного строя. Именно от такой серьезности и освобождало карнавальное мироощущение» [63].

Вот источник той «атмосферы нарастающего праздника», о которой так любит вспоминать жившее тогда поколение. Хемингуэй помог найти формы, в которые этот карнавал выливался. Не зря 60-е из всех его книг как самую любимую выбрали «Фиесту».

Жизнь разворачивалась по законам карнавальной логики — «казалось неуместным думать о последствиях во время фиесты» [64]. Предчувствие похмелья портит пьянку.

60-е уже не жили прошлым и еще не заботились о будущем. Эфемерные радости дружеского общения ценились выше более реальных, но и более громоздких достижений, вроде карьеры или зарплаты. Быть «своим» казалось, да и было, важнее официальных благ.

В карнавализованном обществе 60-х самыми прочными представлялись дружеские, а не государственные узы. Успех в команде КВН даже с точки зрения житейской был существенней комсомольской карьеры. Хотя в эти годы и секретари райкомов не избежали влияния хемингуэевского стиля.

Дружба — эмоция, оккупировавшая 60-е,— стала источником независимого общественного мнения. Неофициальный авторитет стоил дороже официального, и добиться его было труднее. Остракизм «своих» был более грозной силой, чем служебные неприятности. В начале 60-х еще можно было совмещать служение государству с дружеским общением. Но когда пришло время выбирать одно из двух, шестидесятники оказались в экстремальной нравственной ситуации. Сама проблема выбора появилась только благодаря влиянию общественного мнения. А оно, в свою очередь, родилось из дружбы, казавшейся таким легкомысленным заменителем надежных гражданских добродетелей.

Эпоха, когда несерьезное стало важнее серьезного, когда досуг преобразовывал труд, когда дружба заменила административную иерархию, трансформировала и всю систему социально-культурных жанров.

Допотопной глупостью казались торжественные собрания, кумачовые скатерти, речи по бумажке. Все по-настоящему важное могло происходить только в сфере «фамильярного контакта». Стихи не читали, а слушали. Юбилейные заседания превращались в дискуссии. Капустник торжествовал над МХАТом. Стенгазеты конкурировали с газетами. Самодеятельность (тот же КВН) вытесняла профессионалов. И даже первый секретарь Центрального Комитета КПСС не чурался импровизации.

В этой новой системе жанров первое место принадлежало самому несерьезному, самому фамильярному из всех — жанру дружеской попойки.

Алкоголь окончательно упразднял пережитки догматичного мироощущения. Пьянство создавало текучую, подвижную, эгалитарную реальность. Пир рождал не единое мировоззрение, но единое отношение к миру: все было в равной степени важно и не важно. Чтобы мир осмыслить заново, надо было сперва привести его к расплывчатому хаосу, нивелировать сферы жизни, довести ее до того состояния, когда закрытие винного отдела становится важнее продвижения по службе. Пьянка как источник социального творчества стала кульминацией карнавала 60-х.

Но и в этом сугубо национальном жанре сказалось влияние Хемингуэя.

Дело не в том, что у Хемингуэя пьют — в России всегда пили. Важно, что у Хемингуэя нет принципиального различия между пьяной и трезвой жизнью. Пьянство — не порок, а способ взаимоотношения с миром, с обществом, с друзьями. Алкоголь — средство обострения карнавального ощущения. С каждой рюмкой снимается очередная обязанность перед обществом: застолье подразумевает в собутыльнике человека просто — человека, лишенного любой социальной роли.

Возмущенно спрашивая «почему вы никогда не напиваетесь?» [65], герой Хемингуэя подразумевает другой вопрос: почему вы не хотите быть самим собой, почему вы не откажетесь от принятой роли, почему вы не настоящий?

В 60-е больная печень была несовместима с дружбой. И все же алкоголь был средством, а не целью. Смысл застолья — в

творческом горении, которое осеняло дружескую компанию, соблюдающую весь этот ритуал. Здесь рождалась не истина, а взаимопонимание. Искусство пьяного диалога заключалось в осторожном нащупывании совместной мировоззренческой платформы. Пьянка могла удаться только тогда, когда ее участники обнаруживали общий подтекст. Тогда сообща они сооружали из ничего не значащих реплик общее интуитивное родство.

Пьянка давала не результат, а состояние. И оставляла она после себя не похмелье, а братское единство. Она культивировала способ жизни и взгляд на вещи. Она строила модель перевернутой вселенной, в которой важно только неважное и истинно только несказанное.

Чтобы удержаться на такой духовной высоте, пьянке был необходим подспудный трагизм. Настоящий карнавал не существует без трагической темы. Боль, смерть, горе могут им профанироваться, но без них и карнавал и пьянка превращаются в фарс.

У Хемингуэя трагедия оставалась в подтексте. Война, кровь, несчастная любовь — все оттеняет фиесту, дает ей глубину, объем, масштаб.

В пьянках 60-х трагедия была тоже за скобками: трагичность продуцировал сам этикет.

Так, например, стиль требовал обостренной мужественности — готовности к физическому отпору, поиска рискованных ситуаций, агрессивной демонстрации бицепсов.

«Свои» всегда состояли из мужчин, даже если среди них были женщины. Любовь считалась всего лишь филиалом дружбы. И настоящий шестидесятник никогда бы не променял «водку на бабу». И полюбить он мог только женщину, которая бы одобрила этот выбор.

Настоящая, а не сыгранная трагедия началась тогда, когда жрецы дружбы и пьянства осознали ограниченность своего идеала. Как бы счастлив ни был их культ, он не оставлял результатов. Когда карнавал затянулся, его участники почувствовали тоску по настоящему делу. Они уже были настоящими мужчинами, настоящими друзьями, настоящими пьяницами. Они уже прошли школу воспитания подлинного характера. Но все откладывалась пора созидания — книг, государства, семьи.

После веселых разрушений должна была наступить бодрая эпоха реализации завоеванных преимуществ. Однако поклонники Хемингуэя напрасно искали рецептов у своего кумира. Хемингуэевский образец создал сильного, красивого, правильного человека, который не знал, что ему делать. В России опять появились «лишние люди».

Надуманная трагедия стала настоящей, когда последователи Хемингуэя превратились в его эпигонов. Бесцельность ритуала, которая так соответствовала буйствам фиесты, начала тяготить именно своей безрезультатностью.

Те, кто остался верен своему кумиру, оказались лишними людьми. Если раньше они разделяли достоинства Хемингуэя, то теперь — его недостатки. Подтекст мстил за свою неопределенность. Жажда искренности превратилась в истеричность. Грубость, скрывавшая нежность, стала просто хамством. Дотошное внимание к пустякам привело к потере ориентации. К тому же, лишние люди, не нашедшие применения своему идеалу, легко превращались в конформистов: если нечего делать — все равно, что делать. Мрачная судьба ждала и высшее достижение хемингуэевской школы — пьянство: оно неотвратимо катилось к алкоголизму.

Перерождение идеала происходило из-за слишком увлеченного следования ему. Стиль, полностью воплотившийся в жизнь, стал неузнаваем.

И тут произошло неожиданное, но внутренне закономерное событие. Хемингуэевский идеал слился с блатным. Внешне герой 60-х остался таким же — с бородой, гитарой и стаканом. Но, приглядевшись, можно было узнать в нем не Хемингуэя, а Высоцкого. Стихия приблатненной культуры захлестнула страну.

Героями Высоцкого в 60-е тоже были настоящие мужчины. Они тоже презирали книжное знание. Они ненавидели фальшь, туфту, показуху. Они всегда были готовы рисковать своей или чужой жизнью. Они несомненно относились к лишним людям и наслаждались положением изгоев. Они не хотели ничего создавать, и в их подтексте была нешуточная трагедия тюрьмы и расстрела. Ну и, конечно, пили у Высоцкого не меньше, чем у Хемингуэя.

Трансформация одного идеала в другой привела к тому, что бездеятельность как протест против глупой деятельности стала абсолютным принципом, напускной цинизм превратился в настоящий.

Блатной — незаконнорожденный сын русского Хемингуэя — при всей яркости, обостренности, экстремальности облика, далек от своего предка. Пожалуй, только к нему применимо тонкое суждение советского критика: «Влияние Хемингуэя

было отрицательным (в целом) — оглупляющим — созданием образа декоративного мужчины, в котором «честность» заменяет мозги»[66].

Хемингуэевский разгул прокатился по России, оставив после себя похмелье. Но как ни горько было разочарование, упреки по адресу писателя несправедливы. «Он мог научить, как жить, но не давал ответа — зачем»[67], — сетовали его бывшие поклонники. Ответ Хемингуэя как раз и заключался в том, чтобы не задавать этого вопроса. Люди 60-х, восприняв хемингуэевский стиль, должны были сами решить, что с ним делать.

И все же Хемингуэй не исчез без следа. Он привил поколению презрение к позе. Он подарил счастье спонтанного взаимопонимания. Хемингуэевский идеал воспитал недоверие к внешнему пафосу, создал общность несерьезных людей.

Конечно, хемингуэевский идеал — негативен. Он отрицает, а не создает. Но позитивные идеалы опаснее мужественного и застенчивого умолчания. И люди, которые не знают, зачем жить, все же приемлемее тех, кто знает это наверняка.

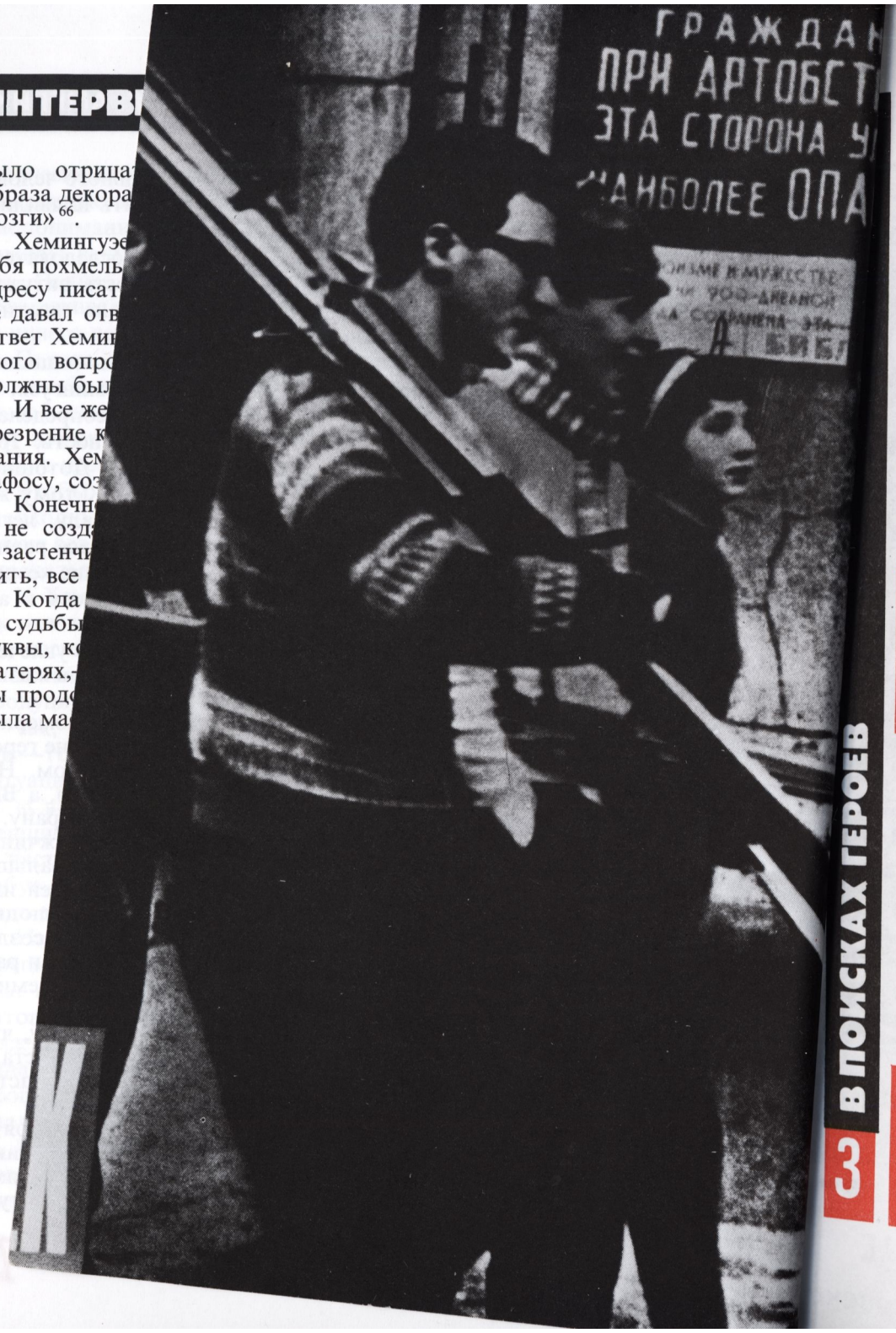
Когда в моду вошли герои, преисполненные ответственности за судьбы мира, когда в стихах все слова стали писать с большой буквы, когда опять заговорили красивыми словами о гордых матерях,— только редкие, как зубры, адепты хемингуэевской веры продолжают небрежно цедить: «Я люблю, чтобы в коктейле была маслина».



Только редкие, как зубры, адепты хемингуэевской веры продолжают небрежно цедить: «Я люблю, чтобы в коктейле была маслина».

было отрица
образа декора
мозги»[66].

Хемингуэ
себя похмель
адресу писат
не давал отв
Ответ Хеми
этого вопр
должны бы
И все же
презрение к
мания. Хем
пафосу, соз
Конечн
а не созд
и застенчи
жить, все
Когда
за судьбы
буквы, к
матерях,-
ры прод
была ма

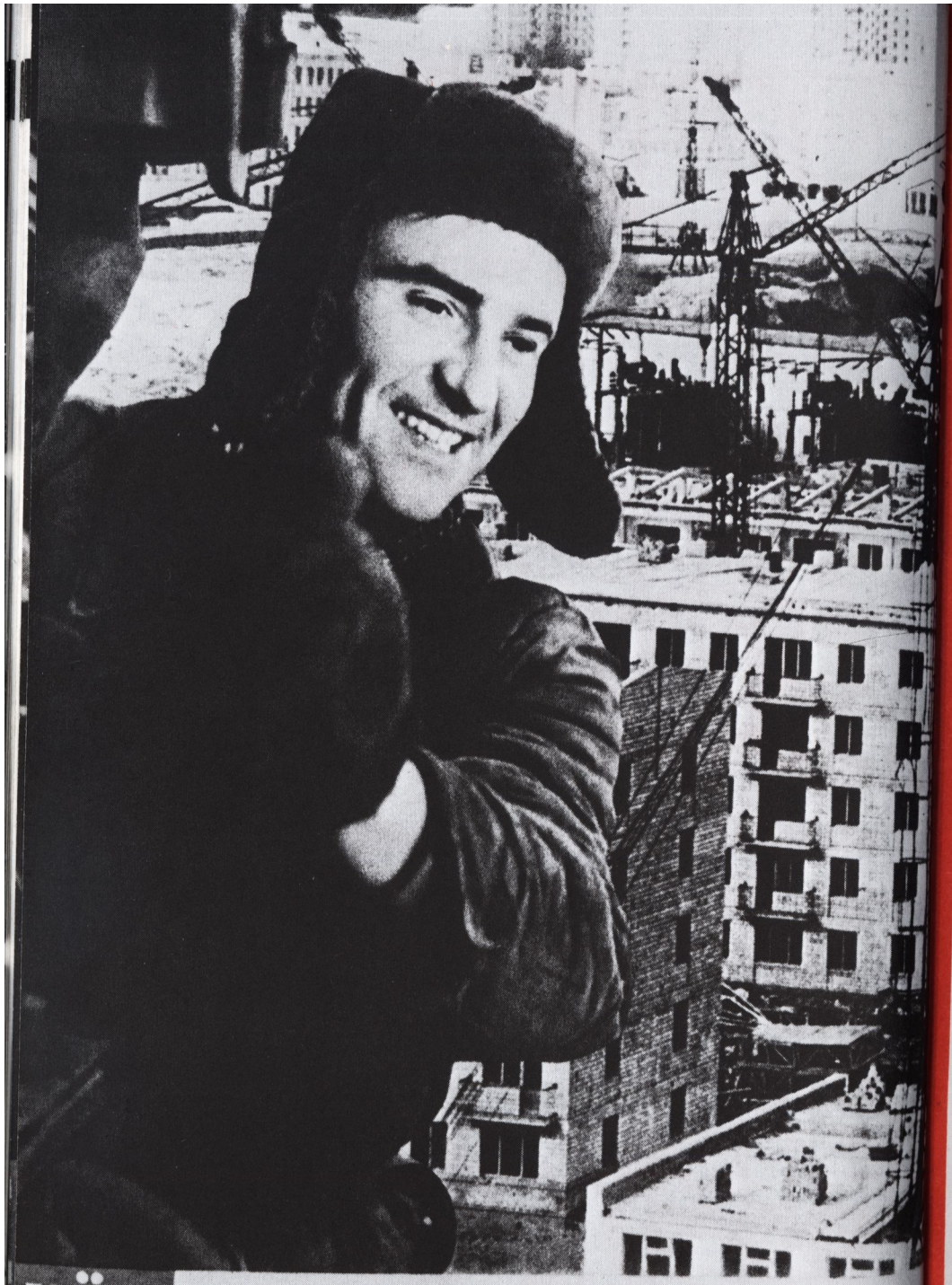


3 В ПОИСКАХ ГЕРОЕВ

СИБИРЬ
ГЕОГРАФИЯ ВМЕСТО ИСТОРИИ

НЕПОТЕРЯННОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ВОЙНА

ФИЗИКИ И ЛИРИКИ
НАУКА



НЁК

ЯНВАРЬ 1961
ство «ПРАВДА»

РАВНЕНИЕ НА СОЛНЦЕ

Жилищная биография человека

РЕКА И ЛЮДИ: КТО—КОГО?

СИБИРЬ

ГЕОГРАФИЯ ВМЕСТО ИСТОРИИ

Главное свойство российской географии — простор. Ведь даже по карте нужно долго вести глазами от одних российских пределов до других.

Гипноз масштаба неизбежно влияет на духовную жизнь страны, и каждый ее житель нутром чувствует протяженность государственных границ. Восхищаясь или негодуя, тайно или явно, любой россиянин ощущает значительность державы, площадь которой измеряется простыми дробями — одна шестая суши.

Если другие страны занимают какую-то часть карты, то России на ней отведена целая сторона света — Север.

Издавна — Русь и Север были синонимами. Где-то существовали вполне определенные Франции, Англии, Италии. И только Россия с одной стороны граничила с цивилизацией, а с другой — с бесконечностью.

В титуле Ивана Грозного вслед за названиями всяких земель идет определение простое и величественное — «повелитель Северной стороны»[1]. От таких-то и таких-то пределов на юге — до тех пор, пока человек не замерзнет в таинственной полярной тьме. (Есть здесь варварская мощь, пренебрегающая логикой. Вроде: копать канаву от забора до обеда.)

Для древних культурных народов, выросших под солнцем южных широт, не было ничего заманчивого в Севере. Вот, например, что написал об этой стране средневековый арабский путешественник: там «находятся только мраки, пустыни и горы, которые не покидают снег и мороз; в них не растут растения и не живут никакие животные; там беспрерывно бывает дождь и густой туман, и решительно никогда не встает солнце»[2].

Но в России Север приобрел статус национального символа. Стал частью поэтического образа России. (В Лондоне туман, в Москве — снег.)

Из того, в чем другие видели лишь обузу, Россия извлекла духовную выгоду. Выносливость, стойкость, терпение, величайшая способность к выживанию — вот что дал Север русскому национальному мифу.

Русские веками шли на Северо-Восток. Славянская волна катилась по евразийскому континенту, пока не добралась до Америки. Этот долгий путь не был столбовой дорогой российской цивилизации. Но он придавал внутреннюю мощь всем ее государственным претензиям.

Если иностранцам Север представлялся единой землей, где «решительно никогда не встает солнце», то для русских он имел свою градацию. Каждая новая ступень усугубляла ощущение Севера в российской истории и географии. Поморские земли, Урал, наконец, Сибирь...

Сибирь была уже квинтэссенцией Севера. Она лежала не у пределов культурного мира, а вне его. Ее размеры раз и навсегда ошеломили русское государство. Тут пространство теряло определенность и превращалось в абстракцию.

Поэтому Сибирь и не была обычной колонией. Скорее, это — склад простора, почти неисчерпаемый географический запасник. Сибирь служила источником не столько реальной пользы, сколько поэтических метафор. Она привила российской душе страсть к гиперболе.

И, конечно, она была постоянным вызовом. Как Дальний Запад для Америки, Сибирь служила ареной, на которой русские конкистадоры — землепроходцы — демонстрировали энергию страны. Подобно Кортесу и Писсаро, Ермак и Хабаров совершали неслыханные подвиги мужества и жестокости. Вместе с пушниной в Россию просачивались легенды о новом типе людей и отношений — сибирском.

Сибирь была дана России как бы в компенсацию и за татарское иго, и за ляхов, и за турок. Здесь, наконец, без помех могла проявиться русская удаль. Тут — не числом, а отчаянной храбростью — строилась империя.

Сибирь, лишенная законов и благоразумия, породила государственный комплекс превосходства. Она сформировала представление о безграничном запасе — земли, богатств, сил. И никому не удавалось устоять перед обаянием этого мифа.

В 24 раза больше Англии, в три раза больше Европейской России, в полтора раза больше США. Самая большая страна в мире — Сибирь.

Другое дело, что никто толком не знал, что делать с этой громадой. Добывать лес, меха, золото? Ссылать каторжников? И это, конечно. Но главное заключалось в чистой идее пространства. В России реальная нужда никогда не заменяла потребности в метафизике.

Все в Сибири должно было соответствовать ее размерам — тайга, реки, медведи, даже сибирская язва. И, конечно, люди.

При слове «сибиряк» представляется человеческая особь, снабженная избыточным ростом, весом, напором.

Когда в конце XIX века здесь появились сепаратисты — «сибирские областники»[3], то они рассматривали себя как новую отдельную нацию. Если в течение столетий в Сибири собирались самые энергичные, самые бесстрашные, самые сильные люди, и если правительство постоянно подмешивало к ним политических и уголовных каторжан, и если эта взрывчатая смесь закалялась в борьбе с суровым Севером, то в результате не могла не получиться соль нации.

Как ни далека была Сибирь, но с такой точкой зрения соглашались многие. Вот, например, что говорит герой повести Марка Твена: «Назови мне такое место в мире, где на каждую тысячу обычных жителей приходилось бы в 25 раз больше людей мужественных, смелых, исполненных подлинного героизма, бескорыстия, преданности высоким и благородным идеалам, любви к свободе, образованных и умных?» [4]

Его собеседник сразу догадывается, о чем идет речь: «Сибирь!»

Когда советская страна сняла сталинские портреты и с новыми силами бросилась к коммунизму, ей понадобилось чистое поле деятельности.

Старинный миф о Сибири наполнился новым содержанием. Если вновь доставать измызганные идеалы, то делать это следует в девственной сибирской стране. Не расчищать руины неудавшегося социализма, а строить его заново.

При этом старались не замечать, что руин хватает и на сибирских просторах. Уж слишком они были просторными, чтобы их удалось оцепить колючей проволокой.

Эпоха требовала, чтобы величие Сибири соответствовало великим порывам. И вот, как много веков назад, туда отправились землепроходцы, энтузиасты, строители будущего. По 200 000 человек в год уходили в этот путь, завершающий волну славянского переселения.

От московских вокзалов рельсы вели в светлое будущее. Коммунизм можно построить в отдельно взятой стране, если эта страна — Сибирь.

Летописец 60-х, сибиряк Евтушенко вкладывал в уста политического ссыльного Радищева готовую формулу момента:

Но, озирая дремлющую ширь,
Не мыслил я, чтоб вы преобразили
Тюрьмой России бывшую Сибирь
В источник света будущей России [5].

Такое соотношение будущего и прошлого советской истории устраивало многих. От Программы коммунистической партии — «Большое развитие получит промышленность в районах восточнее Урала» [6] — до безвестного сибирского поэта:

Предела нет отваге и упорству!
Без громких слов и выспренних речей,
В фуфайках, куртках парни Дивногорска
Шли в бой, в атаку шли на Енисей [7].

«Какие ассоциации будут возникать у моего сына лет через 20—30 при упоминании Сибири?», — спрашивал восторженный

корреспондент у академика Лаврентьева, создателя Академгородка. «Думаю, что Сибирь будет для него синонимом процветания и индустриальной мощи, краем гармонии природы и цивилизации» [8], — отвечал ученый, который, кстати, придумал Академгородок во время лыжной прогулки.

И Солженицын, правда, несколько позже, благословил сибирский поход советского народа: «Сибирь и Север — наша надежда и отстойник наш» [9].

Конечно, западные аналитики, чуждые размаху российской души, видели в сибирском порыве военно-политический расчет. Они высчитывали, что в Сибири живет всего 15% населения СССР. Они вспоминали слова знаменитого историка Арнольда Тойнби, который предрекал, что к XXI веку Сибирь станет китайской. Они говорили, что это государственная необходимость — обживать край, на который веками зарится перенаселенная и недружественная держава.

Конечно, Сибирь не для того, чтобы дарить ее китайцам. И где-то подспудно переселенцы осознавали, что опасные рубежи родины сместились от Балтики к Амуру. Но все же не на войну ехали веселые эшелоны.

Вернее, на войну, но — с трудностями, с неустройством, с мещанскими предрассудками. Шли в бой с суровой природой. И бой этот представлялся джентльменским поединком: на одной стороне могучая непокорная стихия, на другой — молодость, задор, идеалы.

Тут очищенные от сталинской скверны коммунистические принципы должны развернуться во всю мощь.

А принципы эти были конкретными и очевидными: «Определяя основные задачи строительства коммунистического общества, партия руководствуется гениальной формулой В. И. Ленина: «Коммунизм — это есть советская власть плюс электрификация всей страны» [10].

И вот — Новосибирская ГЭС, Иркутская, Братская, Красноярская.

Объект приложения народных сил был выбран крайне удачно. Ленин не мог ошибаться. Во всяком случае, не Ленин 60-х годов. И если для выполнения его заветов не хватало покорения сибирских рек, то за этим дело не станет.

Не Братскую ГЭС строили молодые энтузиасты, а обещанный Лениным и Хрущевым коммунизм. До осуществления мечты оставался один шаг, полшага: «25 марта 1963 года, — рапортует журнал «Сибирские огни». — Десять часов утра. Штурм Енисея начался». Еще чуть-чуть, и вот: «Холостой сброс воды прекращен! Свети в пять миллионов киловатт!» [11]

Последний шаг пройден. Сбылись слова интеллигента-мечтателя: «Какая полная, умная и смелая жизнь осветит со временем эти берега»[12].

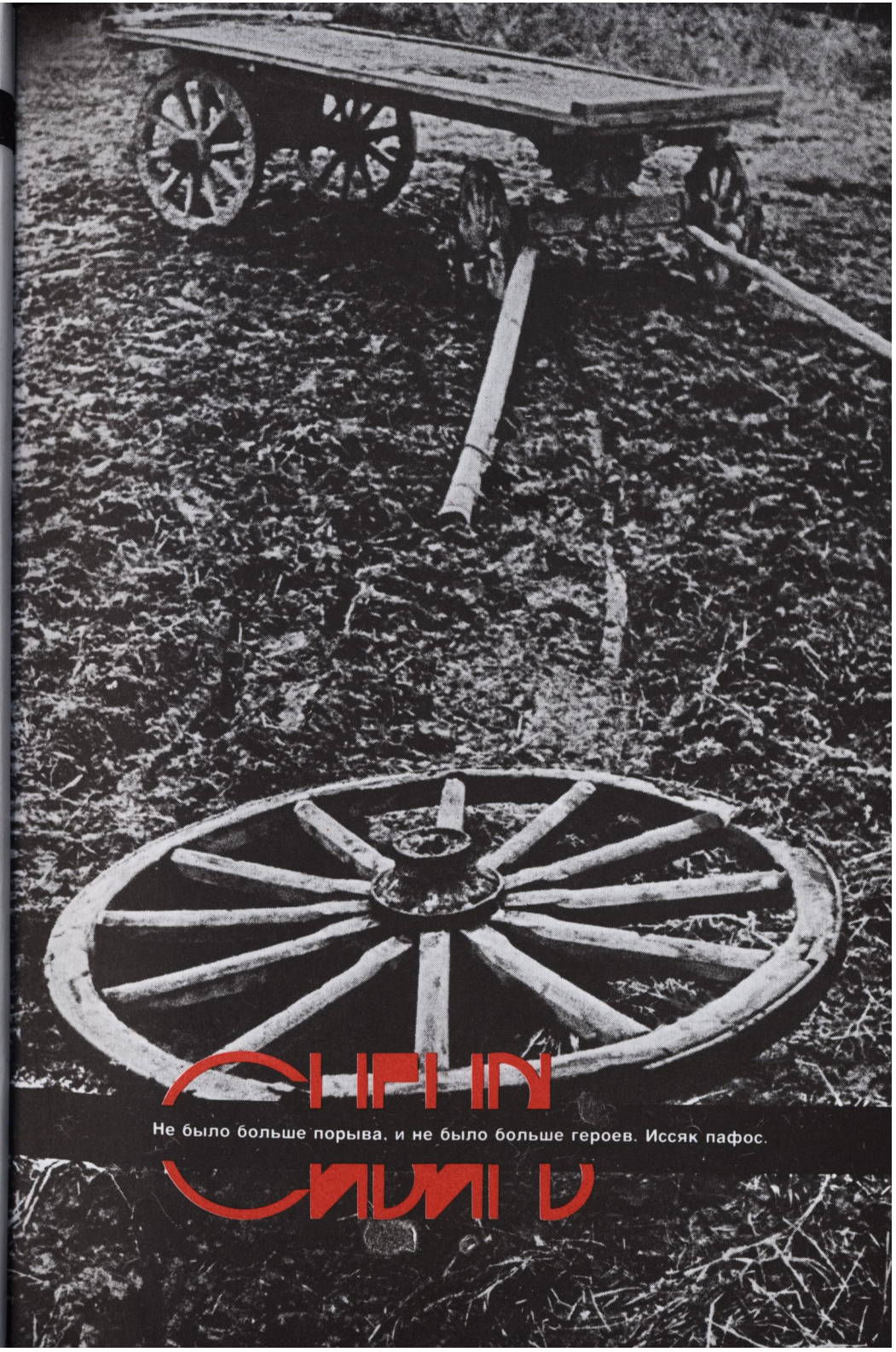
И американцы, которые приберегают свой скепсис для буржуазной прессы, в сибирском журнале выглядят почти братьями. «Знакомясь с гидроэлектростанцией, американцы не могли сдержать восторга»[13].

То, что в Сибири Братскую ГЭС построили, а коммунизм — нет, озадачило поколение 60-х. Ведь здесь были и советская власть, и электрификация, и вера в идеалы, и сами идеалы. И Сибирь честно предоставила для этой цели невиданные просторы и неслыханные трудности.

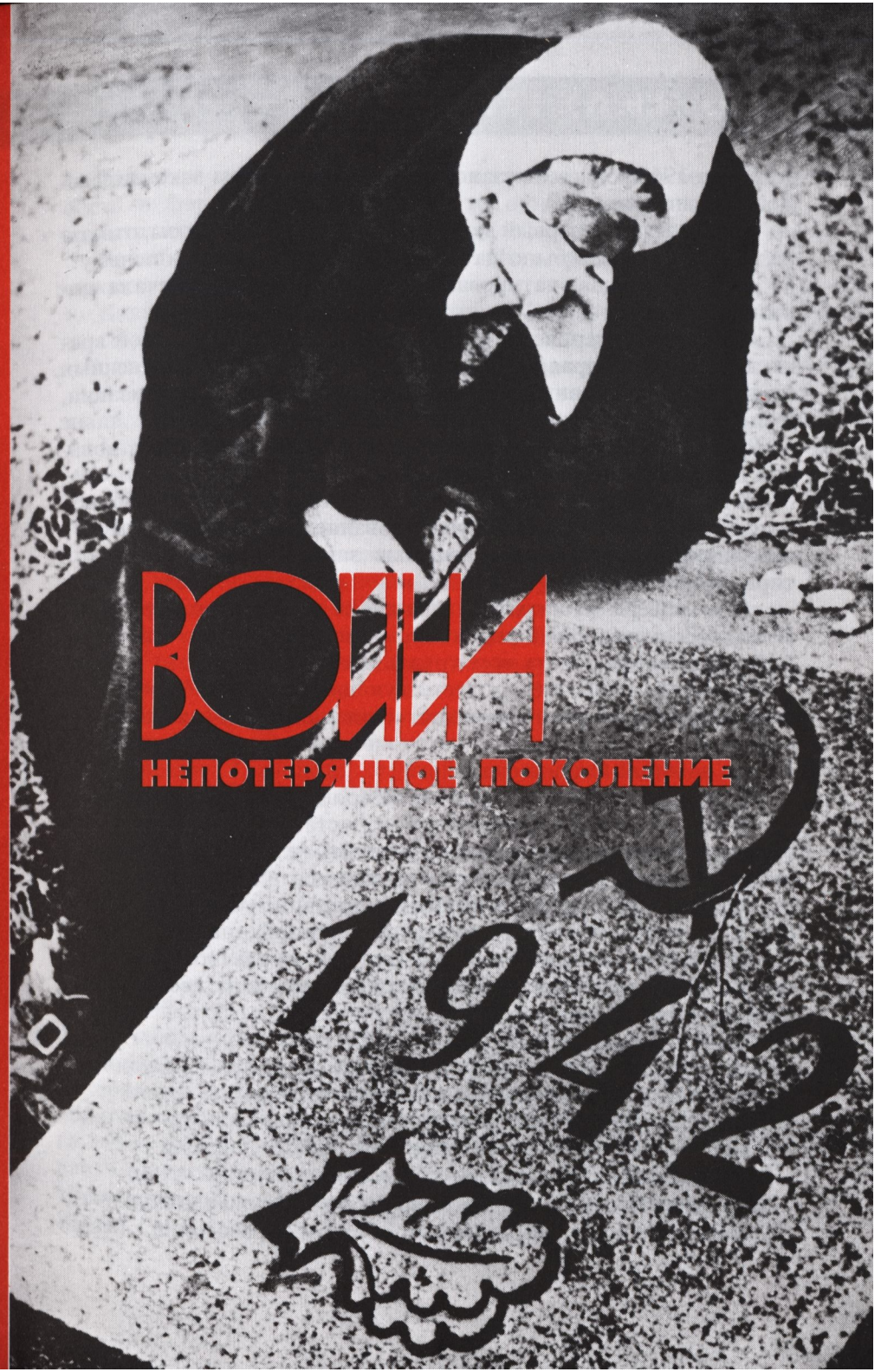
Когда скучные люди, которых интересуют цифры, а не романтика, стали искать причины, выяснилось, что коммунизм опять строили неправильно. Что к 1964 году население Сибири не увеличилось, а уменьшилось. И что если в героическое семилетие освоения Севера сюда приезжали по 200 тысяч человек в год, то за эти же семь лет 400 тысяч уехали обратно. Что на построенных ценой мучительных усилий заводах некому работать. А там, где есть кому работать, работать негде[14]. Даже штатным оптимистам приходилось признавать, что «непредсказуемый наукой «коэффициент бесхозяйственности» пока что съедает на Севере одну треть затрат»[15].

Эпоха 60-х распростилась еще с одним идеалом. И когда в брежневские времена партия пыталась оживить сибирскую легенду Байкало-Амурской магистралью, народ не отозвался. Не было больше порыва, и не было больше героев. Иссяк пафос. И уже не патетической поэмой «Братская ГЭС» откликнулась российская муза на новый призыв, а скабрезной частушкой:

Приезжай ко мне на БАМ,
Я тебе на рельсах дам[16].




СЛАВА ГЕРОЯМ КУРСКОЙ БИТВЫ!
БИБЛИОТЕКА ПРАВДЫ


ВОЙНА
НЕПОТЕРЯННОЕ ПОКОЛЕНИЕ
1972

9 мая 1945 года все казалось очевидным. Война закончилась. Войну выиграли.

Но уже тогда, в первый день мира, задавались вопросы, ответы на которые должно было дать будущее. Кто победил и почему?

Даже «Правда», датированная днями победы, отвечала по-разному.

«Разгром гитлеровской Германии показал, что нет такой вражеской силы, которая устояла бы перед натиском объединенных наций, воодушевленных высокими идеями защиты цивилизации, культуры, демократии» [17],— написано было в передовой.

Трумэн говорил: «Армия союзников путем самопожертвования и преданности, с помощью Бога...» [18]

Сталин по-своему интерпретировал победу: «Вековая борьба славянских народов за свое существование и свою независимость окончилась победой над немецкими захватчиками и немецкой тиранией» [19].

«Кто поверг фашизм?» — спрашивал космополит Эренбург. И сам себе отвечал: «Народ, который исповедует братство, мирный труд, солидарность всех трудящихся» [20].

Пожалуй, наиболее соответствующий моменту ответ дала сказительница Марфа Крюкова: «Подарил народу жизнь пространную, вот пространную да жизнь счастливую, дорогой наш вождь, славный Сталин-свет» [21].

Следы сражений — разрушенная Европа — были налицо. Плоды победы — новая карта — тоже не заставили себя ждать. Но вопросы, которые задала война советскому обществу, остались открытыми, как раны, которые она нанесла.

Однако в дни салютов неуместно спрашивать о цене. Всем было известно, что врага разгромил «творец побед Красной Армии, гениальный полководец, мудрый вождь товарищ Сталин» [22]. Или — народ, слившийся с вождем, как две стороны одного листа:

В раскате грозного похода
Сказались, гордость в нас будя,
И гений нашего народа,
И гений нашего вождя [23].

Но когда XX съезд лишил великую войну великого полководца, лист разорвали немыслимым образом — расслоили. Теперь

победителем стал только народ. А поскольку нельзя весь народ одеть в форму генералиссимуса, то одних фанфар оказалось недостаточно.

Война превращалась в трагедию. Но в трагедию оптимистическую.

Далась победа нелегко,— объяснял Шолохов в хрестоматийном рассказе «Судьба человека» (1957),— но нет таких испытаний, из которых наш человек не выйдет окрепшим.

В этой идее не было ничего нового. Уже много лет все твердо знали, как закаляется сталь. Новым, возможно, было лишь то, что шолоховская судьба человека являлась судьбой несомненно русского человека. Из всех подвигов, совершенных Андреем Соколовым, и автору, и читателю ближе всех этот: «Я после первого стакана не закусываю»! [24]

Оптимистической трагедии пытались придать и форму трагедии в более классическом понимании. Популярная попытка этого рода — книга Симонова «Живые и мертвые» (1959). Уже в заглавии автор постулирует конфликт глобальный, вневременной. Не зря оно так очевидно перекликается с названием другой военной эпопеи — «Война и мир».

Симоновский роман давал историческую и психологическую интерпретацию войны, которая должна была закрыть тему.

Концепция Симонова отличалась ясностью и видимостью правды: из-за отдельных ошибок Сталина мы встретили войну неподготовленными. Но ценой огромных жертв (может быть, слишком огромных, робко замечает автор) народ отстоял родину.

Симонов твердо помнил про толстовскую «дубину народной войны» и буквально воспроизвел ее в романе. У Толстого войну выиграл капитан Тушин, у Симонова — капитан Иванов, на чьей фамилии «вся Россия держится» [25].

Однако в толстом романе так и не нашлось места, чтобы внятно объяснить, за что сражался народ-герой. Главный конфликт книги — не между живыми и мертвыми. И даже не между воюющими сторонами. Главным героем книги стал партбилет, потерянный политработником Синцовым. Тема восстановления в партии героя романа перевешивает проблему народного подвига. «Что дороже: человек или бумага?» [26]— мужественно спрашивает Синцов. «Человек с бумагой»,— отвечает Симонов, уходя от обозначенного в заглавии конфликта в бюрократические осложнения.

К началу 60-х советское общество уже было вооружено набором знаний о войне. Уже стало ясно, что не один Сталин ее выиграл. Что советский народ совершил подвиг. И что без партбилета совершить этот подвиг было нельзя.

Тем удивительней, что такой законченной картины оказалось недостаточно. Напротив, «тема войны приобрела в последнее время на экране, да и в литературе, такую всеобщность, какой она не знала, кажется, со времен самой войны»[27],— с удивлением замечает критик в 1961 году.

Опять жизненно важным стал вопрос — кто выиграл войну.

Искусство 60-х сделало художественное и историческое открытие, сказав, что войну выиграли мальчишки. Не Теркин, не Сталин, не капитан Иванов — мальчишки. Юноша Алеша Скворцов из «Баллады о солдате», московские мальчики из песен Окуджавы, совсем уже ребенок из «Иванова детства».

Для того чтобы совершить этот переворот, надо было понять, чем являлась война с немцами вообще. «В войне против Советского Союза германские империалисты преследовали не только захватнические, но и классовые цели — уничтожение первого в мире социалистического государства»[28],— представлял Хрущев ортодоксальную точку зрения в 1961 году. Отечественная война, таким образом, являлась прямым продолжением гражданской.

Но параллельно этой концепции существовала и другая, не менее ортодоксальная, но более величественная, превращавшая битву с фашистами в абстрактную схватку с мировым злом. Война народная переродилась в войну священную, в дело не только государственной или исторической важности, но и в событие мифологическое, вроде борьбы богов с гигантами.

Великая Отечественная война выводила советских людей не только за пределы союзнических армий, но и за пределы мировой истории, оставляя Россию в гордом и мощном одиночестве. «Никогда ни одному народу не приходилось переносить таких тяжелых испытаний, которые выпали на долю советских людей»[29],— повторяли в том же 1961 году. Вроде бы с этим никто не спорил.

В эту торжественную, как Кремль, концепцию врезались мальчишки из фильмов, песен и книг 60-х. За монолитом священной войны стало проглядывать лицо маленького человека.

Русская культура всегда отдыхала душой, глядя на это невзрачное лицо.

Теперь в герои войны мог попасть кто угодно — и малые, и старые, и даже евреи. И оказалось, что к войне, а значит и к победе, причастна даже бабка из стихотворения Слуцкого — «маленькая, словно атом»[30]. И бабку было жалко.

В 60-е война потеряла свойства осмысленного (партией или народом) деяния и превратилась в стихию случайностей. Ее герои жили и умирали уже не за Сталина или Москву, а так. И вот принесший славу советскому кино связист Скворцов из «Баллады о солдате» «подбивает танк не с осознанной целеустремленностью ненависти, а в отчаянном наитии самозащиты»[31].

Новые герои воевали не с немцами, а с войной как безличной, противоестественной, бездуховной стихией. Такая война была близка поэтике Ремарка. «Дерьмо, дерьмо, все вокруг дерьмо проклятое!»[32]— повторяли вслед за героями Западного фронта герои другого Западного фронта, нашего.

Из этого «дерьма», названного в учебниках Великой Отечественной, рождалась не ненависть, а любовь.

Война — аналог смерти, смерть — конец жизни, жизнь на войне — это путь к смерти. Впрочем, как и жизнь без войны. Но фронт дает перспективное сокращение этого обычно неблизкого пути.

Война позволяет ощутить яркость мгновения, гротескно отражает искаженную реальность. У Ремарка «бабочки отдыхают на зубах черепа»[33]. И в этом нет надуманности аллегории, но есть простое отражение действительности, превращенное войной в символ.

Когда советская культура в 60-е годы открыла бабочек, она совершила отход от проверенных концепций, многообещающее отступление от истории и политики к искусству.

Но советское общество не допустило ветеранов до искусства. В героях нуждалась история. Та история, которую творили прямо сейчас, в 60-е годы.

Шла война с культом личности, с ретроградами, с ортодоксами. Велись сраженья за прогрессивную живопись и правдоподобную прозу. Ветераны стали козырями в этой войне.

Предание тех лет рассказывает, что единственный художник, которому прощался абстракционизм, был инвалид войны, герой Советского Союза. Когда во время знаменитой выставки

в Манеже Эрнст Неизвестный отбивал атаку Хрущева, оружием его были слова: «Я — фронтовик».

Ветераны обладали тем непоколебимым авторитетом, который должен был решить исход гражданских сражений. Ни правые, ни левые не могли оставить их просто в «мальчишках». Слишком нужны были эти бойцы сегодняшнему дню.

Общество эксплуатировало военную тему так, как подсказывала ситуация. Война рассматривалась в категориях цели и средства. И подвиги и предательства совершались во имя чего-то и ради чего-то. Может быть, поэтому никому и не удалось изобразить ту нравственную трансформацию, которая могла оправдать всемирную бойню и которую умел показывать Толстой. Советское искусство богом считало артиллерию.

В той сумятице, которую оставил после себя XX съезд, необходимы были ориентиры. Еще нужнее ориентиры были стране после XXII съезда.

Будущее нуждалось в прочном фундаменте. Но что может быть прочнее 20 миллионов павших?

Война обладала всеми достоинствами очевидного факта. Ее выиграл народ, совершивший революцию. Значит, можно считать, что революция и есть причина победы. Значит, несмотря на все преступления социалистического строя, он выдержал грозную проверку. И теперь, отмытый кровью миллионов, этот строй ведет советский народ к реабилитированным вершинам коммунизма.

Война — тот эталон, с которым можно сверяться ежеминутно. В отличие от Днепрогэса и колхозов, победу трудно рассматривать с разных сторон. Она есть — и точка. Все остальные вопросы — второстепенные.

Искупив кровью свои и чужие ошибки, ветераны обязаны были вернуться в строй общественных сражений, чтобы ковать будущее. От людей, показавших свою отвагу в окопах, теперь требовалось гражданское мужество.

Но коммунизм надлежало строить только чистыми руками. И чтобы проверить эту чистоту, следовало отделить зерно от плевел. Советская культура вторглась в полосу экстремальной нравственности.

Война стала полигоном, на котором проверялись моральные качества советского человека.

Подвиг или предательство — перед лицом такой альтернативы излишни полутона и нюансы. Да и результаты не вызывают сомнений. Война сама обеспечила черно-белый подход, и никакие гуманистические пассажи не могли уничтожить принципиальную простоту такого деления.

Идея выбора между плохим и хорошим пронизывала всю культуру 60-х, и автор никогда не скрывал от читателя, что он точно знает, на чьей стороне правда.

Нравственная определенность основывалась на убеждении, что в мире всегда есть одна истина, что всегда известно, кто прав, а кто виноват. И если в мирной жизни все это осложнялось, то на передовой нравственные проблемы превращаются в дилеммы. Тут нет неразберихи, на которую так сетовал оживленный Твардовским Теркин:

Не понять, где фронт, где тыл.
В окруженье — в сорок первом —
Хоть какой, но выход был.
Был хоть суткам счет надежный,
Был хоть Запад и Восток...[34]

Путаная реальность 60-х изрядно перемешала фронт с тылом и даже Восток с Западом. В ней уже не оставалось места для строгой простоты сталинских лет (народ и его враги). Тем нужнее был пример войны, тем нужнее были люди, прошедшие школу выбора. «Третьего не дано!» — в 60-е под таким лозунгом проходил урок гражданского ликбеза.

Война заговорила эзоповым языком. Как писала «Правда», «каждое талантливое произведение о борьбе народа учит, как жить и сегодня»[35].

Скажем, если искусство изображает солдат мальчишками, то это означает, что теперешняя молодежь, проклинаемая за узкие брюки и джаз, сможет защищать родину не хуже своих хулителей: «Мы сами пижонами слыли когда-то, а время пришло — уходили в солдаты»[36].

«Коммунизм — это молодость мира, и его возводить молодым»,— гласили лозунги. Молодые уверяли, что возведут, ссылаясь на опыт юных предшественников в серых шинелях.

И все же война в начале 60-х была другой, чем до и после этих интересных лет. Конечно, герои оставались героями, а предатели — трусами, но и те и другие были правдоподобными; моральный императив облачался в жизненные формы.

Так взошла звезда Василя Быкова, который для многих был образцом честности в жадную до этой добродетели эпоху.

В прозе Быкова вопрос о роли ветеранов в мирные, но боевые дни 60-х решался с солдатской прямотой. «На сколько же фронтов надо бороться — и с врагами и с разной сволочью рядом, наконец, с собою»[37],— говорит герой его повести (естественно, мальчишка).

Война кончилась, но передовая осталась. Ветераны воюют и тогда, когда окопы делят не фронт, а советское общество.

Продолжает войну и Василий Теркин, который возвращается с того света, чтобы навести порядок на этом:

В этот мир живых, где ныне,
Нашу службу мы несем...[38]

На какую именно службу определил Твардовский своего любимца — не ясно, но это и неважно. Существенно то, что ветерану пришлось вернуться в строй: с ним спорить потруднее, чем к примеру, с зэком Иваном Денисовичем.

По-прежнему воюет и уже упомянутый «лейтенант Неизвестный Эрнст»[39] из стихов Вознесенского. И суть этой войны ни на йоту не изменилась от того, что раньше врагами были фашисты, а теперь «искусствоведы в штатском».

Война никогда не кончалась и для прораба из «Хочу быть честным» Войновича, и для коллег из «Коллег» Аксенова, и для тысяч других больших и малых героев советского искусства 60-х, вышедших на передовую гражданских сражений под знаменем ветеранов Великой Отечественной.

Это знамя окрасила в бесспорные цвета народная кровь, и оно ничуть не полиняло от того, что им шантажировали сталинистов либералы оттепели.

Более того, оказалось, что знамя вообще не способно линять. Из всех советских мифов военный — самый стойкий. Его не смогли разрушить никакие разоблачения. Ни заградотряды, ни диссиденты, ни мародеры не поколебали монумента народного подвига.

«Мы не понимали, насколько Архипелаг не похож на фронт, насколько его осадная война тяжелее нашей взрывной»[40],— писал Солженицын. Народ с ним не согласился. Народу это было не нужно. Он не хотел отдавать свой подвиг ни правительству, ни

оппозиции. Подвиг был нужен ему самому — потому что подвиг был бесспорен.

Шли годы, и ветераны старели. Мальчишки, которых изображали в начале 60-х, стали зрелыми мужчинами к концу этой эпохи. Солдаты неотвратимо превращались в героев. И уже не жертвы бессмысленной мясорубки, а вершители европейской судьбы предстали перед лицом невоевавшего поколения. Вместо «Баллады о солдате» снималась широкоформатная эпопея «Освобождение». И в новом издании БСЭ степенно излагалось, что «новая мировая война... окажет... революционизирующее влияние на народные массы»[41].

«В пяти соседних странах зарыты наши трупы»[42],— писал Борис Слуцкий. Приходило время собирать жатву. Например, в Праге.

И благодарили партию за доверие участники войны, и все шумнее становились парады в Дни победы, и все больше появлялось юбилейных медалей на бортах ветеранских пиджаков.

Солдаты Великой Отечественной оставались в строю. Только фронт становился все уже. Если в начале 60-х приходилось воевать и с культом личности, и с мещанством, и с бюрократизмом, и с трусостью, то в конце 60-х из всех врагов остались только новые «враги народа». То есть те, кто хочет оболгать подвиг, отравить сладость победы, отнять сознание всеобщей и всегдашней правоты. Иногда этими врагами казались диссиденты, часто длинноволосые юнцы и всегда бывшие союзники с той стороны Эльбы. Дубина народной войны — опасное оружие, оно лишено избирательности.

Когда война превратилась в славную историю, ветераны высказались против инакомыслия, которое в числе прочего подвергает сомнению славу и историю.

Участники войны были живыми свидетелями правильности советского пути. Но если раньше их подвиг служил залогом славного будущего, то теперь они стали очевидцами славного прошлого. Путь из реформистов в охранители совершился стремительно, но незаметно, потому что термины, в которых путь описывался (мать, кровь, отчизна), оставались теми же. Менялось только внутреннее содержание понятий. Но оно было внутри, а не снаружи.

Солдаты Ремарка и Хемингуэя вынесли из войны трагическое

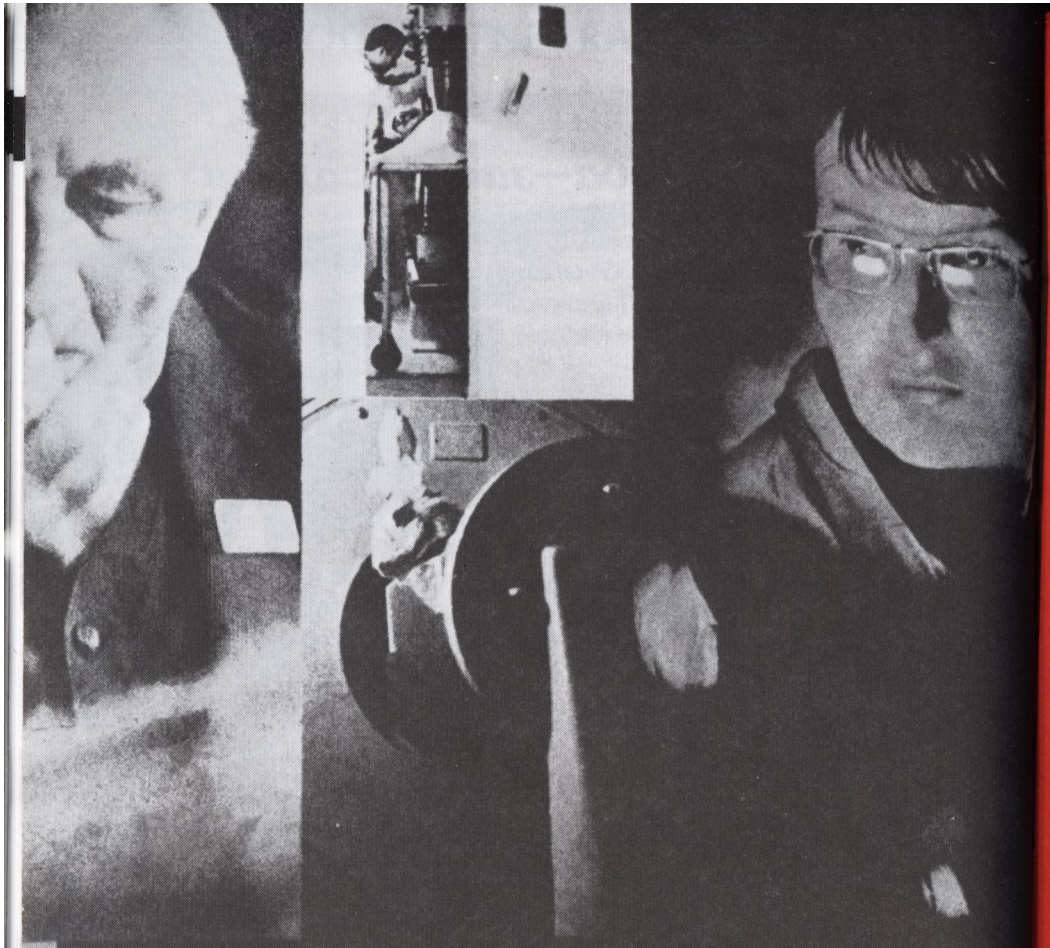
разочарование в патриотических ценностях. Они уже не могли поверить в красивые слова. Они возненавидели тех, кто твердил, «что нет ничего выше, чем служение государству»[43]. Война научила их верить лишь в экзистенциальные основы — в жизнь, в смерть, в любовь. Верить в «единственное хорошее, что породила война,— в товарищество»[44].

Трагедия, которую пережила западная цивилизация, преобразовала культуру XX века. Сделала ее грубее, недоверчивей, безжалостнее и правдивей. Потерянное поколение победителей уже никто не мог заставить строить государственную пирамиду.

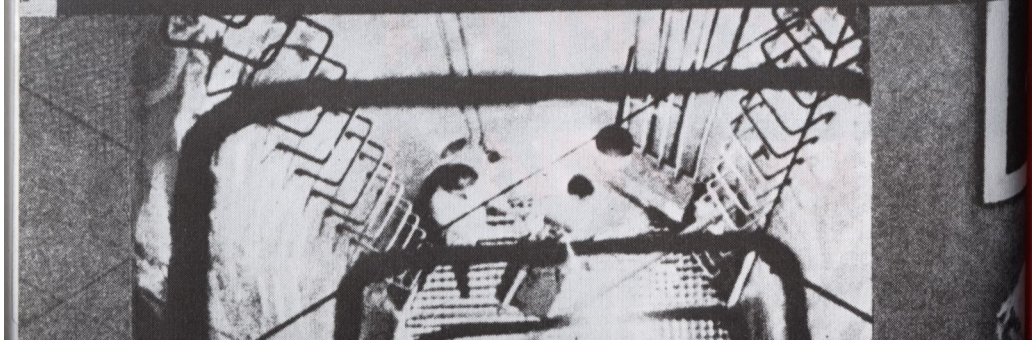
Советская история обошлась без потерянного поколения: поколению не дали потеряться. Ветеранов приспособили к делу.

Победителей не судят, но сами-то они судят с тем большим азартом, чем дороже стоила победа.





ЖИТЕЛИ ЭТОГО ГОРОДА ПРИГОТОВИЛИ СВОЙ УТРЕННИЙ ЗАВТРАК НА ЭНЕРГИИ РАСЩЕПЛЕННОГО УРАНА.



ОНЁК
ЯНВАРЬ 1968
ЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

ФИЗИКИ И ЛИРИКИ

НАУКА

С тех пор, как страна взяла курс на строительство коммунизма, все острее становился вопрос — кому его строить?

Чтобы ответить на этот вопрос, 60-е должны были найти своих героев. Не Павку Корчагина, не Александра Матросова, не Алексея Стаханова. Старые герои свое дело сделали. Будущее должны строить люди, не запятнанные прошлым.

Новая большая государственная правда обязана базироваться на прочной основе, не подверженной политическим толчкам. XX век резонно предлагал в качестве фундамента науку.

В глазах общества ученые обладали решающим достоинством — честностью. Она же — искренность, порядочность, правдолюбие. Эпоха делала все эти слова синонимами и вкладывала в них мировоззренческий смысл.

Дважды два обязано равняться четырем вне зависимости от принципов того, кто считает. После произвольного советского прошлого страна остро нуждалась в безотносительном настоящем. Таблица умножения обладала качествами абсолютной истины. Точные знания казались эквивалентом нравственной правды. Между честностью и математикой ставился знак равенства.

После того как выяснилось, что слова лгут, больше доверия вызывали формулы.

Ученые жили рядом, ученые были простыми советскими людьми. И все же — другими. Не зря на газетном жаргоне эпохи они назывались жрецами науки.

Общество, постепенно освобождающееся от веры в непогрешимость партии и правительства, лихорадочно искало нового культа. Наука подходила по всем статьям. Она сочетала в себе объективность истины с непонятностью ее выражения. Только посвященные в таинства могут служить науке в ее храмах. Например, в синхрофазотронах.

Наука казалась тем долгожданным рычагом, который перевернет советское общество и превратит его в утопию, построенную, естественно, на базе точных знаний.

И осуществят вековую мечту человечества не сомнительные партработники, а ученые, люди будущего. Они, как солдаты или спортсмены, стали представлять силу и здоровье нации.

Результаты не заставили себя ждать. Впервые советские физики стали получать Нобелевские премии (1958, 1962, 1964). Была реабилитирована кибернетика. Шла отчаянная борьба за генетику. Возникали новые научные центры — Дубна, Академгородок. В 1962 году по экранам с огромным успехом прошел фильм Михаила Ромма «Девять дней одного года». Новый герой был найден.

Молодость и талант соответствовали атмосфере эпохи. Ирония позволяла спуститься с героических высот до повседневности. Мелкие грешки оттеняли патетику подвига. А смертельный риск придавал значительность всему остальному. Ну и конечно, герой должен был быть физиком. Эта наука объединяла тогда авторитет абстрактного знания с практическими результатами. С атомной бомбой, например.

Кстати, молчаливо подразумеваемая связь физики с войной добавляла герою важности. Если линия фронта проходит через ускорители и реакторы, то физики всегда на передовой. Эпоха сняла с них мундиры и нарядила в белые халаты. Этот маскарад не изменил внутреннего содержания непонятной, но патриотической деятельности ученых. При этом стоит вспомнить, что советские физики не испытывали нравственных мучений Хиросимы. Образ Франкенштейна был чужд российскому воображению.

В отличие от героев предыдущих эпох — революционеров, шахтеров или пограничников — природа героических деяний ученых ускользала от понимания. Подвиг принимался на веру.

Собственно, именно из-за эзотерического характера науки главным в образе ученого становились внешние детали. Например, такие: «Положительный физик поет под гитару, танцует твист, пьет водку, имеет любовницу, мучается различными проблемами, дерзает, борется профессионально бьет по морде отрицательного физика, а в свободное время жертвует собой ради науки» [45]. Пародийное сгущение здесь только подчеркивает особенности стереотипа, но отнюдь не отрицает его.

Научный антураж клубился в воздухе 60-х. Редкий журнал выходил тогда без очерка под красивым заголовком — «Хлеб и соль физики», «Ступеньки к солнцу», «Цитадель мирного атома». Пафос в них выливался непринужденно: «Мы бродили в микромире, как в огромном зале, погруженном во мрак» [46].

Даже карикатура 60-х обличала недостатки в терминах эпохи: «Редкоземельные элементы: бериллий-взяточник, литий-пьяница, плутоний-вор» [47].

Пожалуй, наиболее яркой чертой облика нового героя был юмор. Физики не просто шутили, они обязаны были шутить, чтобы оставаться физиками. Восторг вызывало не качество юмора, а сам факт его существования:

Плазма очень хитрый газ,
Плохо слушается нас.
Хороша ты с маслом каша.
Холодна ты плазма наша [48].

Тут существенно панибратское отношение к тайнам природы. Но еще важнее, что юмор поднимал ученых над толпой. Они трудились шутя.

Пафос плохо сочетается со смехом: смех унижает патетику. Герои могут смеяться, но лишь отдыхая от подвигов.

А вот ученым 60-х смех не мешал. Напротив, он подчеркивал, что труд им не в тягость. Жертва, которую они приносили на алтарь науки, была сладка и желанна.

Традиция предписывала подвигу мученический характер. Она утверждала, что к звездам можно попасть только через тернии. Но новые герои смещали акценты с результата на процесс: наука прекрасна сама по себе, даже без славы и зарплаты. Ученые считались привилегированным сословием, и их привилегией был творческий труд. Страна с завистью следила за людьми, наслаждающимися своей работой. Жрецы науки отправляли свой культ с радостным смехом.

Ученые стали не просто героями. Общественное мнение превратило их в аристократов духа. С толпой их связывали лишь человеческие слабости (твист). Наука становилась орденом, слившим цель со средством в единый творческий порыв.

Царство науки казалось тем самым алюминиевым дворцом, в который звал Чернышевский. Счастливчики, прописанные в этом дворце, жили уже при коммунизме, который они построили для себя — без крови, жертв и демагогии. Шутя.

«От каждого по способностям, каждому по потребностям»,— вздыхали почтительные, но сторонние поклонники, видя в ученых новый тип личности — личность, освобожденную от корыстолюбия и страха, творческую, полноценную и гармоничную (твист). То есть именно такую, какой ее рисовал моральный кодекс строителя коммунизма.

Как любой миф, миф о науке, выдавая желаемое за действительное, немало сделал, чтобы превратить действительное в желаемое.

«Русский человек не терпит пустого неба. Наука очистила его от Бога, святых и ангелов. Она же обязана заселить его новыми обитателями: космическими кораблями, спутниками и лунниками. Чтобы русский человек продолжал верить в коммунизм, он должен прежде всего верить в советскую науку» [49].

И он верил. В экономику, которая создаст обещанное Хрущевым изобилие, в кибернетику, которая покончит с бюрократией, в генетику, которая исправит дурную наследственность.

Ученые должны прийти на смену политикам. Точные науки заменят приблизительную идеологию. Технократия вместо партократии поведет страну к утопии, потому что в ее руках таблица умножения.

Естественно, что нагляднее и доступнее всего создавала и обслуживала миф о науке как бы специально для этого придуманная фантастика. Не случайно этот жанр стал самым популярным в стране.

Любопытно проследить эволюцию представлений о социальной функции науки в сочинениях братьев Стругацких, лучших и самых любимых советских фантастов.

В их первой книге «Страна багровых туч» (1959) коммунистическое общество еще очень мало отличается от советской действительности ранних 50-х [50]. И вот, всего через пять лет, появилась другая книга Стругацких — «Понедельник начинается в субботу». В ней уже не осталось и следа туповатых ученых, дисциплинированно цитирующих «Правду» будущего.

Новые герои Стругацких полностью соответствуют бородатым кумирам 60-х годов. Они погружаются в веселую кутерьму науки с пылом молодых энтузиастов. Никто из них не осмелится встать в позу, чтобы произнести монолог о величии своих дел. Поэтому за них это делают авторы: «Люди с большой буквы... Они были магами, потому что очень много знали... Каждый человек маг в душе, но он становится магом только тогда, когда начинает меньше думать о себе и больше о других, когда работать ему становится интереснее, чем развлекаться» [51].

Как ни наивно выглядят постулаты этой научной религии, они оказали огромное влияние на общественные идеалы 60-х. И не в последнюю очередь — на самих ученых, которые, естественно, изрядно потешались над неуемными адептами новой веры.

Ведь ученые часто действительно занимались наукой. И работа их бывала творческой. И при этом ученые были самой свободной частью советского общества: «Научным работникам для того, чтобы трудиться успешно и продуктивно, нужно гораздо больше интеллектуальной свободы и политических прав, чем другим классам и группам общества» [52]. Чтобы перегнать Запад по числу бомб и урожаям кукурузы, ученым необходима была определенная свобода. И они ее получили.

Облеченные доверием партии и народа, ученые не могли не чувствовать своей ответственности перед обществом. Для них — единственных в стране — наука была не мифом, а реальностью. Они видели в ней социальный рычаг и не имели права пренебрегать ее возможностями. Научная интеллигенция явочным порядком реализовала запретные для других конституционные свободы. Когда в 1966 году в ЦК было направлено письмо об опасности реабилитации Сталина, под ним стояли подписи крупнейших ученых страны — П. Капицы, Л. Арцимовича, М. Леонтовича, А. Сахарова, И. Тамма.

Вот как позицию ученых выразил академик Капица: «Чтобы управлять демократически и законно, каждой стране абсолютно необходимо иметь независимые институты, служащие арбитрами во всех конституционных проблемах. В США такую роль играет Верховный Суд, в Британии — Палата лордов. Похоже, что в Советском Союзе эта моральная функция выпадает на Академию наук СССР» [53].

Знания, которыми обладали ученые, превращали их в элиту, противопоставленную и политикам, и военным, и просто обывателям. Социальная пирамида должна была перестроиться так, чтобы наверху ее оказались аристократы духа. Государственная логика вынуждала ученых принять роль пастыря. Они знали, что надо делать, и могли доказать, почему надо делать именно так. Но доказать — на своем языке, языке авгуров, понятном только им. Неразумная толпа с восторгом взирала на храм науки, пока таинства совершались внутри него.

Ученые не могли не вмешиваться в дела общества. Но когда вмешивались, они переставали быть учеными, а становились диссидентами. Их тайное жреческое служение делалось явным. Когда наука говорила о нравственности, она профанировала свой культ, низводя его до общепонятных тезисов.

Ученый растворил двери храма и пошел в народ или правительство. Снимая с себя сан, он превращался в гражданина.

Однако в России это место было занято поэтом. Это про него было известно, что он «гражданином быть обязан». Логика, переведенная на язык государственных интересов, отнюдь не выигрывала в убедительности: ей не хватало поэзии. Она была всего лишь верной.

Ученые видели в науке рычаг, партия увидела в ней средство шантажа. Война, в которой одна сторона располагала логикой, а вторая — грубой силой, оказалась бесперспективной для противников. Гражданские тенденции советской науки искореняли вместе с наукой. (Жорес Медведев вспоминает, что после Праги, в связи с политически неправильными настроениями ученых, в Обнинске был ликвидирован теоретический отдел Института ядерной энергии. Некому стало работать [54].)

Жрецы, которым общество предписывало упиваться чистой наукой, не выдержали искушения и спустились на землю. Тогда в них увидели шарлатанов и побили камнями. Ничего нового в этой истории, конечно, нет.

Как только ученые решили разделить с правительством ответственность за общество, и правительство и общество мстительно припомнило ученым практические результаты. И кукурузу, и изобилие, и коммунизм, который был все еще на горизонте.

Абстрактное знание терпели, пока оно было знаменем эпохи. Но когда сами физики захотели спуститься с эмпиреев, чтобы заняться черной работой государственного строительства, общество увидело в них равных. Перед равным стесняться не стоило. Раз ученые опустились до реальности, реальность сможет за себя постоять. Когда физики перестали шутить, с ними перестали считаться.

Все это означало, что спор между физиками и лириками вступил в новую фазу.

Научные метафоры питали поэзию, она училась рифмовать элементарные частицы. Но за всем этим стоял храм внечувственной голой абстракции. Эпоха воспринимала науку поэтически, но только потому, что сама наука казалась цитаделью трезвой прозы.

Когда таблица умножения не справилась с коммунизмом, ее признали ошибочной. Недавних кумиров обозвали «образованщиной». На разгул материализма Россия ответила идеалистической реакцией. Лирики брали реванш у физиков, и романтическое

невежество отплясывало на руинах уже ненужных синхрофазотронов. Правда ушла в почву.

И все же увлечение научной религией не прошло даром. Слишком праздничным был дух свободного творческого труда [55]. Храмы науки с их выставками нонконформистов, с песнями бородатых бардов, с невиданным раньше веселым обиходом превратились в музеи. Но именно в них выросла слегка самоуверенная, ироничная элита.

Научная религия потеряла своих адептов, общество разочаровалось еще в одном мифе. Но привилегированное ученое сословие осталось. Осталось, чтобы лелеять свою привилегию: помнить, что дважды два — четыре.

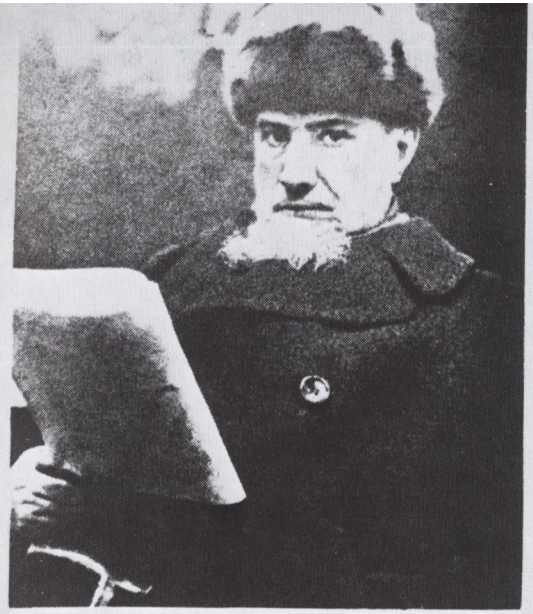


Фото Д. Переверзева.

БУШУЕТ АТОМНОЕ ПЛАМЯ...

Двадцать лет назад, в предновогоднюю ночь 25 декабря 1946 года, в нашей стране был пущен первый атомный реактор.

Об этом событии рассказывает П. АСТАШЕНКОВ, автор книги о. И. В. Курчатове.

* * *

«КАК ВЫ ДЕЛАЕТЕ АЛМАЗЫ?»

Есть в истории нашей и... звездные пики — вершинные ... бойцов. Возглавлял их Игорь Васильевич Курчатов. Это по его инициативе четверо советских ученых еще в августе 1940 года обратились с предложением в Президиум Академии наук немедленно начать практические работы по высвобождению энергии атомного ядра. Это письмо имеет такое же историческое значение, как и известное обращение Альберта Эйнштейна к президенту США Ф. Рузвельту.

...ел июнь 1943 года. В тихом переулке ... Замоскворечье обосновалась лаборатория И. В. Кур...

...нужил для замедления нейтронов, чтобы они легче «раскалывали» ядра. Но замедлитель ни в коем случае не должен был сильно поглощать нейтроны. По расчету Курчатова, сечение захвата нейтронов графитом не могло превышать очень малую величину — $3 \cdot 10^{-27}$ см^2. Реально ли такое сечение? Курчатов утверждал: да! Как стало теперь известно, ученые фашистской Гер...

...тиром.

— Но где мы найдем такой чистый графит? Да и урана у нас еще нет,— волновались сотрудники.

Через несколько дней Игорь Васильевич предупредил И. С. Панасюка, только что отозванного с фронта:

— Едем смотреть графит.

И вот они на заводе, делающем электроды для производства алюминия. Познакомились с технологией, захватили с собой несколько образцов.

В подвале дома на Пыжевском было сооружено устройство, измеряющее сечение захвата нейтронов графитом. Сама способность к захвату зависит от того, насколько чист графит. После испытаний графита, привезенного с завода, Игорь Семенович Панасюк сказал Курчатову:

— Эти образцы относятся к нейтронам, как голодные волки к ягнятам.

Игорь Васильевич (разговор шел в его кабинете) не был удивлен, он ждал такого результата — ведь никакой специальной обработки этот графит не проходил, а для электродов он в самый раз.

— Будем искать, где только можно, графит почище.

На одном из заводов обнаружили около 5 тонн более чистого графита. Вывезли его в лабораторию на Пыжевский. Но измерения опять показали, что и этот графит для реактора не подходит.

Игорь Васильевич собрал специалистов. Решили, не полагаясь более на удачу случайных поисков, сформулировать свои требования промышленности. В конце 1943 года были разработаны условия, очень жесткие для производства. Достаточно сказать, что примесь бора в графите не должна была превышать миллионных долей, а редких земель и того меньше.

Удовлетворить эти требования промышленность, конечно, сразу не могла. Надо было прежде технически и технологически перестроить производство, чтобы обеспечить небывало строгую очистку графита. Нужны были люди, способные произвести буквально революцию в этом деле. И такие люди нашлись. Это были — Владимир Владимирович Гончаров и Николай Федотович Правдюк. С Правдюком Игорь Васильевич вместе учился в Крымском университете и знал его как специалиста по электрометаллургии, одного из талантливых учеников академика Байкова. Разыскал Правдюка он с помощью... радиовещания.

Как-то передавался Указ о награждении орденами работников танковой промышленности. Упоми...

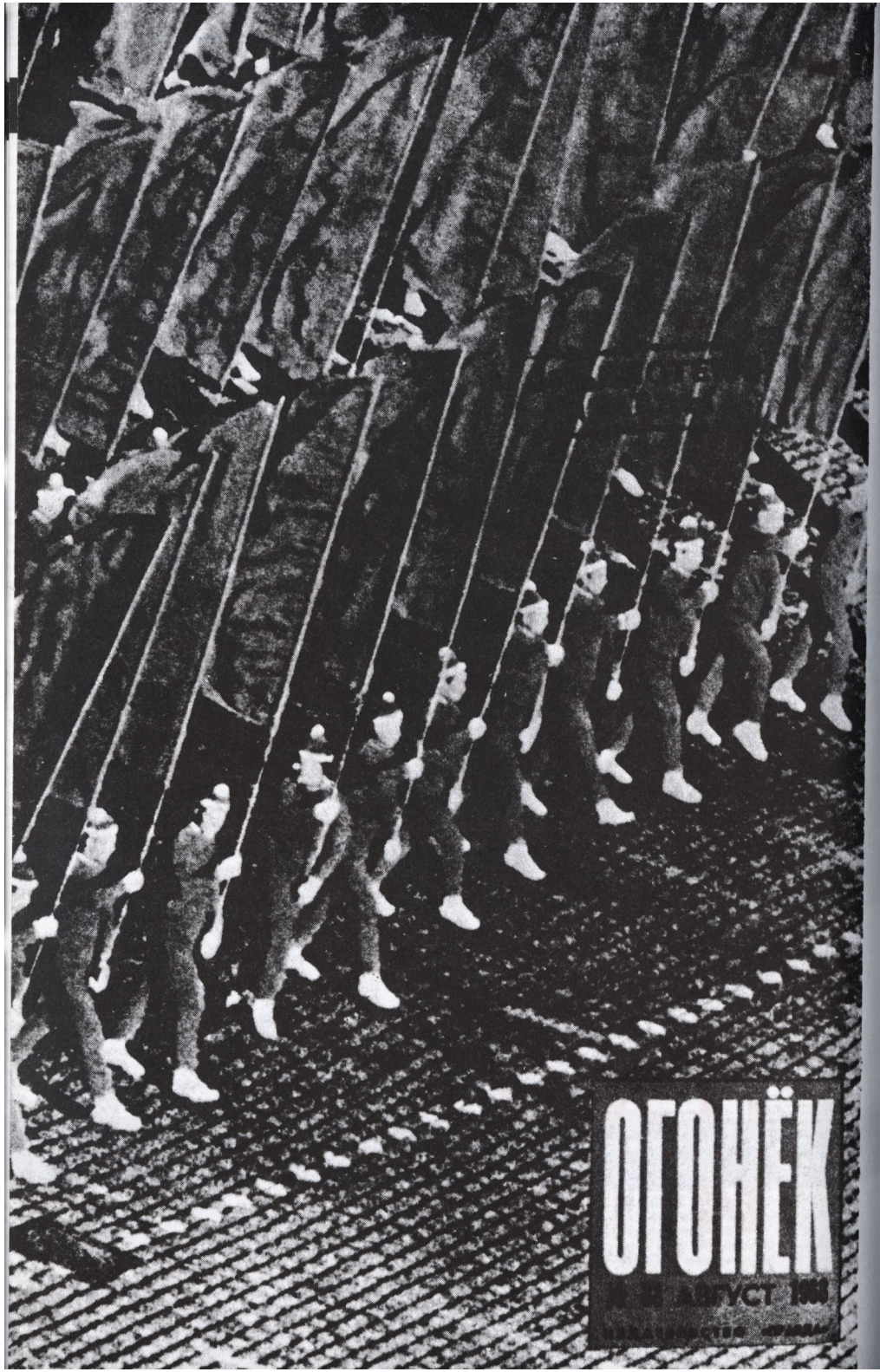
...юности

И вот свиделись друзья юности, не слыхавшие ничего друг о друге несколько лет. В эти «несколько лет» вместилось столько всего, что и не рассказать.

— После чая,— предупредил Игорь Васильевич,— будет особый разговор к тебе.

Действительно, они уединились, и Игорь Васильевич спросил Николая Федотовича, не пошел бы...

Романтическое невежество отплясывало на руинах уже ненужных синхрофазотронов.



4 МАРШ ЭНТУЗИАСТОВ

ШКОЛА
НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА

ДОРОГА НИКУДА
РОМАНТИКА

СМЕХ БЕЗ ПРИЧИНЫ
ЮМОР



СЛАВА НАШЕЙ ПИОНЕРИИ

ОГОНЁК

брова. ЭДЖЕКЕ • Рассказ Е. Носова «ТЫСЯЧА
ЗВЕЗДЫ ПЕРСЕЯ • Журналы в апреле •

ШКОЛА

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА

Мир взрослых — это утопия. Взрослые могут делать все, чего нельзя детям: поздно ложиться спать, есть сладкое, не ходить в школу. Каждый прожитый год — это ступень к счастью. Ступень к свободе.

А пока — белые пришитые воротнички. Бурый галстук, скатывающийся в трубочку. Страх. И невозможность поверить, что учительница была маленькой. Бабочка тоже не поверит, что была куколкой.

Дети думают, что хотят вырасти. Они думают, что у взрослых хорошо.

Граница между взрослыми и детьми непреодолима. Принципиальная разница заключается в том, что взрослые строят мир детей, как хотят, а сами живут, как получится. В первую очередь общество навязывает свои социальные модели детям. Собственно, только здесь они и существуют в чистом виде. Ребенок вынужден их принимать не обсуждая. Он лишен свободы выбора.

Дети вообще живут в специально созданных для них взрослыми условиях — детских садах, школах, пионерских лагерях. Они имеют дело не с реальностью, а с вымыслом, который им приходится считать правдой.

Общество хотело бы, чтобы взрослые воспринимали мир, как дети. Дисциплина, упорный труд, любовь и доверие к начальству — всего этого ждут от хороших детей и от хороших взрослых. Мир, воспринятый сквозь призму детских представлений, отличается цельностью, полнотой и целесообразностью. Взрослые тщательно следят, чтобы он таким и остался. Против детей они всегда выступают единым фронтом. Они не могут позволить себя скомпрометировать — авторитет важнее правды.

Хрущевские разоблачения, потрясшие всю страну, не коснулись детей. Им просто о них не сказали. Сталин не мог быть плохим, потому что Сталин был взрослым. В стихах из «Родной речи» вместо Сталинграда стали читать Волгоград, что даже не повлияло на рифму.

В либеральную эпоху дети жили в заповеднике консерватизма. По молчаливому сговору взрослые решили оградить юное поколение от разочарований.

Ребята ранних 60-х читали те же книги, что и их ровесники сталинской эпохи. Их учили по тем же учебникам, на тех же примерах. Для миллионов пионеров героем оставался все тот же Павлик Морозов.

Первоклассники 61-го года были чуть ли не единственными в стране, кто осуществлял преемственность поколений. За это неразборчивое доверие общество одаряло детей сладостным чувством социального комфорта: разрешало детям любить родину.

Родина была абсолютно прекрасна. У нее не было пороков. Вся она была, как старший брат, как отец, как мать, как одна большая семья. И своя, личная, семья казалась всего лишь филиалом общегосударственного единства.

Мир взрослых был щедр, и могуч, и интересен. Он был строг, но справедлив. Ребенок видел его только таким, каким взрослый мир хотел себя показать. Дети не должны были знать о существовании денег, очередей, боли, смерти.

Дети и не знали. То есть в их конкретной, уникальной ситуации все это было. Были очереди за белым хлебом («ладушки, ладушки, Куба ест оладушки»). Были злые учителя, пьяные родители. Но зло казалось ненормальным исключением из стопроцентно нормального мира. Оно никак не омрачало праздник, потому что плохое было здесь и сейчас, а хорошее всегда и повсюду.

У советского ребенка по определению было счастливое детство. Эта формула так же нерасчленима, как сочетание «красна девица». Слова теряли смысл, но оставляли ощущение счастья, которое дает любовь.

«Я, юный пионер Советского Союза, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю: горячо любить свою Советскую Родину...» [1]

Нужно было только слиться с родиной. Шагать вместе с ней в бодром марше. Раствориться среди ее красивых улыбающихся людей. Чтобы детство было счастливым, надо довериться родине. Она того заслуживает.

Пионер вступал в жизнь, сознавая уникальность своего положения. Он знал, что его родина — венец творения. История существовала только для того, чтобы наступило «сейчас». Долгая эволюция вела к тому, чтобы из питекантропа сквозь ряды рабов и крепостных пробился простой советский человек с микроскопом в руках. Сам пионер был частью этой эволюционной лестницы: октябренок — пионер — комсомолец — коммунист. Путь неизбежный, как старение.

Корней Чуковский приводит слова маленькой Гали, включившей Некрасова в число советских поэтов: «А разве он не советский? Ведь он же хороший» [2]. Советскими были и Пушкин,

и Пугачев, и Илья Муромец. «Советский», «русский», «хороший», «наш» — все это синонимы.

Подчеркнутое, даже утрированное, желание принадлежать к «нашим» было императивом ребенка. Ведь за пределами большой советской семьи есть только диковинный мир фашистов, толстосумов, негров, безработных. Его можно жалеть или ненавидеть, но нельзя ощущать своим. У них не было всего того, без чего не существует правильной жизни — задорной песни, крепкой дружбы, пионерского горна. Их жизнь была угрюмой и невеселой.

Зато наши дети веселились всегда. Взрослые констатировали их веселость в законченных рифмованных формулах: «Октябрята — дружные ребята, читают и рисуют, играют и поют, весело живут»[3]. Глаголы настоящего времени подчеркивают постоянство этих действий. Детям не предписывается определенное поведение, оно им присуще как биологическим особям. Птицы поют и октябрята поют. И пионеры дружат «с задорной пионерской песней»[4].

Не расставаясь с этой песней, дети шли к взрослой жизни, которая требовала от них иногда весьма странных вещей. Например, вырастить «10 миллионов кроликов, закладывать сады, ягодники, виноградники, встречать праздник новыми победами на беговой дорожке, зеленом поле, водной глади»[5].

Взрослые разговаривали с детьми на метафорическом языке, где книга называлась источником знаний; а скворцы — пернатыми друзьями. Это специальное наречие изобиловало оптимистическими словами — весна, рассвет, улыбка, дорога, ветерок. (Потом они все стали названиями закусочных.)

Мир, описанный в таких терминах, весь состоял из водной глади и беговых дорожек.

У взрослых тоже были такие места. Например, ВДНХ. Там, между павильоном «Пчеловодство» и фонтаном «Золотой колос», взрослые могли узнать, как будет выглядеть светлое будущее. Детей светлое будущее встречало повсюду. Для них оно началось раньше. Ведь они и были тем самым нынешним поколением советских людей, которое будет жить при коммунизме.

Пионерия — авангард, открывший коммунизм раньше времени. Советские дети родились, чтоб сказку сделать былью. И они справились со своей задачей.

Но для этого потребовалось изменить понятие «сказка». Для

пионера чудом был не вымысел, а жизнь. Советская действительность так прекрасна, что ей не нужна сказка. Волшебство не может улучшить реальность, потому что дальше некуда.

В этом убедился старик Хоттабыч[6], который встретился с советскими чудесами в виде метрополитена, радиоприемника и мороженого. Все, о чем только мог мечтать наивный джинн, уже есть у простого пионера Вольки Костылькова. Ведь настоящий самолет куда комфортабельней сказочного ковра-самолета. Что касается богатства, то в мире пионера Вольки денег просто нет.

Советская сказка уничтожила чудо, отождествив его с прогрессом. Исторической эволюции соответствовала эволюция техническая. Раньше была лошадь, потом — трактор, еще потом — ракета. Даже отсталый двоечник понимал, что самолет быстрее домчит до коммунизма, чем паровоз. Изобретения насыщались нравственным содержанием.

При этом советское общество узурпировало прогресс. Он становился как бы частным советским делом. Ведь только у нас могучая техника знала, что делала.

Но главное в советской сказке — доступность. На волшебников учили в простой советской школе. Любой пионер может стать Хоттабычем, если будет закалять волю, слушаться старших и своевременно делать уроки. (См. «Пять путей пионера к сильной воле».)[7]

Сказка растворилась в буднях, чтобы будни ощущались сказкой. «Приоткрой четвертую дверь,— советовали взрослые пионеру,— и ты увидишь, что за годы твоего учения в нашей стране будут отменены все налоги»[8]. Коммунизм был прозаичен, как налоги, и чудесен, как «Золотой ключик».

Из этого диалектического сплава родился уникальный жанр — советская научная фантастика, специально созданная, чтобы формировать мифологическое сознание пионера.

Детскую библиотеку ранних 60-х составляли книги, написанные в предыдущие десятилетия. Фантастические романы Г. Адамова, А. Беляева, А. Казанцева, Г. Гуревича, Г. Мартынова напрочь забыло следующее ироническое поколение. Но в свое время именно эти писатели оказались властителями детских дум.

Сюжеты и герои их книг были общими для всех авторов. Они считывались в одну эпопею светлого будущего, которое нельзя было отличить от светлого настоящего.

В принципе эта фантастика была анонимна, как энциклопедия.

Очень краткая энциклопедия знаний об обществе. Примитивность содержания здесь имела концептуальное значение: чем проще, тем убедительней. Писатели добросовестно копировали действительность, списывая ее с плакатов.

Фантасты не могли добавить ничего нового к уже существовавшему пионерскому идеалу. Курчавый Ленин школьных вестибюлей пришел из тех же сфер, где плавал Человек-амфибия, летал Ариэль и страдала Голова профессора Доуэля.

Поскольку социальные проблемы уже разрешились, оставались только технические. Их детская литература взяла у Жюля Верна.

Герой «Таинственного острова» Пенкроф мечтал «о каналах, которые облегчат перевозку добытых богатств, о разработке каменоломен и шахт, о машинах для всяких промышленных изделий» [9]. Жюль Верн был уверен, что путь к счастью лежит через машину. Пафос преобразования, даже преодоления природы, придя из романтического XIX века, стал суровым руководством к действию. Формула Мичурина, как приговор трибунала, требовала от пионера борьбы с окружающей средой. Пионер, как и общество в целом, не мог ждать милостей от природы.

Энтузиаст Пенкроф мечтал «о целой сети железных дорог» [10]. Персонажи Казанцева и Мартынова уже жили среди железных дорог, а будут жить среди суперприемников и гиперпространств.

В детскую литературу из прошлого века пришли и вещи (вроде подлодки «Пионер» [11]), и люди (отчаянный звездолетчик Ветров и седовласый академик Алмазов), и старомодная поэтика, предусматривающая полное доверие к техническим решениям социальных проблем. Наивность Жюля Верна стала методологическим принципом.

Действие в советской фантастике начиналось сразу за порогом сиюминутной действительности. Самолет летал чуть быстрее истребителя, цены снижались чуть стремительнее, чем при Хрущеве, люди были чуть лучше, чем учителя и пионервожатые.

По сути, фантастической эта литература могла считаться только потому, что автор лишал своих героев всякой связи с реальным миром. Они создавали иллюзорный мир добра и красоты, но именно там и так уже жили их юные читатели.

Какой же конфликт мог двигать сюжеты этих книг? В общем, никакой.

Советский человек органически не способен встретиться с

неразрешимым препятствием. «Никто необъятного объять не может, — сказал Пайчадзе. — Я, конечно, шучу» [12]. (Шутник Пайчадзе, герой романа Г. Мартынова «220 дней на звездолете», тоже общий персонаж. Положительный грузин — единственный разрешенный инородец в тогдашней фантастике. Для детей смерть Сталина была еще секретом.)

Природа не может конкурировать с героем и его техникой. «Средняя скорость корабля составить 102 600 км в час. — Это, как в сказке!» [13] Разница между сказкой и жизнью выражается количественно, и она не так уж велика. Но и этого достаточно, чтобы завоевать Вселенную: «Нет пределов дерзанию свободного человеческого ума!» [14]

Истинных противников советская фантастика находит только на Западе. Герой может подчинить стихию, но не способен изменить капиталистическое сознание: «Выходит, что даже на Марсе дельцы верны себе» [15]. Буржуазный мир лежит в принципиально иной плоскости. С ним нельзя договориться — с пришельцами это сделать гораздо проще. Его нельзя понять, так как он лишен даже собственной логики. Американский пьяница-звездолетчик наливает в цистерну вместо жидкого кислорода 200 литров виски, обрекая тем самым себя на верную гибель. Граница между «нашими» и «ненашими» не государственная, а видовая, как между животными и минералами.

Запад занимал огромное место в советской фантастике. Он и был ее истинной тайной, которую авторы искали на Марсе, а находили в Америке. «Переулки были похожи на каменные ущелья, дворики — на клетки. Повсюду продавались орехи, углы в комнатах, акции, билеты в оперу... Монашки подзывали такси, чтобы ехать по своим делам в банк, ремонтную контору или на молитву» [16]. Фантастика становилась фантастической только тогда, когда имела дело с капитализмом.

Поколение, выросшее на таких книгах, должно было выработать особое мировоззрение. Как только действительность попадала в его поле, она приобретала черты чуда. (На кремлевскую елку Дед Мороз приходил с космонавтом, заменившим Снегурочку.) Прогресс становился законом природы. Коммунизм — результатом арифметического примера.

И этот пример ничем не отличался от тех, которым учили в школе.

Школа, естественно, самый главный фильтр, который стоит

между детьми и миром. Она моделирует внешнюю жизнь так, чтобы та принимала целесообразные воспитательные формы.

Школу нельзя разъять на разные сферы — пионерский сбор, чистописание, культпоходы. Все детали школьной жизни взаимодействуют друг с другом. Это замкнутая разветвленная система, цель которой состоит в том, чтобы заставить ребенка воспринимать мир исключительно в школьных терминах.

Поэтому ученик с первого дня вступает в конфликт со школой, которая стремится навязать ему гражданскую точку зрения. Он хочет провести границу между правом личности на свободу и ее ответственностью перед государством.

Например, школа задает вопрос, кто разбил окно?

Школа хочет не найти виновного, а перестроить детское сознание, переориентировать его на другую систему ценностей. Ученик ведет себя в соответствии с нравственным кодексом своего коллектива. В рамках этого кодекса естественно и нормально не выдавать друзей. Школа же втолковывает ему, что такая нравственность — ненормальна, и дружба такая — ложная. («Какой же ты товарищ, если миришься с тем, что твой друг поступает нехорошо? Такая дружба ненастоящая — это ложная дружба»[17].)

Школа учит, что долг доносчика выше милосердия укрывателя. При этом ябеда наказывается остракизмом и не вознаграждается ничем. В этом духовное совершенство ябеды. Чувство исполненного долга перед обществом — награда сама по себе.

Доверие к миру взрослых следует доказывать лояльностью. Ребенок оказывается перед альтернативой — предавать друзей или предавать родину, которая подарила ему счастливое детство. Ребенок должен помнить, что недонесение есть преступление, своего рода покушение на отцеубийство. За нелояльность к своей большой семье надо расплачиваться муками совести.

Так школа закладывает фундамент мироощущения, которое навсегда оставляет в человеке стыд перед любым актом протеста. Ему — все, а он... Это как кусать руку, которая кормит. Добрую, мозолистую, суровую и честную руку. Такая рука должна быть у отца-путейца, у отца-красногвардейца, у отца-космонавта, у того коллективного отца, которого по ошибке называют женским именем — Родина.

Школа пытается заместить нравственное чувство гражданским долгом. И главную роль в этом мучительном процессе играет сама школьная наука.

Для большинства школьные годы — единственные, когда человек постоянно сталкивается с точными знаниями. Не существенно, сколько знаний он вынесет из школы вместе с аттестатом. Главное в учебе — методика освоения мира.

Вся школьная наука основана на постулате о познаваемости вселенной. Ученик имеет дело не с природой, не с языком, не с явлением, а с задачей, упражнением, примером. Мир, вставленный в учебник, специально подогнан так, чтобы все сходилось с ответом.

«В этой задаче нужно было узнать, во сколько дней 25 плотников построят 8 домов, а в этой нужно узнать, во сколько 6 жестянщиков сделают 36 ведер»[18].

Плотники строят дома. Жестянщики делают ведра. Из бассейнов течет вода. По рельсам из пункта А в пункт Б бегут поезда.

И вся эта трудолюбивая необъятная вселенная имеет одну цель, выраженную в ответе. Абстрактные плотники сливаются с реальностью. Они строят дома, заводы, школы. Плотники всегда строят. Поезда всегда ездят. Вода всегда льется.

Школьная наука учит решать задачи. Но она учит и тому, что эти задачи адекватны реальным. Школа делает вид, что дает ребенку алгоритм мира.

Арифметика делает человека богом. Он всемогущ, если на все есть ответ, если все сходится, если после долгих вычислений, после «равно» окажутся аккуратные круглые цифры.

В задачнике все подстроено, чтобы цифры были круглыми. Но и в идеальном обществе все должно быть круглым. Достаточно только отождествить учебник с жизнью, чтобы абстрактная арифметика превратилась в социально-нравственный инструмент.

В дореволюционной России разные люди жили в плохом обществе. Сейчас разные люди живут в хорошем. Коммунизм — это когда хорошие люди живут в хорошем обществе. Следовательно, чтобы попасть в будущее, разные люди должны стать хорошими. Отсюда: надо хорошо учиться, помогать старшим и выращивать кроликов.

Жесткая схема, заданная школьной наукой, создает жизнерадостную картину мира. Любая задача подразумевает решение. Даже неважно, в наших ли силах ее решить. Важно, что решение существует.

Где-то (у взрослых?) есть раздел «ответы».

Изо дня в день ученик решает задачи, учит стихи, пишет

упражнения. Изо дня в день он убеждается во всесилии и всеобщности законов, управляющих жизнью.

«Пролетариат смело (бороться) с угнетателями. Чернила (высохнуть). С правой ноги (соскочить) калоша» [19]. Все, что надо сделать, это согласовать сказуемые. Они согласуются. Это такой же закон природы, как то, что калоша соскакивает, чернила высыхают, а пролетариат борется.

Мир — данность. Он правилен. Он согласован. В нем все устроено, как надо — калоши, пролетариат, плотники.

«Н. В. Гоголь любил (...) езду на тройке». Единственная загадка, которую школа оставляет учебнику, это какую езду любил Гоголь — «скорую, быструю, торопливую, стремительную» [20]. Нужное — вставить. А ненужное — не нужно. Факты постулируются, чтобы сложиться в вечную гармонию.

Школа знает ответы даже на самые фантастические вопросы. Какой город самый сладкий?, какой самый горький?, какой самый сдобный? [21]

Школа знает все. Она обладает волшебной мощью. В ее распоряжении пространство и время. И она строит из них, как из кубиков, свои учебники.

Вот список сокращений имен авторов, из сочинений которых взяты примеры для упражнений. П. — это Пушкин, Дж. — Джамбул, Газ. — из газет. Их тут объединяет только равноценная грамматическая необходимость. Свести естественное разнообразие к искусственной схеме — в этом смысл обучения. Но в этом и смысл воспитания.

Пока Аксаков писал «Весна является утром года», это было его личным делом. Но когда высказывание попало в учебник, оно стало законом природы. Цель школы — свести стихию к повторяющимся ситуациям, которые подскажут ребенку однозначную реакцию на мир. И тогда мир уподобится учебнику, в котором плотники строят дома, жестянщики — ведра, и все знают, кто разбил окно.

Не зря школа всегда оперирует набором одинаковых клише. «Если все стенку станут пачкать; родители стараются сделать из него человека; тот, кто учится на тройку, легко может скатиться к двойке» [22].

Повторение — мать учения. Добрая заботливая мать прорыла в хаосе глубокие колеи, попав в которые, можно все свести к общему школьному знаменателю.

Школа решает нечастные вопросы идеологического воспитания. Она строит позитивную картину мира, дарит детям представление об идеальной, как кремлевские куранты, вселенной.

Нужно только взяться за дело с огоньком. Не откладывать на завтра, то, что можно сделать сегодня. Беречь книгу. Дружить с песней. Закаляться, как сталь. И тогда облегченно вздохнут наконец жестянщики. Исчезнет, как Атлантида, бессмысленная Америка. Не останется тайн у двух океанов. Наступит гармония высших сфер и круглых чисел.

«Если бы у меня была волшебная палочка, я бы прежде всего сделал бы так, чтобы ожил Владимир Ильич. А потом я бы взмахнул палочкой в последний раз, чтобы стал коммунизм» [23].

Но школа — всего лишь иллюзия. Ее модель идеального мира не больше, чем картонное наглядное пособие. И только в книгах очень глупых писателей дети говорят: «А я все равно буду бороться с подсказкой». Нет таких детей и никогда не было. Они принадлежат к тому же фантастическому миру, что и диверсанты, пробирающиеся в Москву на свиных копытах.

В настоящем мире плотники пьют водку с жестянщиками. И только в учебнике Бархударова и Крючкова Пушкин стоит рядом с Джамбулом. На самом деле никакого Джамбула нет вовсе.

Однако сказки не для того, чтобы в них верили. В сказке нельзя жить, но она может менять жизнь.

Мир школьных представлений существует несмотря на то, что не имеет никакого отношения к реальности. Его стремление распространить поэтику задачника на действительность закладывает основы сознания. Сколько бы советский человек ни убеждался в ложности школьных постулатов, он всю жизнь считался с ними.

Когда юное поколение чуть подросло, оно бросилось в атаку на усвоенные в детстве истины. Школьный мир превратился в пародию, где американские шпионы соревновались в тупости с советскими майорами.

Как только целостный мир, созданный взрослыми для детей, рассыпался на осколки, он стал достоянием остряков.

Но не была ли всеобщая ирония 60-х ностальгией по гармонии? Советский человек может издеваться над своим детством, но он не может забыть счастье, которое оно ему подарило. Разрушенный, осмеянный идеал не стал менее притягательным от того, что оказался ложным. Истина только мешает идеалам.

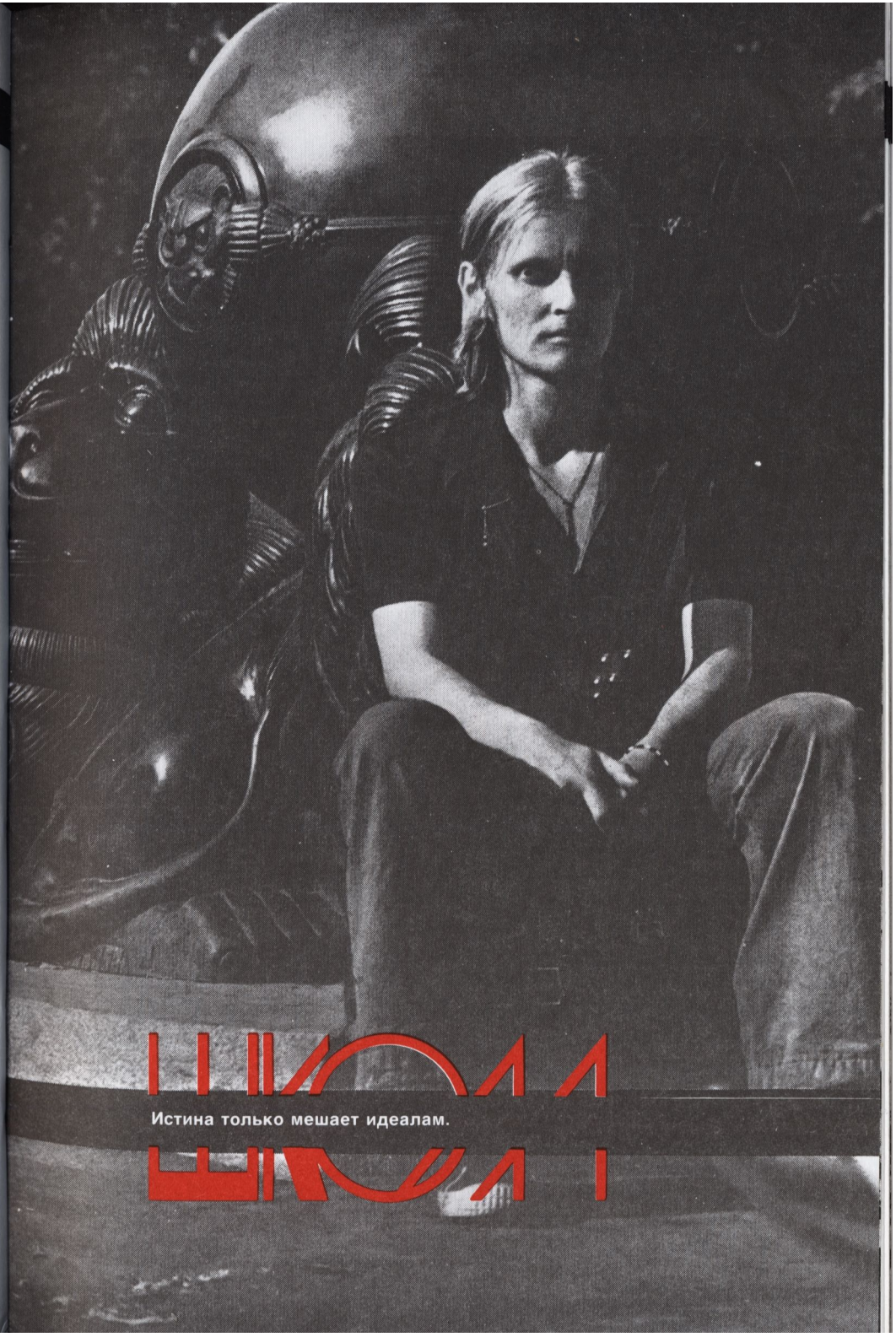
МАРШ ЭНТУЗИАСТОВ

Перебирая атрибуты пионерского мифа — звонкий горн, походный котелок, синие ночи — взрослые смеялись, чтобы скрыть свою тоску по «счастливому детству».

Выросшие дети научились скепсису. Открыли ложность школьной науки. Доказали бесконечность мира. Разрушили псевдогармонию. Узнали, что в жизни есть деньги, неправда, зло.

Но, приобретая эти знания, утратили светлое чувство праздника, в преддверии которого некогда жили.

...Бывает, что снится слегка морозное утро. Улицы кажутся подчеркнуто пустыми. Еще нет шаров, громкоговорителей, песен. Еще спят взрослые. Еще только строятся ряды на Красной площади. А в воздухе уже разлито застенчивое предвкушение торжества. И даже не нужно, чтобы оно началось. Пусть мир замрет накануне большого праздника.




1
УЛИЦА
НАДЕЖД
Романт
это на


ГЕОН СТРОИТЕЛИ КОММУНИЗМА!
ДОРОГА НИКУДА
РОМАНТИКА
На славу.
Ну, что тебе
сказать
про
Ибджибдек

После многолетнего застоя в сознании страны произошел сильнейший сдвиг, и сдвиг вызвал движение. Съехало с привычных мест все: мнения, критерии, верования и — люди [24]. Все в жизни взаимосвязано, и волочь к реке поваленный истукан было удобнее не в шевиотовой черной паре, а в ковбойке и баскетбольных кедах. Стиль эпохи требовал легкости, подвижности, открытости. Даже кафе стали на манер аквариумов — со стеклянными стенами всем на обозрение. И вместо солидных, надолго, имен вроде «Столовая — 43», города и шоссейные дороги страны усыпали легкомысленные «Улыбки», «Минутки», «Ветерки». По дорогам с ветерком поехали невнятные люди без командировочных удостоверений. Куда и зачем? Да куда и за чем угодно. В том-то и состояла новизна, что определенной цели у этих кочевников и не было.

Цель выглядела туманно и заманчиво — Романтика. Так был назван этот хаотический порыв, и невнятность цели обеспечивала ту новую питательную среду, в которой свобода — любая — была главным компонентом. Собственно, в те годы романтика и свобода стали синонимами.

В 50-е тоже ехали. «Едем мы, друзья, в дальние края...» — пели целинники. Когда-то так же отправлялись на коллективизацию двадцатипятитысячники. Путевка на освоение целины была приказом, не подлежащим трактовке.

Послесталинское брожение такой определенностью не обладало. Это было нечто вроде стихийной миграции леммингов, только шестидесятники топили себя в бескрайнем море Романтики. Точнее всего, как это часто бывает, сформулировала задачи и цели движения песня.

60-е принесли с собой новое явление, даже во многом были сформированы им — песни бардов. Барды — поэты, композиторы, музыканты и певцы в одном лице — пели приблизительно то же самое, что комсомольцы, но их песни были искренни, неформально лиричны и отчаянно прославляли свободу. Барды были по-своему целенаправленны:

Люди посланы делами, люди едут за деньгами,
Убегают от обиды, от тоски.
А я еду, а я еду за мечтами,
За туманом и за запахом тайги [25].

В терминах реализма было не понять и не объяснить, что же это за поездка. Однако все становилось просто, когда на помощь

приходил жаргон романтизма: «запах тайги» был более материален и весом, чем «дела» и «деньги».

Романтизм 60-х оперировал понятиями расплывчатыми, пользуясь ими весьма размашисто. Казалось мелким копошиться на своей территории в виду распахнутой Вселенной, и возобладал романтизм космический, что дословно и обозначилось устремлением в космические просторы: Гагарин и писатели-фантасты были среди кумиров эпохи. В стихах явилась лунатическая лирика, на перронах — гитары, у киношных физиков — предпочтение романтической догадки кропотливому расчету [26].

Само слово «романтика», смутно связанное с Байроном и «Бахчисарайским фонтаном», уверенно заняло место на первых полосах газет. Самый популярный раздел «Комсомольской правды» назывался по воскрешенной повести беззаветного мечтателя 20-х годов А. Грина: «Алые паруса». Эпитеты к романтике прилагались самые поощрительные: «не искусственная и схематичная, а подлинная, живая, боевая и задушевная, активная и вдохновенная» [27]. Единственный отрицательный герой в безоблачном романе «Туманность Андромеды» только и нехорош был, помимо некрасивого имени, недоверием к чистому порыву:

«— Романтика! — громко и презрительно сказал Пур Хисс и тут же съежился, заметив неодобрение зрителей» [28].

Даже из этой короткой цитаты видно, что традиционный романтический конфликт предстал по-новому. А именно: не герой-одиночка противостоял консервативному обществу, а наоборот — романтик-коллектив боролся и побеждал одиночек-ретроградов. Не быть романтиком не позволял общественный этикет, куда более сильный, чем передовицы и молодежные рубрики. Неромантик молчал, когда пели все остальные. Пели передвигающиеся по просторам страны коллективы: команды кораблей, экипажи самолетов, геологические партии, связки скалолазов, туристские группы.

Не сердитесь, наши жены,
Мы уходим петь [29],—

и никаких других объяснений не требовалось, хотя и в те годы, разумеется, уходили строить электростанции, искать нефть и ловить рыбу. Но в целом стремление «петь» исчерпывающе объясняло мотивы ухода. Это в прежние времена к прохожим приставал с вопросами какой-то безумный чибис: «А скажите, чьи вы,

и зачем, зачем идете вы сюда?» [30]. Теперь короткое «петь» бросалось не только чибису, но и женам (они обязаны были оставаться дома), належенным диванам (хвоя мягче), друзьям (походные лучше), работе (профессионализм несовместим с романтикой, так как прикрепленностью к ремеслу — тоже несвобода).

Что касается поэзии, то в интонации новомирских критиков звучала растерянность: «Иногда кажется, что все поэты куда-то разъехались и в Москве или в Ленинграде стихов теперь больше не пишут, а пишут их преимущественно в тайге, и в тундре, и в русской поэзии наступил кочевой период» [31].

Даже у Иосифа Бродского явственно выступают атрибуты романтизма: «Да будет надежда ладони греть у твоего костра. Да будут метели, снега, дожди и бешеный рев огня...» [32] И Бродский не миновал всеобщей участи геологических изысканий [33], и у него в эпоху движения появились стихи с характерными названиями — «Шествие», «Пилигримы»:

И значит, не будет толка
от веры в себя и Бога.
И значит, остались только
Иллюзия и Дорога [34].

Дорога — ключевое понятие — как заклинание являлась в песнях бардов, будто сама по себе дорога способна дать ответ на все жизненные противоречия. Так оно, впрочем, и выходило, потому что Дорога и была Иллюзией. В соответствии со стилистикой романтизма дорога вела в никуда (одной из популярнейших в те времена книг был роман А. Грина «Дорога никуда). Если составить частотный словарь бардов 60-х, «дорога» уверенно займет первое место. Особенно настойчиво она поминается в песнях Юрия Кукина: «И весь мой путь — дорога, не стезя», «А мне б дороги далекие и маршруты нелегкие», «Опять тобой, дорога, желанья сожжены». Вот она, панацея от всех бед: «Дорогой, как единственной надеждой, все, что сломал, спаяю, починю» [35].

Известно было, что с собой берут в дорогу — рюкзак, ледоруб, томик Гарсия Лорки. Но главным была гитара, которая заменила забытую гармонь и предвосхитила грядущий транзистор. Гитару, народный советский инструмент с прогрессивным оттенком, сохранил для далекого будущего привередливый Иван Ефремов:

«— У Карта Сана есть вечный инструмент со струнами времен Темных веков феодального общества. — Гитара, — подсказала Чара Нанди» [36].

Вот так, налегке, с одной гитарой, в которой даже все струны не требовались, потому что бардовские аккорды прекрасно исполнялись на четырех — уходили в путь романтики. Необремененность вещами была для них столь же принципиальной, сколько и необязательность вознаграждения. Вместо денег была дорога.

В одном из главных фильмов 60-х — «Девять дней одного года» М. Ромма — ученый Куликов (И. Смоктуновский) приглашает к себе в институт ученого Гусева (А. Баталов): «Переходи ко мне. Мы получаем двенадцать квартир. — Зачем мне квартира?..»

В рамках романтического жаргона это говорится естественно, без надрыва:

Вместо домов у людей в этом городе небо,
Руки любимых у них вместо квартир [37].

В романе братьев Стругацких происходит характерное обсуждение условий труда: «А сколько платят? — заорал кто-то. — Платят, конечно, раз в пять меньше, — ответил Юрковский. — Зато работа у вас будет на всю жизнь и хорошие друзья, настоящие люди...» [38]

Разумеется, и в 60-е подобные пассажи воспринимались иронически, но знаменательно, что подсмеивались скорее над накалом страстей, степенью преувеличения, чем над сутью антитезы «деньги — дорога». Так, у Гладилина «частник» не расстается с постоянным эпитетом «проклятый» [39]. Но авторская ирония относится только к языковому штампу. Точно так же пародия «А я еду, а я еду за коврами, за туманом едут только дураки» была пародийна вдвойне: может, ехать за туманом и глупо, но за коврами — гнусно.

Стилевой разнобой, который вносили в одухотворенный порыв одиночки-стяжатели, нарушал гармонию. Несогласным присвоили имя — мещане — и принялись отчаянно с ними бороться.

Если когда-то бичевали только абажуры и слоников на комодах, то постепенно мещанство становилось источником всех бед — от невыученных уроков до фашизма [40]. Виной всему оказывалась пассивность: «Есть еще очень много людей на Планете, которые гасят свой разум. Они называются мещанами» [41]. Не надо было заниматься антиобщественной

деятельностью — достаточно было не заниматься общественной. Агрессивная нравственность не хотела ждать, когда мещанин поползет к плотине с динамитом в зубах — мещанина следовало обезоружить в стадии пассивной подготовки: на диване. Ему было слишком удобно лежать. Поэтому особую ненависть романтиков вызывала мягкая мебель: плюшевое кресло, кровать с шарами, тахта «лира». Взамен следовало обставить быт трехногими табуретками-лепестками, легкими торшерами, узкими вдовьими ложами, низкими журнальными столиками. Безразличный алюминий и холодная пластмасса вытеснили теплый плюш. Такая квартира ощущалась привалом в походе за туманами.

Мещанство разоблачалось быстро, даже если маскировало себя атрибутами новизны, даже если мещанин «теперь хочет, чтоб в ногу с веком и чтоб модерн». Даже если он поет те же песни, остается главное различие: романтик поет бескорыстно, а мещане «поют под севрюгу и под сациви» [42].

«Работать или зарабатывать» [43] — так лаконично поставлен вопрос для бойцов ССО (студенческих строительных отрядов). Это движение, начавшееся в самом конце 50-х, охватило студенческую молодежь к середине 60-х. Но беспечные веселые аскеты превратились в обыкновенных шабашников, когда разобрались, что жизнь не становится большим турпоходом самоотверженных интеллектуалов. ССО стали летним приработком, а их походные штабы ССО — солидными конторами с секретаршами, заседаниями, приемными, степенными партийными словами «добре» и «лады».

Но это окостенение произошло не сразу, а вначале основными врагами романтиков были объективные трудности: рельеф местности, погодные условия, новизна задачи. По Блоку, «романтизм... твердит своему врагу: «Я ненавижу тебя, потому что слишком люблю тебя» [44]. Если уж человек выбирал вместо денег дорогу, то дорогу трудную, и трудности эти искренне и надрывно любил. Чеканную формулировку романтизма оставил популярный бард тех лет Юрий Визбор:

Будем понимать мы эти штормы
Как желанный повод для борьбы [45].

Требовалась экстремальность ситуаций — такое развитие событий, которое вело бы к оптимистической трагедии. Проза и поэзия в изобилии поставляли образы героев, которые гибли

даже не во имя чего-то, а просто, чтобы выявить свою самодостаточность. Писатели косили персонажей, как в криминальных хрониках. Тихому врачу Саше Зеленину из аксеновских «Коллег» требовалось броситься на спасение не подведомственных больнице амбаров и нарваться на нож [46]. Герой «Звездного билета» оставался жив, хоть и обязан был пройти штормы и ураганы, но зато погибал его старший брат — только для того, чтобы послужить примером младшему [47]. Даже невинное право на современные вкусы приходилось отстаивать ценой жизни: «Носил он брюки узкие, читал Хемингуэя», за это получил презрительную кличку «нигилист», что оказалось впоследствии ошибочным: «Могила есть простая среди гранитных глыб. Товарища спасая, «нигилист» погиб» [48].

«Кровавая» эпоха соотносилась с таким же бурным периодом прошлого. К услугам шестидесятников была суровая романтика революции и гражданской войны: «Если смерти — то мгновенной, если раны — небольшой» [49]. Комиссары, всю мебель которых составляла деревянная кобура маузера, вновь стали героями. С ними сверялись в мечтах, они снились ученому перед ответственным опытом, как в 50-е перед посевом колхознику снился Сталин. Апелляции к образам гражданской были настолько обыденными, что даже у совершенно разных литераторов тех лет встречаются почти дословные совпадения. «Грозные, убежденные, в меня устремляя взгляд, на тяжких от капель буденовках крупные звезды горят» [50] — у Евтушенко. «И комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной» [51] — у Окуджавы. Именно шашкой красного конника молодой бунтарь рубит мещанскую полированную мебель в пьесе Розова [52].

Стихия бунта, мятежа, конной атаки подкупала своей искренностью и чистотой и сама очищала вовлеченных в вихрь страстей. Сильное чувство было ценно само по себе, причем настолько, что в человеческой жизни высвобождалась даже одна сфера, свободная от коллективного романтизма — любовь.

В любви торжествовал романтизм индивидуалистический. Человек кинулся осваивать новые просторы не только ввысь и вширь, но и вглубь — в сферу интима.

В соответствии со стилистикой романтизма любовный сюжет развивался обычно на пленэре. Это понимал еще Байрон: «Они уединились — не уныло, не в комнате, не в четырех стенах...» [53] Собственно, из суеты городов затем и выезжали, чтобы пожить

эмоциями. Лучшими декорациями для бурного нарастания страстей был костер, бархан, причал.

Любви, как и дороге, надлежало быть трудной. Самый простой вариант — разлука. Ничуть не сниженным аналогом революционного быта «Дан приказ: ему — на запад, ей — в другую сторону...» [54] выступала мирная действительность: «Ты уехала в дальние степи, я ушел на разведку в тайгу...» [55]. Дистанции на одной шестой суши таковы, что географическим препятствиям конца не предвиделось. Возможны были сотни вариантов: он — рыбак, она — сезонный рабочий; он — строитель, она геолог; он — ученый, она — стюардесса. И опять-таки внезапно обретенный возлюбленный мог погибнуть: спасая пассажиров, дамбу, улов трески или просто не дойдя чуть-чуть до россыпей колчедана.

Но все же настоящая революция в области постижения интимной жизни произошла без вмешательства стихий. Главная идея романтического конфликта — преодоление — была сохранена. Но теперь преодолевался стереотип семьи и брака, стереотип любви к «правильному» человеку.

Отбросить комфорт бытовой — палатка вместо «паласа» — нетрудно. Куда сложнее обстояло дело с комфортом социально-психологическим, в котором так уютно чувствовали себя соцреалистические любовные противоречия: у него 105% нормы, у нее 110%, но комсомольская свадьба не за горами.

Внебрачная любовь уже появилась в массовом искусстве, но «это» предпочитали называть как-нибудь по-прежнему — как в фильме «Девять дней одного года»: «Ты сказала, что мы с тобой... ну... решили пожениться?» Это означало, что персонажи спят друг с другом, а брак тут ни при чем, но речевой этикет часто отстает от реалий жизни.

Единственным и достаточным обоснованием любви стало наличие сильной и искренней эмоции. В этом и состояла новизна: любить не за что-то, а просто так. Это уже само по себе было подвигом, и можно не посылать объект вожделения на камчатские вулканы — хватало и того, что у него жена и дети. Интим был как бы личной заграницей каждого, куда не дотягивался пристальный взгляд общества. Убежище от социальных стихий напрямую пришло от Ремарка и Хемингуэя, но получило советское гражданство с тем большей легкостью, что иных убежищ не было.

«Плохая» женщина привлекает, но не всегда об этом принято говорить. Если не считать стихов Есенина («Пей со мною, паршивая сука...» [56]), такой образ процветал только в блатной песне. Оттуда он пришел в песни бардов 60-х — облик женщины, готовой утешить каждого, неразборчивой и щедрой: не то подруга с малины, не то Брет из «Фиесты». Романтик всегда мазохист, так что знак же эмоции роли не играл: «Будем петь про любовь и обман». Плюс и минус неразличимы. «Наговорили мне, мол, не любим. Нагородили мне — живет с другим».

Полублатной надрыв чередовался с вяловатым разгулом. В знаменитой «Гостинице» Юрия Кукина попираются не только нормы морали, но и постулаты мощных страстей романтизма: «Я на час тебе жених, ты — невестою» [57]. Или так, как у Евтушенко, — любовь случайная, необязательная, вероломная, без начала и конца.

Я вроде пил и вроде не пил,
и вроде думал про свое,
и для нее любимым не был,
и был любимым для нее [58].

Этот уклон от основного романтического русла огорчал и настораживал общественность: «А разве не бытует еще среди молодежи псевдоромантика блатных песен?» [59]

Такая враждебность была характерна для начального периода того важнейшего феномена 60-х, которым стали песни бардов.

Готовые образцы авторских песен существовали: французский шепот Азнавура, ангельский голос Джоан Баэз, незатейливое бренчание Пита Сигера. Наконец, свой Вертинский, воскрешенный в 60-е. Но образцы эти были формальными — потому что новые барды запели важные для времени слова на понятном языке.

На помощь гитаре пришел магнитофон, и песни распространялись в буквальном смысле со скоростью звука. Редкие счастливцы пользовались мощной стационарной «Яузой» и похожим на радиолу «Днепром», но уже Литва освоила переносной «Спалис», который рвал пленку — так что настоящего романтика можно было узнать по сожженным уксусной эссенцией пальцам. Более совершенные «Гинтарас» и «Аидас» довершили магнитофонизацию страны: барды запели в каждом доме.

Это беспокоило ретроградов. Автор оперы «Поднятая целина» и «Тихий Дон» Иван Дзержинский высказывался прямо: «Барды шестидесятых годов нашего века имеют на вооружении магнитную пленку. В этом есть... известная опасность — легкость распространения». И объяснял, что же тут плохого: «Многие из этих песен вызывают в нас чувство стыда и горькой обиды, наносят большой урон воспитанию молодежи» [60].

Зато взяли на вооружение бардов прогрессисты: «Хорошие, бодрые песни, от которых становится весело на душе, хочется работать, учиться, жить, любить... Это были молодые, ясные, свежие голоса. И пели не артисты, а студенты, инженеры, учителя, которые в свободное время были туристами, аквалангистами, путешественниками» [61].

В этом наборе штампов — тщательно продуманная защита от мракобесов: только в свободное время, без ущерба для производства поют полезные для общества люди, побуждая же приносить обществу пользу. Романтические барды легко приспосабливались к дорожной эпохе, потому что были неотрывной ее частью, и ушли из жизни вместе с ней. Гитарной же лирике предстоял более долгий срок — она пережила и нарождающийся в 60-е песенный политический фельетон.

Сами барды тоже пытались осмыслить собственный феномен. Напирал на «литературное явление», на «интересные стихи» Александр Галич; открещивался от «сантимента, риторики и жеманства юношеской романтики» Михаил Анчаров; говорил о «правде чувства, правде интонаций, правде деталей» Юрий Визбор; «растущими духовными интересами наших современников» объяснял явление Юлий Ким [62].

При всей расплывчатости формулировки прав Ким и неправ Галич. Читать эти песни практически невозможно. Песни бардов — конечно, и не музыка и не исполнительское искусство. Кажется, один только Евгений Клячкин играл на гитаре почти профессионально. Все дело, действительно, в соответствии эпохе. Притягательность поэтически-музыкально-вокального комплекса бардов — как влюбленность, когда качества объекта трудно различимы, а важна только исходящая от него эманация.

Своей вершины творчество бардов достигло в песнях Булата Окуджавы. В них сочетались романтизм Кукина, музыкальность Клячкина, ироничность Анчарова, фантазия Кима, суровость Визбора. Подобно тому, как Евтушенко оставил конспект со-

бытий и направлений эпохи, Окуджава записал конспект настроений и эмоций. Ему принадлежит формула романтической лирики тех лет:

А женщину зовут Дорога...
Какая дальняя она! [63]

В общем-то весь мир для него был некой женщиной, Прекрасной Дамой, и в песнях Окуджавы идея интима доведена до бескрайних пределов. Его кредиторы, в ком поколение справедливо увидело и своих кредиторов — «Вера, Надежда, Любовь»; его маленькие люди — «в красной шапочке смешной» — творят чудеса: «и муравей создал себе богиню по образу и духу своему»; даже к Всевышнему он обращается, как к любимой: «Господи мой Боже, зеленоглазый мой!» [64]

Превращая Вселенную в свой личный мир, Окуджава смог обойтись без сентиментальности. Точнее, она есть — но всегда оттенена иронией. Той иронией, без которой хваленая в те годы искренность оставалась таким же плакатом, как и хулимая в те годы лакировка действительности. Даже всерьез написанная песенка про комиссаров «в пыльных шлемах» выводится на иной уровень названием — «Сентиментальный марш».

Окуджава всегда пел только про женщину и про любовь. В его окопах Великой Отечественной лежали не солдаты, а «мальчики», которых ждали «девочки»,— и поколение заново узнавало войну. Арбат был предметом любовных переживаний — «Ты — и радость моя, и моя беда»,— и знакомый город обретал новые очертания. Даже скучный троллейбус стал в сознании рядом с пушкинской бричкой, потому что о нем пел Окуджава. И, конечно, он пел о любви в самом прямом смысле — о любви к «плохой» женщине:

За что ж вы Ваньку-то Морозова?
Ведь он ни в чем не виноват.
Она сама его морочила,
а он ни в чем не виноват [65].

Вселенский интим Окуджавы стал квинтэссенцией песенного жанра. Такое лирическое сгущение позволило его песням пережить крах романтики, когда гитары перешли в разряд трогательного и стыдного — как солдатики и куклы.

Химеру Романтики погубила химера Интересной Работы.

Эти два направления долго сосуществовали, переплетаясь

и совпадая, пока не разделились окончательно и не вступили в непримиримую борьбу. С одной стороны, целью нового человека является творческий труд. С другой — предполагалось, что не бывает нетворческого труда, а бывают нетворческие люди, и обыденный, повседневный подвиг важнее романтического. Оптимистическая трагедия обеспечивала лишь одноразовое использование романтика. Это противоречило самому принципу романтизма коллективного, который обязан был учитывать интересы общества. Увлекшись, романтики позволили себе забыть, что являются частью общего дела, которое прекрасно и романтично само по себе.

На комсомольском языке это называлось «в жизни всегда есть место подвигам» и «у нас героем становится любой». Это совершенно противоречило основам традиционного романтизма, зато полноценно обслуживало романтизм коллективный. Тема обыденности подвига явственно звучала:

Мы несем наши папки, пакеты,
но подумайте — это ведь мы
в небеса запускаем ракеты,
потрясая сердца и умы! [66]

Романтик на службе — это абсурдное сочетание становилось привычным, поскольку герою не требовалась косая сажень силы и ума, достаточно было соблюдения трудовой дисциплины:

«...Вот они-то, в основном, и держат на своих плечах дворец Мысли и Духа. С девяти до пятнадцати держат, а потом едут по грибы...» [67]

В духе неразрушительной романтической иронии тех лет это звучало так:

«Я еду в институт. Я сделаю свое дело и для себя, и для своего института, и для своей семьи, и для своей страны.

...Мы стоим плечом к плечу и читаем газеты. Жирные, сухие и такие мускулистые, как я, смешные, неряшливые, респектабельные, пижонистые, мы молчим. Мы немного не выспались. Нам жарко и неловко. Этот, справа, совсем вспотел. Филидель, мы с тобой! Пираты, мы против вас. Мы несем Олимпийский огонь» [68].

Перелом назревал постепенно, и если старший брат уже проникнут идеей будничности подвига, то младший еще предпочитает лихо ломать старые стены, а не скучно возводить новые [69].

Но настоящего конфликта между ними пока нет — они братья, и тут борются не мировоззрения, а опыт с молодостью, лучшее с хорошим.

Однако со временем точка зрения старшего брата возобладала — как имеющая большую хозяйственную ценность. Героем стал любой, и субботники начали проводить на рабочем месте, просто удлинив трудовую неделю бывшим праздником труда. Неисправимые гитарные бродяги могли вздрагивать от заголовков «Романтика? Да — эпидемиология!» [70], но скоро исчезли и такие: романтика сочеталась только с подростками, и алые паруса остались уделом бумажных корабликов.

Впрочем, и сознательные десятиклассники отвечали на вопрос «Всегда ли в жизни есть место подвигам?» не хуже своих старших братьев, отцов и вождей: им уже было доподлинно известно, что настоящий человек делает свою работу интересной и героической, потому что всякий труд — творческий.

«Работая честно, человек делает свой вклад в общее дело. Этим он совершает подвиг».

«Я думаю, что отдать кровь больному в 1966 году — это не меньше, чем вести за собой в атаку роту в 1941-м».

«Подвиг ученика — хорошо учиться. Подвиг преступника — не делать преступлений и стать честным тружеником. И моим подвигом будет то, чтобы стать образованным, культурным человеком» [71].

Повседневность героизма, утверждаемая повсеместно, вызвала нравственную смуту. Иерархия романтических деяний рухнула: подвигом стало все.

Бюрократизация мечты превратила мечтателя в бюрократа, а героический поступок — в фактор народно-хозяйственного плана [72]. Но что же осталось от романтики?

Прежде всего свободный романтический порыв, вызванный эпохой движения, возродил лирику. Стихи Ахмадулиной, Вознесенского, Евтушенко, рассказы Казакова, песни Окуджавы, «Иваново детство» Тарковского, «Листопад» Иоселиани, «Мне двадцать лет» Хуциева — все это лирика 60-х может предъявить потомству. Интимная революция оказалась плодотворной — потому, что надежнее всего была укрыта от внимания коллектива.

Еще пришла в жизнь и задержалась в ней экзотическая мечта, которая, собственно, и была романтикой в чистом виде — какая-то неведомая и прекрасная Страна Дельфиния. Она одна и осталась, когда выяснилось, что подвигов и героизма так повсюду

много, что уже и вовсе нет. Дельфиния могла бы быть где угодно — в иных галактиках, как в научной фантастике, или в собственной комнате, отгороженной от окружающего мира чем-то личным, своим: обычно, по-российски, книгами.

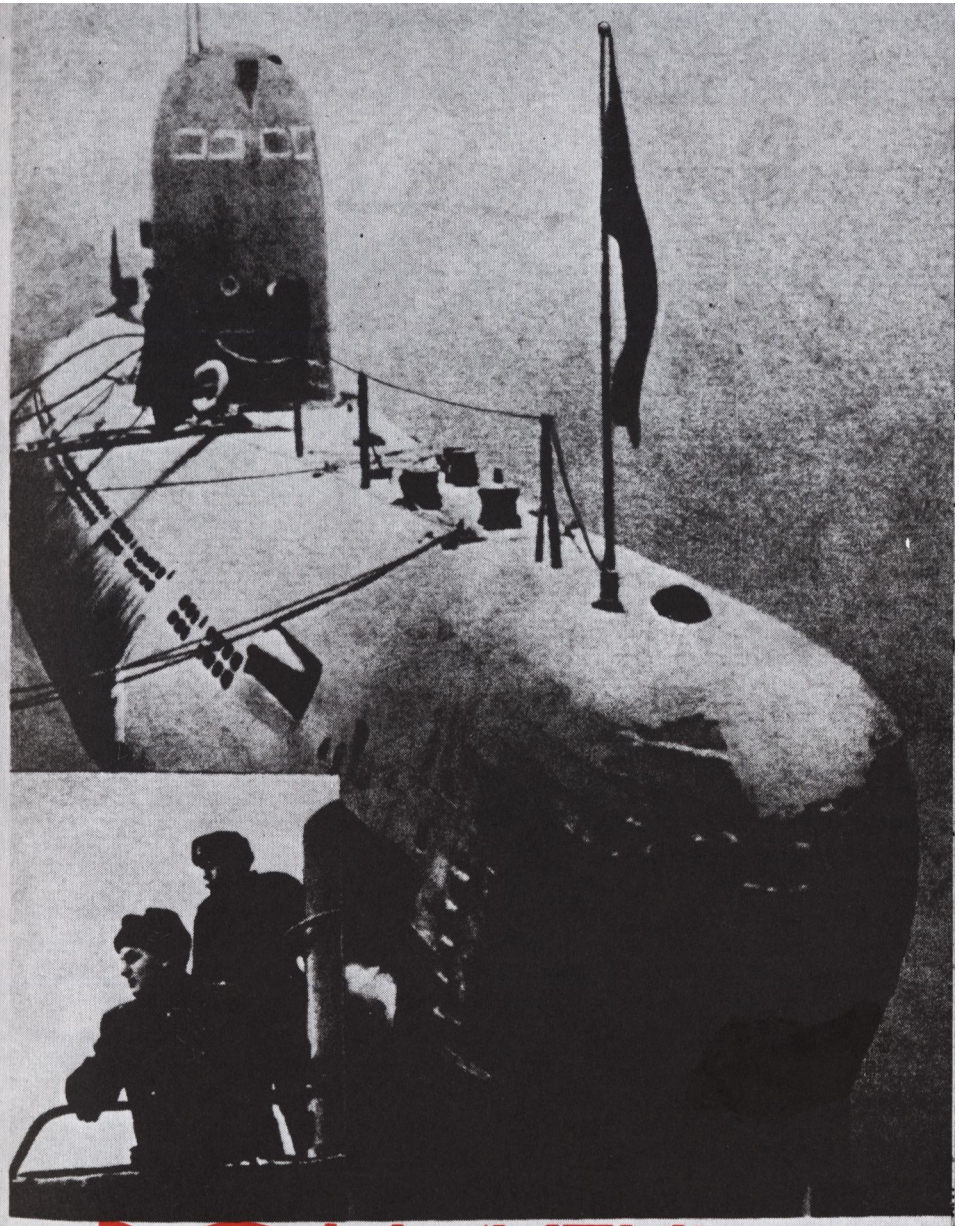
Теперь романтик меланхолически собирался в заведомо иллюзорный путь: «Право, уйду! Наймусь к фата-моргане!»[73] Романтическая дорога обрела черты мифа: «У Геркулесовых Столбов лежит моя дорога, у Геркулесовых Столбов, где плавал Одиссей...»[74] Жаргон остался, и Евтушенко простодушно признавался:

Мне очень хочется прикрас.
И возникают, потрясая,
Каракас, пестрый, как баркас,
и каруселью — Кюрасао[75].

Поскольку было ясно, что нормальному человеку Кюрасао не увидеть, как Дельфинию, то оставалось только по старинке грустить о Париже у костра. Да и костер стал не так уж нужен: отказываться от комфорта стоило ради дороги, а она так явно вела никуда...

Еще называли «Зурбаганами» траулеры, а «Аэлитами» кафе и дочек, еще кто-то привычно бренчал про то, как «в флибустьерском дальнем синем море бригантина поднимает паруса»[76]. Но уже были смешны эти кукольные флибустьеры — такие игрушечные с безнадежно далекой дистанции. Бригантина поднимала паруса, чтобы уходить, и романтика обретала совсем иной, отвратительно обыденный, облик: «На безопасном расстоянии, маскируясь под обыкновенного культработника, плелась Романтика...»[77]

Коллектив оказался сам по себе, занятый своей Интересной Работой — всегда и неизменно творческой, героической, важной и нужной. А мечтатели остались мечтать. И вот уже созидатели-коллективисты мчатся вперед, к подвигам, и «вроде колбасится за ними по дороге распроклятая Романтика, а может, это была просто пыль»[78].



Бригантина поднимала паруса, чтобы уходить, и романтика обретала совсем иной, отвратительно обыденный, облик.

Невыдуманная романтика



ЮМОР

СМЕХ БЕЗ ПРИЧИНЫ





Плакаты, заголовки газет, радиопесни, призывы с трибун — все напоминало человеку 60-х: жизнь прекрасна! А прекрасна она прежде всего потому, что будет еще прекраснее. В то время, как сталинские годы постулировали: жить стало лучше, жить стало веселей,— 60-е делали упор на предстоящих радостях. Одно дело, когда о наличии счастья рассказывают с трибуны, другое — когда его ожидание каждый воспринимает по-своему и по-своему трактует.

Если завоеванием эпохи считалась победа правды над ложью, то вслед за этими антагонистами выстраивались, как свита, пары непримиримых врагов. Горе — радость, страдание — веселье, слезы — смех, мрачность — яркость, тьма — свет, тяжесть — легкость, застой — порыв.

Мало было запуска человека в космос, но и сам человек этот должен быть нов и свеж. Чуть ли не больше знаменитого полета Гагарина радовал сам Гагарин: его открытое лицо, его ослепительная улыбка, его незатейливое обаяние. Впервые, кажется, советская страна озаботилась красивой упаковкой для хорошей и полезной вещи: «Красиво и изящно шел он по дорожке к трибуне навстречу членам правительства, красиво стоял на Мавзолее... Представьте себе, что вместо Юрия Гагарина из самолета вышел бы медведеподобный, грубый парень, который вперевалку пошел бы к трибуне... Половина обаяния его подвига пропала бы для нас»[79].

Время антитез, противостояний, крайностей порождало такой стиль и такой способ мышления: если «вперевалку» — то лучше уж и вовсе не лететь.

Начальник, внедряющий полимеры, не мог чиновно бубнить, носить френч и не сыпать поминутно шутками. Последнее было самым важным: смех.

Прежде тоже смеялись. Мрачные годы отмечены веселыми комедиями, вроде «Горячих денечков» (1936), «Искателей счастья» (1936), «Богатой невесты» (1937). Но этот смех был локален: смеялись в строго отведенных для этого местах, в строго отведенное время. И главное — смех вызывали отрицательные явления, подвергнутые осмеянию. Положительные образцы могли вызывать только уважение, почтительность, благоговение.

В 60-е смеялись все и смеялись не «над чем», а «отчего». История смеха рисует довольно отчетливую схему противостояния двух родственных понятий: смешного и веселого. Например, Дон Кихот и Чичиков очень смешны, но совершенно не веселы, Пантагрюэль и Остап Бендер — наоборот. Зощенко пишет смешно, а Пушкин — весело. Смешное имеет отношение к объекту — то есть к вопросу, над кем и над чем смех. Веселость — свойство

субъекта, то есть мировоззрения, тонуса, настроения. В этом смысле 60-е были веселыми: настрой задавался вектором — от лжи к правде, от зла к добру.

«Как хорошо жить на земле, когда всегда перед глазами линия горизонта! Как хорошо, что земля — шар!»[80]

Вот это ощущение не до конца понятого восторга, особую прелесть которому придавала именно недоговоренность, было по-настоящему искренним и новым. Это чувство господствовало в одном из характерных фильмов тех лет — «Я шагаю по Москве»: «Все молодые герои, населяющие картину, живут «душа нараспашку», с завидной, ничем не замутненной открытостью»[81]. И гимном неясному восторгу стала песня из фильма: «Бывает все на свете хорошо, в чем дело сразу не поймешь...»

Бодрость имела вполне реальное физическое воплощение. Даже по воскресеньям всех будило радиосопрано: «С добрым утром, с добрым утром и с хорошим днем!» — с 60-го года эта передача стала частью жизни для всей страны. Что касается будней, то день начинался с зарядки.

«Доброе утро, товарищи! Встали. Распрямите корпус. Прямее! Прямее! А теперь прогнулись. И — выпрямились. Очень хорошо. Поставьте ноги на ширину плеч. Вот так. Руки в стороны. Разводя руки, глубокий вдо-о-ох. Вы-ы-ыдох... А теперь переходите к водным процедурам. Шагом марш!»

И весь Советский Союз шагал на водные процедуры, из которых главной можно считать обтирание мокрым полотенцем: ванных и душей в коммунальных квартирах явно не хватало.

Роль холодной воды и холода вообще представляется в те годы непомерной. Шумной сенсацией стало открытие зимнего бассейна «Москва» (на месте снесенного храма Христа Спасителя). Бюрократов в фельетонах помещали под ледяной душ критики. Реальной ледяной водой приводили в чувство пьяниц в вытрезвителях. Трудновоспитуемый хулиган в кинокомедии начинает исправление в рабочей бригаде именно с добровольно принятого холодного душа. Любимцы фотокорреспондентов «моржи» излучали бодрость и веселье: «Прощаясь друг с другом, любители зимнего купания в шутку говорят: «Будьте моржовы!»[82]

Всюду подчеркивалось: красота России — северная, зимняя, и русская красавица обязана быть в шубе, отороченной инеем. Не зря очарованный деревенскими банями поэт четко противопоставляет нашу морозную бодрость их неге: «Слабовато Ренуару до таких сибирских „ню“!»[83] Впрочем, в 60-е, с их западничеством, настоящая русская красавица стояла на снегу, но в бикини, на традиционных русских лыжах, но с альпийским горным уклоном: тогда были популярны репортажи откуда-нибудь из Бакуриани.

Положительный персонаж проявлял себя преимущественно в зимних условиях, продуцируя здоровую бодрость: «Эдик весь заиндевел, видно, долго болтался по морозу. ...Он всегда заявлялся из какого-то особого, спортивного, крепкого мира» [84]. И если герой Саша Зеленин лихо катался на лыжах, бегал зимой в одной рубашке и «ходил без шапки, вызывая удивление местных жителей», то совсем в иной обстановке пребывал его антагонист Федька Бугров: «Синие спирали табачного дыма медленно плыли под низким потолком. После свежего воздуха здесь было трудно дышать. Пахло потом, сивушным духом, паленым тряпьем» [85]. Такая нездоровая атмосфера — все та же ложь, принявшая бытовой облик: ложь — скрытность — закрытость — спертость — затхлость. Духота и прохлада как противоборствующие этические категории напоминали о застойности прошлого и бодрой легкости будущего.

Это же противостояние обслуживала вся эстетика 60-х: одежда, архитектура, мебель, манеры поведения. Само слово «эстетика» только что перекочевало из философских трактатов в популярные журналы, и никого не шокировал заголовок «Эстетика колхозного рынка» [86]. Красивым было все, потому что красивой была цель: «Неприлично, когда из-под юбки торчат штаны, неприлично, когда женщина, одетая в юбку, взбирается на леса, и не только вполне прилично, но и необходимо надевать брюки женщине — строителю, крановщице, сварщице...» [87] Никто не сомневался, что женщина должна варить сталь и месить бетон, но — изящно и эстетично.

Майор с Дальнего Востока начал широкую дискуссию: «Достойно ли занятие для женщины — манекенщица?» [88], и общество уверенно отвечало: вполне. Строгие, прямые линии побеждали барочные завитушки эпохи украшательства; намек на усложненность рисунка или изысканность ткани связывался с мещанством, поражал неудобством: в разные годы их атрибутами были тяжелые ботинки на толстой рубчатой подошве, остроносые тесные туфли, обтягивающие брюки «дудочки», захлестывающие шаг клеши, напомаженные «коки», застилающие взор челки.

Иным был облик правильного человека: «Когда в костюме с узкими лацканами, во вьетнамской рубашке да с польским галстуком иду в ресторан с девочкой, тут совсем другая песня» [89]. В идеальном костюме удобно было и танцевать твист, и мчаться на ночной пожар, и бить морду пошляку. То есть внешность никогда не затеняла сути, и гордясь победами советских манекенщиц на международных смотрах, следовало подчеркнуть: «И все говорят не столько о белизне зубов, длине ног, объеме талии и бедер, сколько об образе советской женщины» [90].

Переворот произошел и в цветной гамме страны. Запестрели щиты реклам, оживились витрины, засияли неоновые вывески. Граждане одинаково, на манер Китая, наряженные в китайские же синие плащи, вдруг накрутили яркие шарфы, надели светлые пальто и вышли на пляж в пестрых ситцевых халатах. Никого не смущали безумные сочетания ярко-красного с ярко-зеленым — «рязанская гамма» [91].

Изменился интерьер квартир: стало модно красить стены одной комнаты в разные цвета. Самые передовые отваживались на ультрамариновый потолок и алую уборную. Специалисты советовали: «На одноцветных покрывалах следует делать подушки двух или трех цветов. Например, серо-синие покрывала и малиновые, желтые и зеленые подушки» [92].

Такой детсадовский вид жилища подчеркивался характером мебели: низкими столиками, складными диванами, гибридом «шкафом-кроватью». В результате дом получался не крепостью, а кукольным домиком.

Яркость эпохи отразилась на лице народа буквально: в косметике. Прежде применение косметики носило корпоративный характер; красились женщины из мира искусства, или зрительницы в театре, или — наконец — женщины легкого поведения. Массовое употребление косметики стало протестом против мещанского ханжества и закреплением права на красоту в индивидуальном порядке.

Бодрая эпоха повлияла даже на меню, поэтому в ресторане подавалась вырезка в соусе «Модерн» и телячья паровая котлета «Радость» [93].

Если же котлета участвовала в борьбе за новое, то ясно, что веселым настроем, боевым огоньком, звонким смехом откликнулись литература, музыка, театр, кино. По всей стране шли дискуссии о месте комедии в советской жизни, неизменно подводившие оптимистический итог: комедии — быть! Радио и грамзаписи безудержно тиражировали песни, лишенные идеологического содержания, как, впрочем, и любого другого:

По Кузнецкому мосту я иду на Сретенку,
А навстречу мне идут москвичи-прохожие
И, наверное, поют что-нибудь веселое [94].

Вся суть здесь — в слове «что-нибудь». Собственно, это и была идеология: неважно что, лишь бы весело.

Смеховой переворот произошел в кино. Консерваторы сетовали на засилье «смеха без причины», но именно веселый, громкий, идеологически не нагруженный смех ярче всего иллюстрировал идею внезапной свободы. В зрелищных искусствах эта непредсказуемая раскованность именуется эксцентрикой.

Кинематограф с эксцентрики начинал: первым настоящим фильмом был «Политый поливальщик» 1895 года. В 1924 году самым популярным фильмом Советской России был призван боевик «Красные дьяволята»[95], привлекший зрителей отнюдь не идейным содержанием, а уморительными трюками. Не случайно 60-е, эстетически ориентированные на искусство 20-х, выдали свою версию «Дьяволят» — картину «Неуловимые мстители», где главное, как и сорок лет назад, это «ощущение полноты сил, безграничных возможностей молодых бойцов революций», которые «самозабвенно отдаются веселой, стремительной игре»[96].

Но подлинными героями комедийного кино были режиссеры Эльдар Рязанов и Леонид Гайдай. Рязановский «Человек ниоткуда» — первый эксцентрический опыт 60-х — поражает дикой эклектикой, отражающей эклектику всей эпохи. В «Человеке ниоткуда», по свидетельству режиссера, «причудливо переплетаются реальная действительность и сон, фантастика. Персонажи то говорят прозой, то вещают стихами... Философские частушки сменяются остротами, дикари-людоеды наблюдают за запуском ракеты, седобородые академики поют куплеты и пляшут»[97]. Незамутненной чистотой смеха радовали ленты Гайдая — «Пес Барбос и необычный кросс», «Самогонщики», «Операция Ы». Стремительное мельтешение по экрану, вызывавшее приступы животного хохота, было рождено стихией освобождения. Так беспорядочно машет руками и бессмысленно смеется выпущенный из неволи человек.

Однако глубокое, веками выношенное, убеждение в том, что все веселое — обязательно поверхностно, несерьезно, легковесно, противостояло крепнущей тенденции тотального смеха. Поскольку на стороне серьезности была власть (новаторы владели умами, но не постами), то несерьезность искоренялась прежде всего силой. Стиляг изгоняли из комсомола и института, не принимали на работу и стригли на улицах, эстрадные концерты отменяли, молодежные клубы и кафе закрывали, комедии вычеркивали из репертуаров и сценарных планов.

Веселость признавалась только идейно осмысленная:

> Я принесла домой с фронтов России
> Веселое презрение к тряпью...[98]

Серьезные люди тревожились: «Бывает, что какая-то часть молодежи ищет и ждет от жизни прежде всего удовольствия и веселья»[99].

Основательный Ефремов описывал серьезное светлое будущее: «Исчезли совсем... словесные тонкости — речевые и письменные ухищрения. Прекратилось совсем писание как музыка слов,

исчезло искусное жонглирование словами, так называемое остроумие»[100].

Веселые шестидесятники пытались объяснять, что они смеются с большим серьезным подтекстом:

«Как! К юбилею Отечественной войны 1812 года выступить с легкомысленной комедией: смакующей пьянки дворян и их любовные забавы? Это невозможно»,— говорили мне ответственные работники»,— жалуется Э. Рязанов и тут же побивает противника: «Патриотические побуждения придали поступкам героев важный смысл... Произведение сразу же перестало быть легким пустячком». И далее: «Нам хотелось показать, как ненависть к захватчику словно удесятеряла силы русских... Так что трюки в „Гусарской балладе“ были введены отнюдь не только для развлечения...»[101]

В глубине души смехачи 60-х чувствовали, что протаскивают что-то не вполне законное, вроде порнографии. Они ведь тоже знали, что смех — преступен, потому что разрушителен в своей основе. Даже насквозь шутливая молодежная проза знала свой предел:

«— Ребята, выпьем за дружбу,— тихо сказал Зеленин и встал.

— Виват! — закричали все разом, и каждый подумал, как хорошо, что Сашка пришел на выручку и без дымовой завесы шутовства сказал то, о чем думал каждый»[102].

Но в борьбе с консерваторами весельчаки демонстрировали тактическое мастерство полемики. Тут на выручку приходили авторитеты. В те годы к месту и не к месту цитировались слова Маркса: «Это нужно для того, чтобы человечество весело расставалось со своим прошлым»[103]. Маркс получался завзятым шестидесятником.

Марксову формулу сопровождал знаменитый ленинский смех. 60-е окунули Ильича в большевистскую простоту и комсомольский задор. В новой трактовке Ленин без устали сыпал глупыми и скабрезными шутками: «Вот вам очередное чудовищное колебнутие мелкого буржуа», «Нет, господа-товарищи, даму с ребенком снова невинной не сделаешь!» Ленин был просто болезненно, невпопад смешлив:

«Петровский. ...Сразу после Октября декрет об отмене смертной казни.

Коллонтай. А вы помните, как отреагировал на это Ильич? Как он расхохотался. Я отлично помню его слова! «Как же можно совершить революцию без расстрелов?..»[104]

Для революционных мемуаров тех лет комические сцены были обычны: «Какой хохот стоял на заседании Военно-революционного комитета», «Были они веселые, сильные, озорные», «А сколько тогда смеялись!»[105]

Злодейство Сталина воспринималось мрачным, серым, тоскливым провалом, окаймленным комическими образами двух весельчаков — Ленина и Хрущева.

Хрущев и в самом деле любил посмеяться. Два десятка ремарок «Смех» и «Оживление в зале» сопровождают Отчетный доклад на XXII съезде, даже в разделе «Преодоление последствий культа личности». Уровень шуток такой же, как у Ленина: «Акуля, что шьешь не оттуля?», «Не сеять, не жать, а только пироги поедать», «Битие определяет сознание» [106]. Державный смех трансформировался в поголовный всесоюзный хохот. И если уж глава правительства стучал ботинком по трибуне ООН [107] и обещал капиталистам показать «кузькину мать», то понятно, что в стране воцарилась разнузданная веселость.

Смехом заинтересовались всерьез. Настолько, что популярные издания занялись научным исследованием феномена: «Воздух, ритмично проталкиваясь через это узкое отверстие, порождает те самые отрывистые звуки (например, «ха-ха-ха»), которые служат специфической характеристикой смеха» [108]. И это — безо всяких шуток.

Благотворная роль смеха, веселья, юмора сомнений не вызывала. В течение долгих лет крайности жизни — трагедия и смех — приходили неполными, искаженными, фальшивыми. Общество, потрясенное крайней, неведомой прежде, степенью трагизма (лагеря), задохнулось и рванулось к свежему глотку воздуха — настоящей, запретной прежде веселости. Смех стал синонимом правды.

У правды-смеха были две задачи: разрушение негативного и утверждение позитивного начала. С первой отлично справлялась сатира, мало отличавшаяся от сатиры предыдущих лет: все те же утрированные негодяи, все та же вера в немедленный результат разоблачения.

Новым было представление о том, что только веселый человек — хороший [109]. Смех воспевал свободу — в том смысле, что противостоял всему неподвижному, застойному, зажатому: то есть несвободе. Вера в благодетельность смеха царила повсеместно: от расхожей шутки «пять минут смеха — двести грамм сметаны» до прямой декларации: «Жить надо с хорошим настроением. Если человека рассмешить, он ни на какую подлость не способен!» [110]

На журнальном рисунке в бане играет эстрадный оркестр: «У всех квартиры с ванными. Приходится чем-то завлекать посетителей». Растяпа: «Я, кажется, забыла снять кофейник с атомного реактора на кухне!» Модница: «Джерси все возрасты покорны!» [111] Добрый юмор — это все тот же жизнеутверждающий

смех без причины, как и в эксцентрических комедиях: бывает все на свете хорошо...

Попутно отмечалась иная природа «их» веселости — грубая, низменная, надрывная:

> В «найт-клаб» взахлеб хохочет саксофон,
> Готовый диким смехом подавиться.
> Отборной бранью сыплет в микрофон
> Невыносимо стильная девица [112].

Зато добром и радостью веет от признания шахтерского паренька: «Какой я артист, просто люблю петь в забое!» [113]

Всесоюзная вакханалия шуток обязывала буквально на все откликаться юмористически, иронически, весело. Широко распространились типы шутников: балагуры, каламбуристы, острячки-интеллектуалы, «юморные» ребята, ироничные супермены. Самый простой вопрос вызывал лавину острот: «Бригадир, рубать чего будем? — Устриц в томате, — отвечает Рыбкин, — и омаров на постном масле» [114]. «Ну, как жизнь?.. — Бьет ключом и все по голове» [115]. Даже о любви следовало рассказывать с претензией на остроумие: «Я почувствовал, что еще минута — и я к ней прилипну, и весь транспорт московского коммунального хозяйства меня не оттащит от нее до пяти утра» [116].

Журналистика, регламентированная в содержании, взяла свое в форме: лихие зачины, эффектные концовки, прибаутки и анекдоты украшали каждую статью. Особенно развилось, с легкой руки редактора «Известий» Алексея Аджубея, зятя Хрущева, смелое искусство заголовков и подписей под фотографиями. Тут никого не волновало ни соответствие формы содержанию, ни простой здравый смысл: «Косинус альфа кроит пиджак», «Турбинные ювелиры», «Осетры полетят в Монреаль», «Жители этого города приготовили свой утренний завтрак на энергии расщепленного урана» [117].

Под стать времени были и кумиры. Истеричную любовь испытывала вся страна к Аркадию Райкину. Согласно популярному анекдоту, в будущей энциклопедии напишут: «Хрущев — политический деятель в эпоху великого Райкина». Отягощенный славой, сам Райкин — в соответствии с тенденцией борьбы серьезного с веселым — рассматривал себя шире: «Я всегда стараюсь найти лирику в образе» [118]. Но никому не было дела ни до лирики, ни до сатиры. Страна взахлеб повторяла райкинские словечки, вроде «Уже смеюсь!» и «Бу'сделано!»

То же самое произошло с любимыми писателями 60-х — Ильфом и Петровым. Воскрешенные романы 30-х годов — «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» не воспринимались как

цельное повествование с сюжетом и композицией, а «с легкостью разменивались на десятки и сотни афоризмов...; они растаскивались на цитаты-блоки, цитаты-плиты, цитаты-кирпичики...»[119] Поднаторевший в Ильфе и Петрове человек мог практически на любую тему объясниться с помощью цитат из этих книг.

Повсеместное цитирование возникло для удобства. Цитаты были профессиональным кодом шестидесятников, выполняя еще и функцию опознавательности: по первым же словам угадывался единомышленник или идейный противник.

Цитата была оружием, которым пользовались все: и ретрограды[120], и прогрессисты. На цитаты растаскивалась не только юмористическая классика, но и от злободневных комедий не оставалось ничего, кроме реплик — впрочем, именно это обеспечивало им долгую жизнь. Хотя никто уже не помнил, что «волнение среди аборигенов» — из Аксенова, «космические корабли бороздят Большой театр» — из «Операции Ы», «жить хорошо. А хорошо жить еще лучше!» — из «Кавказской пленницы». Зощенко, «Берегись автомобиля!», О. Генри, «Кабачок 13 стульев», интермедии Райкина, неисчерпаемая бездна Ильфа и Петрова — все шло в дело. В ходу были цитаты цитат: «Спокойно, Юра. Не делай из еды культа,— сказал я ему. Я слышал, так говорил Сергей Орлов — остроумный парень»[121]. У цитаты был свой триумф, когда сам Шостакович написал музыку к текстам «Нарочно не придумаешь» — рубрики «Крокодила», состоящей из смешных цитат.

Помимо опознавательно-коммуникативной, цитата выполняла и обрядовую функцию. С ее помощью происходило заклятие сил зла: в ответ на казенное клише звучало острое, веселое слово, известное благодаря цитированию всем. Но и силы добра консолидировались под знаком цитаты. 60-е как раз время редкого и недолгого совпадения официального лозунга и народного девиза. И если по радио по старинке твердили: «Человек проходит как хозяин необъятной родины своей», то шестидесятники предпочитали выражать эту мысль по-иному: «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих». Газеты выбрасывали заезженный штамп: «Задание партии — выполним и перевыполним!», а шестидесятники, имея в виду то же самое, резюмировали: «Надо, Федя!»

И еще одну функцию выполняли цитаты — может быть, самую важную: они организовывали коллективное действо. Праздничный, повсеместный, «без причины» смех — есть стихия. Тут нет разработанного сценария, распланированных мизансцен, определенных амплуа. Есть только текст, который произносят исполнители ролей, участвующие в действе. Этим текстом, этими ролями были цитаты — никем не утвержденные, кроме общественного этикета и духа времени. Именно этот общий для всех язык, понятный без напоминания и заучивания, превращал шестидесятников в соучастников, единомышленников, единоверцев.

Такой праздничный смех всегда коллективен, в отличие и от злобного хихиканья, и от саркастической ухмылки, и от издевательской насмешки — это индивидуальные радости. А когда смеются все, то жить весело вообще, и для скуки и печали нет места[122].

Театрализованное общее веселье зафиксировалось во всенародной игре — КВН, Клубе веселых и находчивых. Состязания остряков собирали тысячные аудитории, миллионы телезрителей. Лучшие капитаны КВН-ских команд были знамениты, как кинозвезды: одессит Валерий Хаит, рижанин Юрий Радзиевский. Студенческий капустник, эксплуатирующий и производящий цитаты, стал кульминацией веселья эпохи[123]. На его примере наглядно виден и спад стихии смешного.

Все дело в различии театрализованности и театральности. Пока КВВН-щики резвились без плана, пока творили прямо сейчас, неожиданно и для зрителей, и для самих себя — праздник продолжался. Праздник, предусматривающий всеобщее участие. Но постепенно импровизацию заменил сценарий, возникли заученные роли, заготовленные реплики — и капустник стал спектаклем. Праздник — мероприятием.

То же самое произошло со смехом в масштабе страны.

На смену вдохновенному скомороху-импровизатору Хрущеву пришли тусклые, безликие вожди, которые и назывались-то не по именам, а скопом: «коллективное руководство».

Беззлобная шутка, не находя питательной среды — положительного идеала,— прошла стадию насмешки и трансформировалась в разрушительную иронию.

Карнавальная площадь разделилась на сцену и зрительный зал. Общего смеха не получалось.

Веселые идеалисты с удивлением обнаружили на собственном лице не улыбку, а гримасу смеха: смеяться они устали, да и причин становилось все меньше, а привычка осталась[124]. Поскольку жизнь продолжалась, смех пришлось ввести в рамки, учитывающие время, место, обстоятельства. То есть пойти на компромисс: основу и суть цинизма.

Бодрый пафос и веселый идеализм завели общество 60-х в тупик: светлого будущего не оказалось, а неожиданная необходимость социального компромисса обернулась нравственным цинизмом. Шестидесятники заигрались.

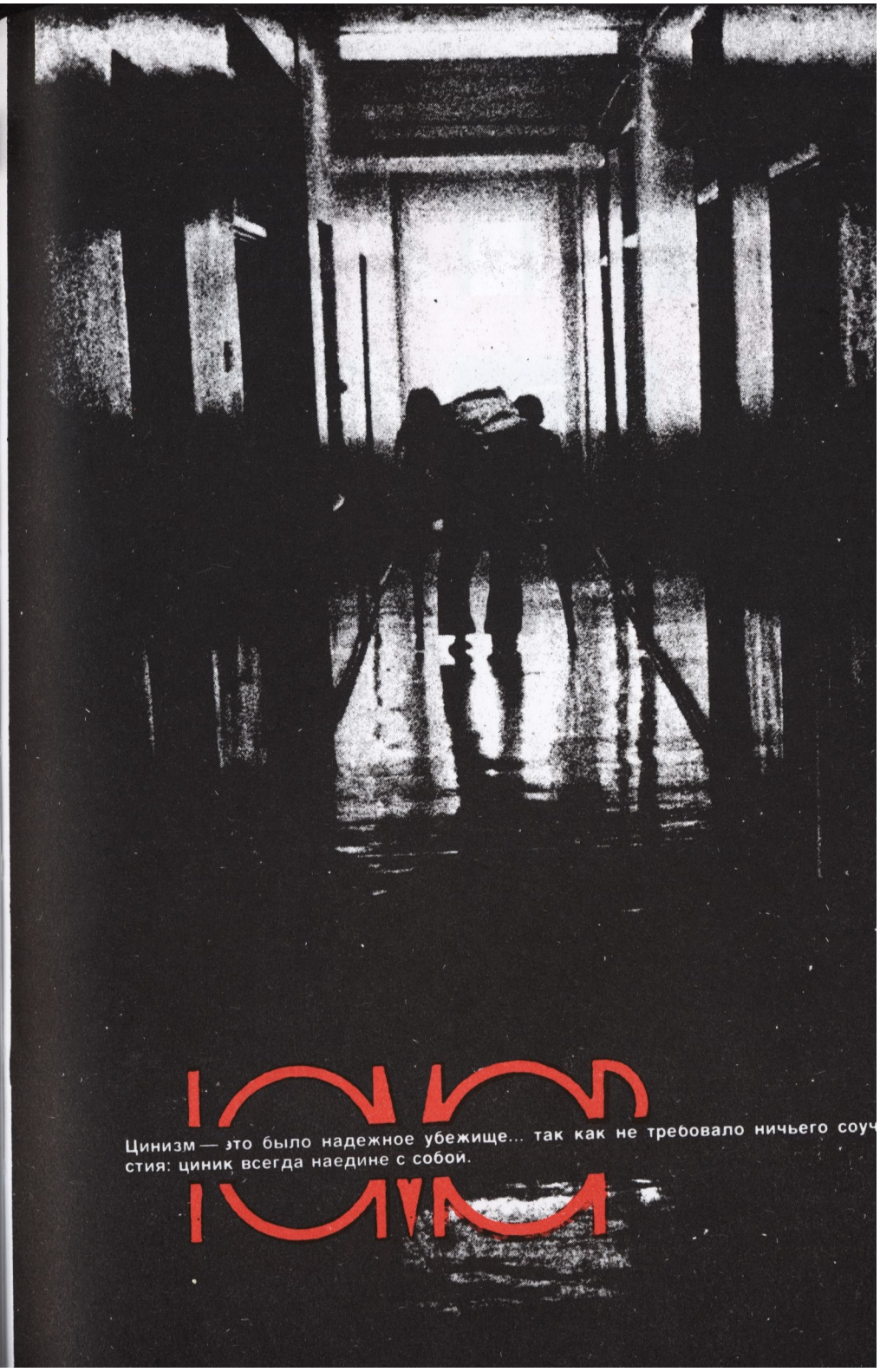
Цинизм — убежище для бывшего веселого-хорошего человека, так как не требует ничьего соучастия: циник всегда наедине с собой.

МАРШ ЭНТУЗИАСТОВ

Но индивидуализм не может быть веселым: плакать можно в одиночку, смеяться — никак. В лучшем случае — усмехаться.

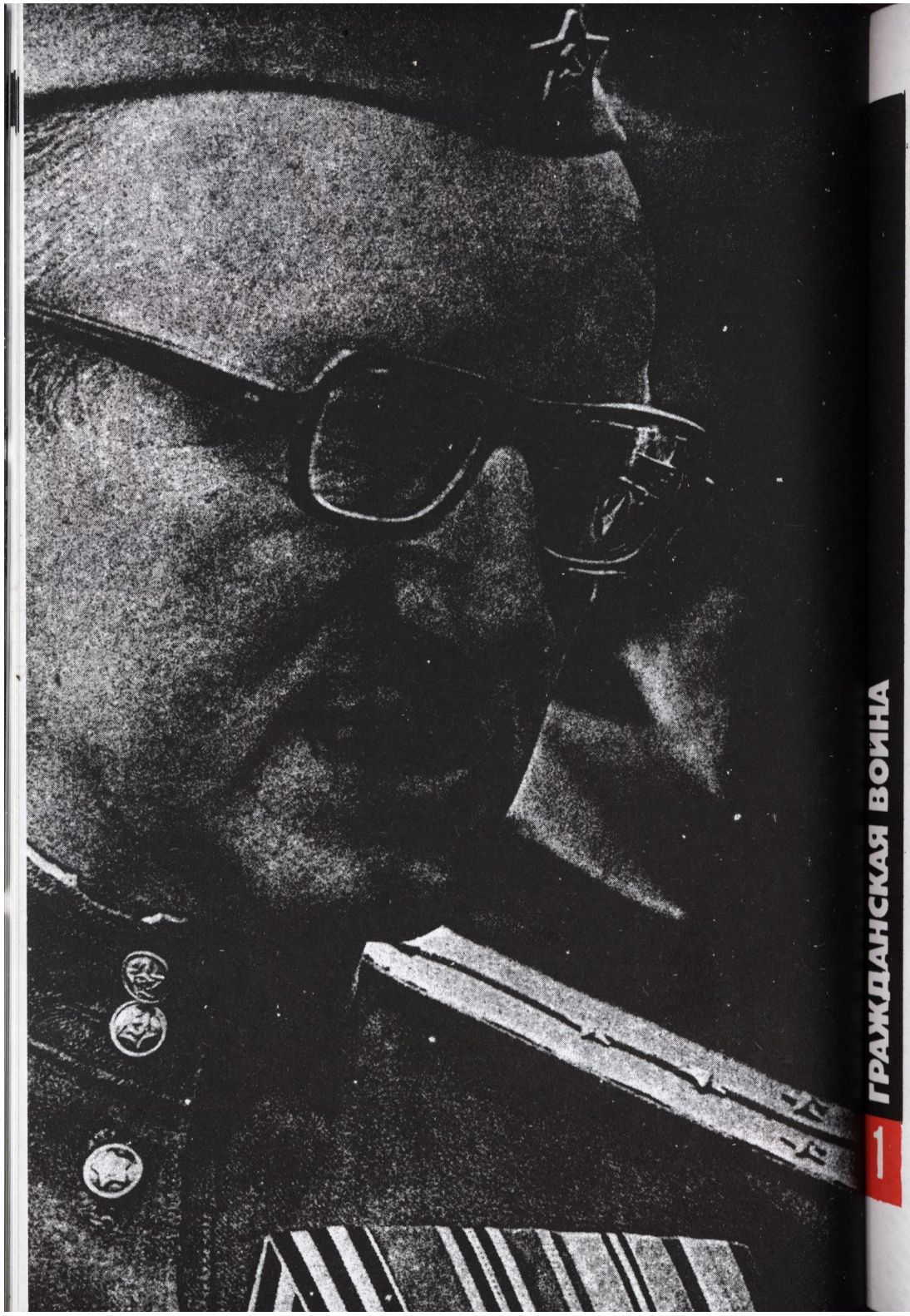
Главное, что осталось от бодрой веселости и заливистого хохота шестидесятников, — юмор. Не умение кстати сострить и вовремя засмеяться, а юмор как способ жизни, как философия, как мировоззрение. То, чему завещал нас поэт:

Храни, о юмор, юношей веселых
В ночных круговоротах тьмы и света
Великими для славы и позора
И добрыми для суетности века [125].



1 ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
2 ВЛАСТЬ МАСС
3 СЛОВО КАК ДЕЛО
4 РУИНЫ УТОПИИ





ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

1

ПОЛЕМИКА

ЧТО ДЕЛАТЬ?

КТО ВИНОВАТ?

ДИССИДЕНТСТВО

ЧЕГО ЖЕ ТЫ ХОЧЕШЬ?

БОГЕМА

Шестидесятые годы

Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

Будьте первыми

Я сейчас скажу ему:
— Топай!
Для кого-то
из нас
нет
места!

* * *

Не знаю, как вы,—
я полностью
за
людей,
которые задают вопросы...
С листьев,
звеня,
осыпаю
большие и грустные
как глаза.
Нам
начинать
уже не по
Еще

Ах, какие ветра
невежл
Ах, какие они
бессовер
Море вспенено.
Море вздыблен
Морю
нра
Ах,
ка

В подъездах
целуются парни с
А я им
завидую.
Очень завидую...
Я все это помню
до малых по
дорога еще непонят
не начата.
И сразу же —
нагром

в которых земля
для любви
предназначена!
Впервые приходится
сло
все понимать
с полуслова.
И на записки
не отве
загадочно,
долго,
сложно.
Впервые пугают
случ
И время
как вкопанное
остановилось!
И веришь в велики
сл

Ветер на юге

Ах, какие ветра

Третий лишний

Третий лишний
за столом.
Третий лишний.
И прости,
не хочу,
чтоб он слышал,
как мы шли,
качаясь,
горным Ал

Как ловили дождь
ссохшими ртами.
Как вода кипела,
булькала в

БЕСПОЩАДНАЯ ЛЮБОВЬ

ДОБРЕНЬКАЯ НЕЛЮБОВЬ

ПАРТИЙНЫЙ ЛИТЕРАТОР

В формировании первого поколения советских писателей огромную роль сыграли литераторы-большевики. В плеяде писателей-революционеров, возглавляемой А. М. Горьким, А. В. Луначарским,

В. М. Бахметьев

Писаки пишут, а жизнь идет

Всеволод КОЧЕТОВ,
делегат XXIII съезда КПСС

ПОЛЕМИКА

ЧТО ДЕЛАТЬ?

ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕН

УРОКИ ЛЮБВИ И НЕНАВИСТИ

КОЛЛЕГИ

ОТКРОВЕННОСТЬ

ЗАТОВАРЕННАЯ БОЧКОТАРА

ПОВЕСТЬ С ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯМИ И СНОВИДЕНИЯМИ

Правда была отнюдь не бесспорным понятием в стране, где этим словом называлась главная газета.

Та правда, которая появилась сразу после смерти Сталина, в новомировской статье В. Померанцева[1], называлась еще искренностью. Но в 60-е правда уже без всяких эвфемизмов проявилась на страницах партийной прессы, и больше всего правды говорил первый секретарь ЦК КПСС.

Бестселлер советской прессы 60-х — Заключительный доклад Хрущева на XXII съезде — строился на драматическом конфликте между стремлением автора рассказать правду и намерением Молотова — Кагановича ее скрыть. За это, кстати, а не за свои предыдущие преступления, фракционеры и поплатились.

Но правда была шире партийных интриг. Она не помещалась на обширных газетных полосах. Сам Хрущев не обладал ею полностью, что придавало докладу детективный характер.

Хрущев приглашал всю страну участвовать в поисках истины. Задавая съезду опасный вопрос «Возможно ли появление различных мнений в отдельные периоды, особенно на переломных этапах?», он сам отвечал твердо и ясно: «Возможно»[2].

Призыв Хрущева был услышал. Разъяснение правды стало общенародным делом. Диспут — формой общественной жизни. Вопросительный знак решительно заменил восклицательный. Истину можно было найти только в споре. Любую истину — «Есть ли жизнь на Марсе?», «Физики или лирики?», «Чего же ты хочешь», «Что делать?». Поиски ответов разделили общество на антагонистические группы.

Одну из них возглавил редактор «Нового мира», автор бессмертного (в 60-е — буквально) «Теркина» А. Т. Твардовский. Его съездовская речь представляла собой ясную программу реализации хрущевских тезисов. Строилась она, естественно, на главном из них — правде, которую Твардовский упомянул девять раз, включая однокоренные слова и исключая название газеты.

Дело писателя, «настоящего помощника партии», подготовить «нравственное обеспечение коммунизма», следуя «примеру той смелости, прямоты и правдивости, который показывает партия»[3].

Несмотря на то, что речь Твардовского была лояльным послесловием к докладу Хрущева, она немедленно встретила отпор редактора «Октября» В. А. Кочетова. В своем агрессивном выступлении он тоже сформулировал программу деятельности, смысл которой сводился к охране завоеваний социализма.

Кочетов решительно отмел упреки «лакировщикам действительности», разоблачил «эстетствующих критиков», «формалистическое трюкачество», «золотые медали», «лавровые венки» и даже «боярские расписные терема».

Всему этому он противопоставил право писателей писать о «делах и думах ставропольских колхозников и о металлургах Урала». Заниматься этой литературой должны были поименно указанные писатели в количестве 38 человек, от Михаила Шолохова до Ивана Мельниченко[4].

Объективно кочетовская программа была направлена не только против Твардовского, но и против Хрущева. Не случайно правда в ней упоминалась только однажды, да и то в цитате из партийных документов.

Так, даже не выходя из Дворца съездов, вожди «либералов» и «охранителей» начали отчаянную борьбу между правдой и кривдой. Борьбу, которая придала 60-м незабываемый полемический характер.

Схватка началась в неравных условиях. Фактически главным либералом вообще был самый главный человек в стране. Только Хрущеву позволялось доходить до рискованных пределов (например, обличать не только Сталина, но и президиум сталинского ЦК).

На стороне левых была партия, правительство и будущий коммунизм. У правых было только прошлое — завоевания Октября и уже построенный социализм, который их враги хотели разломать ради грядущего.

Силы были явно неравны, поэтому нет ничего удивительного, что все новое и интересное в 60-е происходило в лагере либералов и их бастионе — «Новом мире».

Однако, сказав основное (про Сталина и коммунизм), съезд переложил на плечи общественности дальнейшее уточнение правды.

Правда оказалась такой же многоликой, как и предыдущая ложь. Начавшись с политики, она проникла во все области советской жизни, безвозвратно изменив ее.

Твардовский сразу приспособил эту правду к главной идеологической силе в стране — к литературе. Он сделал девизом своего журнала бескомпромиссный реализм, который понимался предельно просто — «правда о жизни».

Если раньше писатель изображал жизнь в преломлении магического кристалла (коммунистические убеждения), то теперь — так как есть.

Образцы, указанные Твардовским на съезде — «Районные будни» В. Овечкина, «Деревенский дневник» Е. Дороша и замолчанный, но подразумеваемый роман В. Дудинцева «Не хлебом единым» — явились приглашением к делу: писать правду, во всей ее полноте, включая и неприятные оттенки этой полноты.

Художественная логика новомировского реализма вела к тому, что отрицательным сторонам жизни противостоят не положительные, а стремление раскрыть правду об отрицательных.

Наглядно эта логика проявляется, например, в программной повести В. Войновича «Хочу быть честным». Герой, разоблачая ложь, находит опору не во вмешательстве правильного секретаря (как было раньше), а в собственном нравственном императиве, вынесенном в заголовок.

Так правда в смысле «истина о чем-нибудь» (например, о коллективизации) смыкалась с правдой-справедливостью. Частная, конкретная истина превращалась в отдельные проявления всеобщей нравственной Правды, которая уже не могла писаться с маленькой буквы из-за своей близости к заветной утопии.

Каждое разоблачение обмана работало на улучшение общества. В этом и заключался смысл программы Твардовского. И по этому пути шли писатели, ею вдохновленные,— В. Быков, В. Белов, Ч. Айтматов, Б. Можаев, Г. Троепольский, В. Шукшин, В. Тендряков, Ю. Домбровский, К. Воробьев, Ю. Трифонов, С. Залыгин, Г. Владимов, В. Войнович, В. Семин и многие другие[5].

Писатели, входящие в этот список, выгодно отличались от когорты Кочетова тем, что, теоретически разделяя с «Октябрем» общие цели, практически создавали идеальное общество не в утопическом будущем, а в реальном настоящем.

Подлинный, истинный социалистический строй существовал только внутри синих обложек «Нового мира».

Как всегда в России, наиболее четко и последовательно идеал выразил литературный критик — Владимир Лакшин. И, как всегда в России, лучше всего он это сделал подпольным образом, в самиздате. Когда было, откровенно говоря, уже поздно (1975).

В своем апологетическом очерке, отвечающем на критику Солженицына, Лакшин постулировал цели и методы «Нового мира». Он писал, что Твардовский и его журнал верили в «коммунизм как счастливое общество демократии и равенства». Партбилет, свидетельствовавший о «гипертрофированном чувстве долга», давал не права, а обязанности (сам Лакшин вступил в партию в напряженном 1966-м году). И главная обязанность коммунистов — просвещать народ: «Новый мир» прививал своим читателям умение думать, сознавать реальность своего положения и стремиться к лучшему»[6].

По Лакшину получалось, что даже если и нельзя построить коммунизм в одной, отдельно взятой стране, то это возможно сделать в одном, отдельно взятом журнале.

Писатели, критики, ученые, печатавшиеся здесь, создавали симбиоз веры и правды — они знали, как есть, и верили, что так не будет.

Просветительский пафос пышно цвел в «Новом мире». Журнал верил в возможность человечества быть счастливым.

Главным, если не единственным, инструментом «Нового мира» была правда. Ради нее можно и нужно было идти на жертвы, среди которых были художественный эксперимент, чистое искусство. Литература получила четкую задачу — воссоздавать «правду жизни». Шаг в сторону считался побегом.

Новомировская эстетика, созданная тем же В. Лакшиным, принципиально не отличала литературу от действительности. Литературный критик становился критиком вообще.

Лакшин видел в литературных героях типы, взятые из реальности, а своей задачей считал возвращение их из литературы в жизнь. Его анализ начинается с фразы «обычная черта такого сорта людей...»

Людьми он называет вымышленные существа, рожденные фантазией писателя. Лакшин это противоречие снимал при помощи ключевого понятия своей эстетики, кратко выраженной в названии знаменитого рассказа А. Яшина — «Рычаги».

В строительстве идеала все должно участвовать в общем труде. Рычаги коммунизма — это и космонавт, и балерина, и сам критик, и персонажи, с которыми он имеет дело. Стратегия определяет тактику, цель — средства.

Поэтому, скажем А. Синявский в статье о романе И. Шевцова «Тля» обвиняет автора в том, что он «выступил в роли очернителя нашей жизни и культуры»[7]. Тактические соображения тут превалируют над другими, уже высказанными к тому времени Абрамом Терцем.

Атмосфера беспощадной борьбы правых и левых, правды и кривды придавала полемике действенный характер. По идее, споры должны были кончаться выводами, лучше — оргвыводами.

Но эта же атмосфера открывала для идеологической жизни страны изощренное полемическое искусство.

Вообще-то, ни в идеалах 60-х, ни в правде, которой они поклонялись, не было ничего нового. Все это, включая новомировскую эстетику, всего лишь повторение прошлых веков — просветительского восемнадцатого, революционно-демократического девятнадцатого.

Когда утихли полемические баталии, стало заметно, что самым интересным было — не что хотели сказать 60-е, а как. Не какую правду они открыли народу, а каким образом они это делали.

60-е создали разветвленную полемическую систему, пережившую свою эпоху и оказавшую влияние на все советское общество.

Суть этой системы в том, что правду, великую и главную, нельзя было высказать прямо.

Вернее, это уже сделали, и правду можно было прочесть на любом заборе. Однако трактовка висящих на заборе лозунгов оставалась туманной. Коммунизм был несомненен, но тем сложней, да и рискованней был вопрос — как его понимать?

Элементарный ответ — партийные документы — на самом деле являлся фикцией. Из всех речей, брошюр, постановлений и решений нельзя было однозначно выяснить партийную позицию. Как любой сакральный текст, партийные документы подлежали бесконечным трактовкам. (Такую возможность продемонстрировала, кстати, редакция Третьей программы КПСС 1969 года, полностью извратившая хрущевские доктрины, не отменив ни одной из них.)

Принципиальная невнятность партийной идеологии происходила оттого, что формы и методы реализации абстрактного идеала должны были обнаружиться как раз в той самой полемике, которая заполнила 60-е. Партийная истина должна была родиться в споре. Ее и составляли враждующие стороны — Шолохов и Солженицын, Кочетов и Твардовский, «Молодая гвардия» и «Юность». Все вместе они образовали идеологическое течение эпохи, внутри которого весьма хаотически перемещалась КПСС, оснащенная не «единственно верным учением», а реальной карательно-поощрительной силой.

Самым простым, но и самым ограниченным способом воздействия на партию было — сказать ей правду в глаза. Например, о «тяжелых временах, когда никто не был застрахован от произвола и репрессий»[8]. После Хрущева это делали многие — от бунтаря Евтушенко до стукача Ермилова.

Собственно, к этому и призывал Твардовский на съезде, предлагая писателям не повторять «Правду», а говорить ее — «о хозяйственной, о производственной жизни страны... о духовной жизни нашего человека»[9].

Обо всем этом, действительно, немало сказал «Новый мир». И сделал это, как, например, Ф. Абрамов или Б. Можаев, не кривя душой.

Однако разоблачительная деятельность не привела к желаемым результатам. Критики справа видели в ней очернительство, критики слева — не понимали, как разоблачение одних пороков предотвратит появление других, считая, что осуществление идеала зависит не от обличения, допустим, сталинских преступлений, а от того, смогут ли массы воспитаться и просветиться.

Массы стали воспитывать на примере. В ход пошла классика. 60-е — эпоха расцвета литературно-исторической аналогии. Острые вопросы современности решались и в открытом диспуте, и в исторических декорациях. На Таганке тогда шла «Жизнь Галилея», в «Современнике» — «Декабристы» и «Народовольцы», МХАТ ставил «Ревизора», Козинцев снимал «Гамлета».

Исторические параллели давали 60-м культурную перспективу, вставляли эту локальную эпоху в мировой исторический процесс. Александр Островский, например, в трактовке Лакшина, поучал современников: «Без нравственной опоры, морального стержня ни таланту, ни уму нет дороги: он обречен падать и вырождаться»[10].

Эта сентенция близка к той, что приводится в «Моральном кодексе строителя коммунизма» — «высокое сознание общественного долга, нетерпимость к нарушениям общественных интересов»[11]. Но у Лакшина общий принцип конкретизируется в авторитетном и подробно разобранном примере из классики[12].

Даже тогда, когда литературе поручали «в нужную минуту предупредить о грозящих нравственных и социальных опасностях»[13], она не становилась рычагом. В конце концов, о чем еще, если не о социальных и нравственных опасностях, писали в «Новом мире»!

В 60-е годы общество, с одной стороны — сопротивлялось проповеди, с другой — подчинялось ей. Дидактические намерения убивали идею, оживлял ее — риск. Мораль могла быть услышана, только если ее провозглашали с тайного амвона.

Феномен этот называется — эзопов язык.

Теоретик эзопова языка Л. Лосев определяет это явление как особую литературную систему, «структура которой делает возможной взаимосвязь автора и читателя, скрывая одновременно от цензора непозволительное содержание»[14].

Из трех участников этого увлекательного действа главным кажется цензор. По сути, он и является автором эзопова текста.

Писатель творит по его указке или, точнее, по антиуказке. Но при этом фигура цензора абсолютно аморфна. Условия игры не позволяют ему назвать — что является «непозволительным содержанием». Его должен эмпирическим путем нащупать сам автор.

К тому же, перечень запретных тем все время меняется. Если в начале 60-х сталинские репрессии назывались сталинскими репрессиями, то в конце 60-х они получили сложное наименование «нарушения законности, отмеченные нашей памятью о 1937 годе»[15].

Можно ли сказать, что в последнем примере автор скрыл от цензора свои мысли? Вряд ли. Истинную цензуру представляет не конкретное ведомство, а критерий общественных приличий. Текст

зашифровывается не только для того, чтобы обмануть цензуру, но и для того, чтобы не оскорбить читателя чересчур откровенным высказыванием. Рискованный намек (политического, национального, эротического характера) втягивает читателя и автора в художественное поле иносказания.

Чтобы реальный объект стал предметом искусства, он должен хоть немного обобщиться, потерять грубую однозначность, завуалироваться. То есть должна выстроиться дистанция между жизнью и вымыслом. Это обогащает текст дополнительными значениями, позволяет некоторое разнообразие трактовок, превращает человека в персонаж.

Специфика советской жизни способствовала появлению грандиозной эзоповой системы. Почти любое понятие, имя, явление могло получить эзопов псевдоним. Сталин трансформировался в усатого батьку, Хрущев — в проявления волюнтаризма, еврей — в инвалида пятой группы, женщина — в товарища, 37-й год — в опричнину. Система эта настолько тотальна, что мысль, выраженная внеэзоповыми средствами, представлялась либо плоской, либо — даже — невозможной.

В 60-е поэтика эзопова языка создала свой метамир. Намеки теряют связь с тем, на что намекают. Эзопов язык постепенно отчуждается от породившей его эмпирической реальности.

Если заменить эзоповы термины теми понятиями, которые они подразумевают, то обнаружится, что 60-е остались без литературы и искусства. Даже дружеская беседа превратится в обмен декларациями.

Конечно, эзопов язык всегда подлежал внутренней декодировке. Но одновременно он существовал и в нерасшифрованном виде. Так наряду с прозаическими евреями в обществе присутствовали и более таинственные «маланцы» из повести Войновича[16].

Усложнение эзоповой системы в 60-е годы не увеличивало количество правды, контрабандой пронесенной мимо цензора, а обогатило эту правду, превращая ее в искусство.

Мир, в котором эзопова словесность замещает обыкновенную, требует особого способа восприятия. Читатель становится не пассивным субъектом, а активным соавтором. Более того, читатель превращается в члена особой партии, вступает в общество понимающих, в заговор людей, овладевших тайным — эзоповым — языком.

Дело это всегда веселое. Даже если зашифровке подвергаются самые мрачные детали советской действительности, на долю читателя всегда остается улыбка авгура. Как пишет Л. Лосев: «Внутренним содержанием эзоповского произведения является

катарсис, переживаемый читателем как победа над репрессивной властью»[17].

Можно добавить, что торжество читателя объясняется не только одураченным цензором, но и победой непрямого слова над прямым.

Произведение обретает свой истинный смысл (иногда и без ведома автора) только в восприятии всезнающего и всепонимающего читателя. Цензор же, чья функция казалась столь важной, уподобляется всего лишь приему замедления, вроде описания природы перед развязкой детектива.

Распад эзоповой системы ощущался трагедией не столько писателями, сколько читателями, которые потеряли свое особое положение соавторов.

(Любопытно, как ностальгия по эзоповым 60-м проявляется в эмиграции, где отсутствие цензуры сделало кодирование текста бессмысленным. Скажем, в солидном исследовании о советской литературе, изданном эмигрантским издательством, Сталин по-прежнему называется «рыжим конопатым грузином»[18]. Инерция эзопова восприятия мира сильней условий, вызвавших этот феномен.)

Однако эзопов язык был только частью более широкой культурной системы — иронии.

Эзопов язык подразумевал существование языка просто. Сократив имя Солженицына до «Исаич»[19], автор известного эзопова стихотворения «Белый бакен» уверен, что читатель знает полное имя-отчество писателя. И, хотя лирический «Исаич» живет жизнью, отличной от реального Александра Исаевича, связь их несомненна и обязательна.

С иронией все обстоит сложнее. Она только делает вид, что называет вещи противоположными их сущности именами. Это только школьный учебник считает, что Крылов иронизирует, называя осла «умной головой». И только люди, поверившие учебнику, способны назвать иронию — «тонкой насмешкой»[20].

Ирония, издеваясь над действительностью, безжалостно высмеивая ее, не знает, какой эта действительность должна быть.

Появление иронии в 60-е — от молодежной прозы до трагической поэмы Венедикта Ерофеева — было глубоко закономерным явлением.

А. Синявский в пророческой статье 1957 года «Что такое социалистический реализм» констатировал: «Ирония — неизменный спутник безверия и сомнения, она исчезает, как только появляется вера, не допускающая кощунства»[21].

И действительно, пока в первой половине 60-х в обществе

жила вера, иронии отводилась крыловская роль. Она прятала хорошие чувства под маской еще более хороших. Допустим, называли будни — «героическими», застенчиво скрывая газетным штампом штамп художественный.

Но когда поиски правды всерьез увлекли страну, ирония проявила свою кощунственную сущность. Она усомнилась в цели: не отрицала ее, не выдвигала противоположную, а именно усомнилась. И в самой цели, и в том, что она есть, и даже в том, что цель может быть вообще.

Опасность иронии 60-е обнаружили, когда поняли, что ее нельзя расшифровать, как это можно было сделать с эзоповым языком. Отрицая, ирония ничего не утверждает, оставаясь неуязвимой для встречной критики.

Перевернув ироническое высказывание, мы не обнаружим там осла, скрывающегося под именем «умной головы». Его там нет.

Иронией автор маскирует незнание того, что он мог бы сказать напрямую. Кощунство иронии — в ее пустоте. Это — маска, под которой нет лица.

Ирония смеется не над чем-то, а над всем, в том числе и над собой. Когда автору нечего сказать, он иронизирует. Но при этом ироническое поле, созданное писателем, порождает самостоятельное содержание. Может быть, даже не содержание, а метод, взгляд, мировоззрение.

Ирония, не зная правды, учит тому, как без правды жить.

Говоря о «великой иронической культуре XIX века», А. Синявский дает описание процесса, ее создавшего: «Само слабое соприкосновение с Богом влекло отрицание, а отрицание Его вызывало тоску по неосуществленной вере»[22].

Чем старше становились 60-е, тем заметнее становилась амплитуда подобных качелей. Приближение к идеалу вызывало все более сильное отвержение его.

Характерный пример — яркая, но не совсем понятая тогда, книга А. Белинкова «Юрий Тынянов». В Белинкове увидели еще один вариант «Нового мира». Тем более что автор дал четкое определение своего положительного героя: «Нормальный, то есть протестующий против социальной несправедливости человек».

Исследуя приключения этого человека в мире социальной несправедливости, Белинков насытил повествование множеством иронических приемов. Для создания иронического поля он применял особую поэтику сноски, знаки препинания, скобки, многословие, буквализм, тавтологию, педантические дефиниции, абзац[23].

Однако, как ни упивался читатель изящной дерзостью Белинкова, «Юрий Тынянов» был шире и опасной игры с цензурой, и своего названия, и даже авторского намерения.

Белинкова интересовало взаимоотношение человека и общества, ярче всего проявляющееся в момент революции. Не только Октябрьской, как поспешно решили все, кто читал книгу в 60-е, но революции вообще.

Ясно показав, что любая революция, уничтожив одну реакцию, порождает другую, еще худшую («проекты декабристов ничего, кроме тех же, что есть, или новых порабощений, дать не могут»[24]), Белинков столкнулся с кардинальным вопросом русской истории: что делать?

В книге Белинков подробно показывает, как тыняновский герой, Грибоедов, понимая вред революции, от этого понимания становится Молчалиным. В терминах критики 60-х это означало, что даже если не верить в правду, отказаться от борьбы за нее нельзя. Парадоксальная логика этого утверждения вела к тому, что революции не нужны, а революционеры — необходимы, ибо только в готовой к жертвам оппозиции рождается истинная культура, главный критерий которой — критика действительности. «Вся великая русская литература — это лишь то, что осталось, что не удалось уничтожить, что не было погублено в жестокой и беспощадной борьбе с нею»[25].

Трагическая ирония белинковского произведения заключалась в том, что, уже не веря в возможность правды, он не мог отказаться от сопротивления лжи. И его героям, и ему самому ложь (абсолютная монархия, советская власть, третье отделение, комитет госбезопасности) нужнее, чем правда.

Афористическое отражение создавшегося положения стало программным лозунгом советской интеллигенции: «Если ничего нельзя сделать, то нужно все видеть, все понимать, не дать обмануть себя и ни с чем не соглашаться»[26].

Однако ограниченность такой программы вскоре доказал пример самого Белинкова. В 1969 году, совершив побег, он оказался на Западе. Приобретая свободу, Белинков потерял врага.

Вторая часть его книги об Олеше[27], написанная за границей, разительно отличается от первой. Герои Белинкова, выйдя из иронического поля автора, не сказали ничего нового по сравнению с тем, что они говорили, находясь в этом поле. Они сделались менее глубокими и более декларативными. Иронический пафос, став пафосом просто, потерял свою подспудную многозначность.

Ирония всегда обманывает читателя, всегда обещает больше, чем знает. Она указывает на цель жизни, на способ ее.

Полемика начала 60-х ставила перед собой конкретную задачу — улучшить советское общество. Однако правда, ставшая естественным инструментом преобразований, не могла долго оставаться в предписанных ей рамках.

Если считать истину объективно существующей, а именно этого требовал от нее Ленин (объективная истина «не зависит от субъекта, не зависит ни от человека, ни от человечества»)[28], то стремление к ней придет в противоречие с верой, которая ни в какой истине не нуждается.

60-е убедились в этом, испытав правду во всех сферах жизни.

Начав с выяснения деталей подлинной истории (публикация стенограмм прошлых съездов, например), пришлось перейти и к более опасным темам. Так, в «Новом мире» появилась статья В. Кардина «Легенды и факты»[30], в которой предлагалось фактами заменить легенды. Среди последних оказался залп крейсера «Аврора»: залпа не было.

Кардин отбирал у истории символ. Это не означало дискредитации революции, как говорили критики, но свидетельствовало о тенденции: отменить историософскую модель, не предложив взамен ничего, кроме правды.

Публицистика, воодушевленная разоблачительным порывом XXII съезда, скоро пришла к выводу, что правда несовместима с реальной политической жизнью страны, например, с пятилетним планом.

В экономике 60-е попытались ввести в социалистическое хозяйство реальные (правдивые) категории, вроде прибыли и самоокупаемости[30].

В науке правда предопределила подъем естествознания. Генетика заменила Лысенко, кибернетика попыталась заменить бюрократию.

Даже в эстетике, вопреки новомировскому направлению[31], структурализм анализировал текст как самостоятельное и самодостаточное явление.

Путь частной правды к общей истине внес символическое значение в дискуссию по поводу статьи В. Эфроимсона «Родословная альтруизма».

Появившись в «Новом мире» в 1971 году, эта статья как бы подводила итог 60-м. Логика эпохи вела к слиянию правды-истины с правдой-справедливостью, что уравнивало точное знание со знанием нравственным. И вот профессор-генетик пишет: «В наследственной природе человека заложено нечто такое, что вечно влечет его к справедливости, к подвигам, к самоотвержению»[32].

Раньше это нечто называлось душой, но инерция еще требовала облечь открытие в научную форму объективной истины. Следующая эпоха от этих форм отказалась.

Поистине судьбоносным моментом в развитии советского общества конца 60-х стала публикация романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Эта книга совершила переворот в сознании советского интеллигента: Булгаков предложил и, что в России особенно важно, художественно обосновал совершенно отличную от привычных концепцию вселенной.

В мире Булгакова — «история не развивается, а длится». Прогресс — и социальный, и научно-технический — представляется фикцией. Вселенная есть вечная гармония, сочетающая ночь и день, тьму и свет, зло и добро. Предназначение человека, по Булгакову — творческое восприятие мира, равнозначное включение личности в вечный идеальный порядок. Понять мир значит воссоздать его, значит принять его.

Тезис, который критики 60-х сделали лозунгом — «Рукописи не горят»,— вскоре обнаружил свою метафизическую, а не социальную сущность. Рукопись — это истина о мире, но это и сам мир. Такая диалектика уже никак не соответствовала упрощенным просветительским представлениям 60-х[33].

Так идеалы этих лет — научно-технический прогресс, законность, путь нравственного усовершенствования,— придя к своему логическому завершению, отменили специфику главного идеала — коммунизма. Социалистическая система должна была обернуться парламентской демократией[34], а тезис о просвещении масс — привести к христианскому пониманию личности, при котором ген альтруизма был малоотличим от искры Божьей.

Коммунизм, строящийся при помощи правды, терял всякую связь с уже построенным социализмом. Советская история лишалась смысла. Произошло то, о чем еще в самом начале 60-х охранители предупреждали партию: завоевания Октября оказались лишними; советский образ жизни, во всем его своеобразии — неправильным; больше всего построению коммунизма мешала коммунистическая партия.

Либеральная программа потерпела крах не столько под ударами консервативной власти, сколько ввиду своих собственных противоречий.

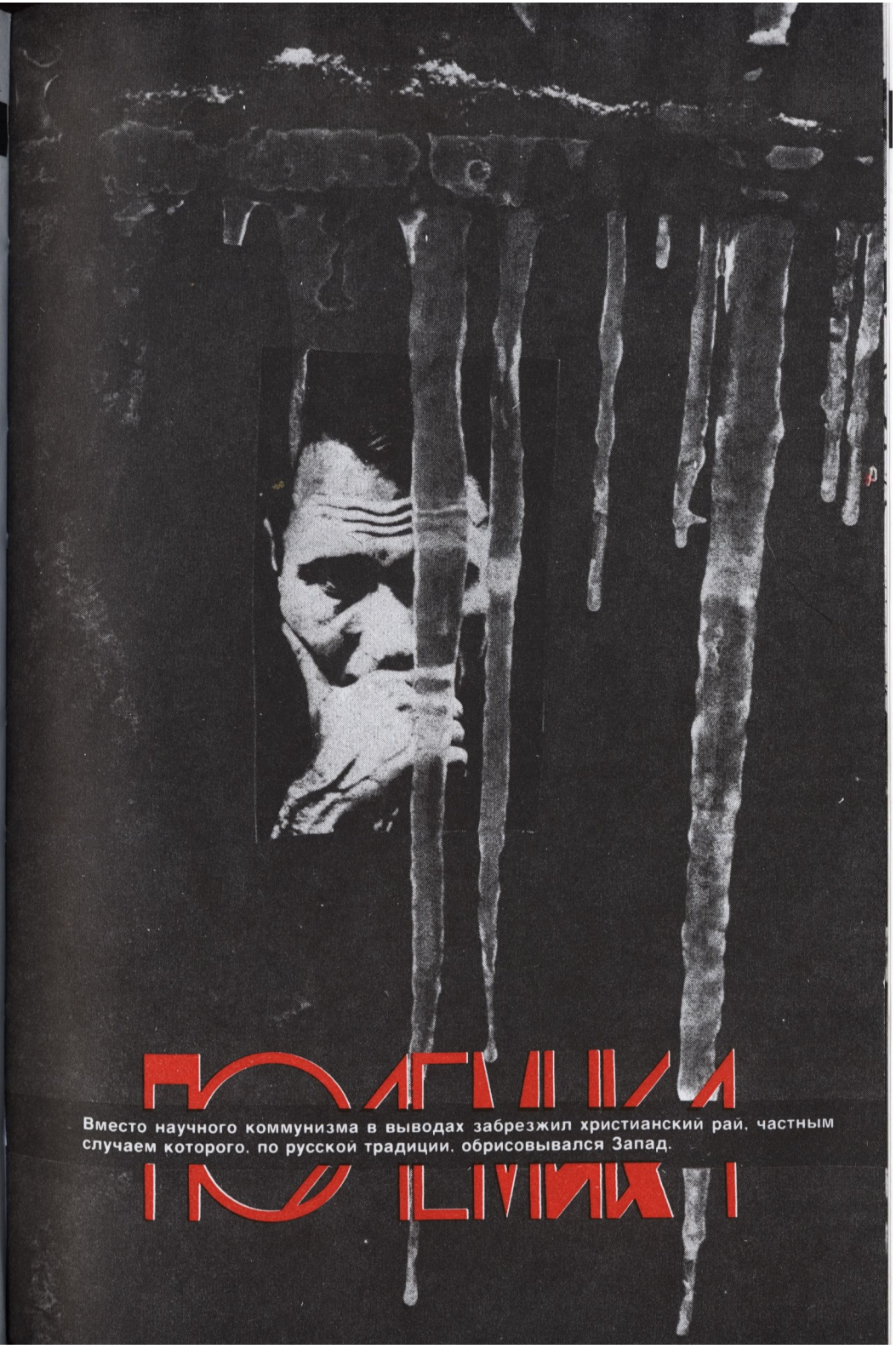
Лакшин объяснял причины поражения противоречивостью человеческой натуры: «Любой шаг в гуманистическом совершенствовании социальной структуры дается с немалым трудом и чреват откатами, разочарованиями и душевными катастрофами»[35].

Выдвигая условием осуществления утопии духовное совершенство человека, либералы из «Нового мира» возвращали

историю советского государства в общечеловеческое русло. Оказалось, что они строили не то общество, которое собирались.

Полемика 60-х, завершившаяся разгромом «Нового мира», формированием нелегальной оппозиции и движением религиозного возрождения, подвела итог эпохе.

СССР переставал быть уникальным утопическим образованием, превращаясь в рядовую сверхдержаву.



Вместо научного коммунизма в выводах забрезжил христианский рай, частным случаем которого, по русской традиции, обрисовывался Запад.


ЛАКИХ НЕ ПРОЩАЮТ
ЛИЦО КЛЕВЕТНИКОВ
Судебный процесс по уголовному делу Синявского А. Д. и Даниэля Ю. М.
ЭТО—ПРЕДАТЕЛЬСТВО
ПЕРЕВЕРТЫШ
ПРОТИВ ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ ДИВЕ
ПРИГОВОР КЛЕВЕТНИКОВ
КТО ВИНОВАТ?
ДИСИДЕНТСТВО

То явление, которое позже назвали диссидентством, возникло незаметно. Собственно, когда его участники получили это иностранное имя, все и кончилось. Не зря сами диссиденты неохотно называли себя так, предпочитая дословный перевод — «инакомыслящие». Это было все же теплее чужеродного звучания с присвистом: «диссидент». В литературоцентристском российском обществе эти нюансы имеют значение. Потому и слово «инакомыслящий» тоже не вызывает очень уж положительных эмоций, как любое слово с отрицанием и противопоставлением (анти-, контр- и т. п.). Название «правозащитники» оказалось удачнее — в нем звучала «правота».

Произошел парадокс: когда появились названия, теории, имена — движение дробилось на ряд фракций с многообразием организационных форм, идеологических направлений, тактических схем. А о неком цельном диссидентстве можно было говорить, когда сами диссиденты не имели понятия — кто они такие и как называются. Именно и только в начальный период движения, когда не было ни программ, ни уставов, когда главным ругательством были слова «партия» и «организация», диссиденты являли собой единство — партию порядочных людей.

Речь идет о факте не политическом, а общественном. У диссидентства нет истории в традиционном смысле: нет основателей, теоретиков, даты учредительного съезда, манифеста. Невозможно даже определить (особенно на ранних этапах) — кто был участником движения протеста.

Прежние «инакомыслящие» были определеннее, традиционнее: троцкисты, уклонисты, космополиты, убийцы в белых халатах. Они всегда хотели чего-то конкретного: отменить колхозы, электрификацию, обороноспособность, «нашу синеглазую сестру Белоруссию расчленить и отдать на откуп диктатору Камеруна»[36]. Фантастичность преступлений блекла по сравнению с самим фактом несогласия с режимом.

Диссиденты 60-х не предлагали ничего такого, что уже не было прокламировано властью. Партия призывала к искренности — они говорили правду. Газеты писали о восстановлении «норм законности» — диссиденты соблюдали законы тщательнее прокуратуры. С трибун твердили о необходимости критики — диссиденты этим и занимались. Слова «культ личности» стали бранными после хрущевских разоблачений Сталина — для многих путь в инакомыслие начался с опасения нового культа: «...Мы

видели, как снова замелькало со страниц газет и на афишах одно имя, как снова самое банальное и грубое выражение этого человека преподносится нам, как откровение, как квинтэссенция мудрости...»[37]

Потребность в смене жанровых и стилевых систем общества и породила инакомыслие. Закономерно, что первые шаги этого движения сделали поэты, художники, писатели. Закономерно, что из поэтических чтений у памятника Маяковскому, из одной компании, вышли лидеры столь различных направлений диссидентства, как Эдуард Кузнецов (условно — «сионист»), Владимир Осипов («славянофил»), Владимир Буковский («демократ»).

Культурная оппозиция возникла раньше любой другой и проявилась с наибольшей активностью.

Переполненные редакции и издательства (Хрущев заявил, что на лагерные темы в журналы поступило более 10000 воспоминаний)[38] выплеснули поток авторов в Самиздат.

Вообще термин «инакомыслие» неточен, потому что самым существенным в диссидентстве было инакословие. То есть в конечном счете — противопоставление общепринятому языку и стилю своего стиля и своего языка. С этим прежде всего связаны победы и поражения диссидентства — не конкретные и разовые, а глубинные и долговременные. В тех случаях, когда движение протеста принимало язык и стиль противника — оно проигрывало. Когда разрабатывало свои оригинальные методы — имело успех.

В этом смысле показательна эволюция идеи правозащиты. Правовая оппозиция оказалась самой действенной, потому что была конкретной и внятной: надо требовать от государства соблюдения его собственных законов. В идее, впервые выдвинутой Александром Есениным-Вольпиным, был и тактический смысл: нельзя требовать сразу слишком многого, пусть власть сначала научится применять свои законы, а потом можно будет перейти к их изменению.

Правозащитное движение содержало и мотив из сферы эстетики: иной принцип чтения текста — не трактовать, а воспринимать буквально.

Юридическая литература стремительно исчезла из магазинов и библиотек. Бестселлером был «Уголовно-процессуальный кодекс». Правозащитники сражались на территории противника, пользуясь его собственным оружием — то, что оружие было

чужим, и оказалось решающим фактором. Когда прошла новизна, осталось главное: власть знала тот язык, на котором говорили с ней диссиденты, и если даже проигрывала в отдельных стычках, то в полной мере могла использовать свое стратегическое преимущество — например, то, что она все-таки власть.

Углубление в правовую специфику порождало профессионалов среди любителей, таких, как Вольпин, Чалидзе, Юлиус Телесин, Владимир Альбрехт. Но часто юридическая игра замыкалась сама на себе, превращаясь в схоластическое упражнение: «На вопрос следователя: «Давали ли вы для прочтения и если давали, то кому, ваше заявление № 3» — Юлиус отвечал: «Ответом на ваш вопрос № 9 может служить мой ответ № 7»,— так что к концу допроса ни следователь, ни Телесин, ни тем более читатель протокола не могли понять, что на что является ответом» [39].

Правозащитная тактика была господствующей в диссидентстве. Андрей Амальрик вспоминал: «Я заспорил со священником Сергием Желудковым, говоря, что мы к власти можем обращаться только с вопросами формально-правового порядка, но не идейного: мы не можем обсуждать наши идеи с теми, кто сажает за идеи в тюрьму. И почти убедил его в своей правоте — чтоб затем самому в ней усомниться» [40].

Идее может противостоять только идея (не танки). Вопросы «формально-правового порядка» уместны в демократически развитом обществе. Диссиденты же, ведя себя как свободные люди в несвободной стране, опередили события. Проще говоря — проиграли. Но это в том случае, если считать целью победу. А целью и было средство — свободное поведение, создание прецедента, формирование общественного мнения. Но это уже и есть идея — нравственная оппозиция.

Отвечая на извечный вопрос российской интеллигенции — кто виноват? — самые последовательные из советских интеллигентов ответили: мы. Каясь и идя на жертву, диссиденты ни к чему не призывали, но являли пример.

В этом суть и смысл важного события нравственной жизни страны того времени — кампании писем протеста. Подписанты, как их неблагозвучно назвали, совершали сакральный акт, заклиная черные силы собственной жизнью и судьбой. Дальнейшее протекало по известным образцам, только вместо костра было партсобрание, побивание камнями трансформировалось в увольнение с работы. Для российской специфики характерно, что к катарсису вели сугубо писательские действия — сочинение текста, подпись под ним как признание авторства. И началом массового движения протеста стало дело двух литераторов — Андрея Синявского и Юлия Даниэля [41]. На суде они отстаивали сочиненные ими тексты и признавали свое авторство. Именно этим занялись и участники кампании петиций в защиту двух писателей.

Диссидентство как акт творчества — так можно трактовать побудительный мотив, толкнувший к разрушению своей карьеры многих благополучных членов советского общества. Если видеть главную ценность именно в творчестве, а не в славе, власти и деньгах, то станет ясно, «чего им еще не хватало» — признанным ученым и известным писателям.

Советские психиатры были, в общем-то, правы, утверждая ненормальность этих людей. Они в той же мере психически отклонены от нормы, как поэты или религиозные подвижники. Не является и не может являться нормой творчески насыщенная жизнь, достигающая пика в привлекательном мученичестве подвига. «Я ждал этого суда как праздника» [42]— Владимир Буковский. «То был самый жуткий момент моей жизни. Но это был и мой звездный час» [43]— Петр Григоренко.

Двойному «орвелловскому» сознанию противостояли одиночки с повышенным творческим потенциалом. Интересно, что сам генезис общественного протеста Буковский определяет в эстетических терминах. «Что черное — это белое, мы уже привыкли. Что красное — это зеленое, нас убедили. Что голубое — это фиолетовое, мы сами согласились, черт с ним! Но теперь еще и синее — это не синее, а желтое? Хватит!» [44]

Несогласие с уродством социальной гаммы требовало реакции. Творческая личность противопоставляла несовершенному миру — свои ценности. И высшая российская ценность — дружеское общение — легла в основу зарождающегося общественного мнения. Что может быть увлекательнее, чем в компании остроумных подвыпивших друзей ругать советскую власть.

Продолжением этого веселого времяпрепровождения и стало диссидентство. Не случайно, одним из самых активных участников движения был Валентин Турчин — не только признанный ученый, но и составитель книги «Физики шутят». Как остроты Аркадия Райкина, передавались реплики с допросов в КГБ: «Откуда у вас Евангелие? — От Матфея» [45]. Правозащитная тактика своей популярностью во многом обязана соблазну игры —

возможностью ловко дурачить противника: «На вашем месте я бы признал свое авторство,— говорит следователь.— Если вы будете так говорить, то боюсь, окажетесь на моем месте,— отвечаю я» [46].

Дружить с остроумными, талантливыми и смелыми людьми — само по себе достижение и честь. Дома известных диссидентов показывали девушкам в качестве главного аттракциона вечерней прогулки. Вхожесть в такую квартиру ценилась выше, чем пропуск в Дом кино. А дружба обязывала держаться на уровне: «Было очень трудно не подписать письмо: это значило признать, что я боюсь, что молодым людям всегда неприятно, или показать, что я не так уж озабочен судьбой своих заключенных друзей» [47]. Желание быть не хуже, высокая стоимость дружеских отношений обменивались на утрату комфорта и даже свободы: «Оба они (В. Делоне и Е. Кушев) пошли на демонстрацию не потому, что видели в этом личную потребность, а скорее потому, что «неудобно отказаться», «неудобно изменить данному слову». Опоздавший на демонстрацию Евгений Кушев так объяснял на следствии свои действия: «Мне было неудобно, что я не пришел, и потому я решил крикнуть «Долой диктатуру!» [48]

Во всем этом безрассудном благородстве просматриваются следы воспитания, в основу которого положен примат духовных ценностей над материальными, коллективного сознания над индивидуальным — как если бы Тимур и его команда восстали против режима.

В «Открытом письме Шолохову» Юрий Галансков писал: «Советский человек не удался в той же мере, в какой не удалась и сама советская власть» [49]. В двух частях этой фразы можно, как в алгебраическом уравнении, сократить отрицания: советский человек удался в той мере, в какой удалась советская власть.

Подобно Тимуру и его команде, инакомыслящие принялись явочным порядком делать то, что в теории должно было совершаться открыто, повсеместно и официально. Старушка, без толку обивавшая пороги сельсовета, обнаруживала под окном нарубленные тимуровцами дрова. А выгнанный за симпатии к Израилю лаборант неожиданно получал квалифицированную юридическую консультацию, подписной лист протеста и дружескую поддержку. Диссиденты делали то, чему их учили в советской школе: были честными, принципиальными, бескорыстными, готовыми к взаимопомощи. Проповедь торжества духовных идеалов над материальными полнее всего реализовалась в диссидентском движении.

Диссиденты были «передовым отрядом», еще более передовым, чем партия. Не случайно изрядную группу инакомыслящих составляли люди, исповедовавшие принципы ленинизма, для которых сомнения суммировались в вопросе: «Можно ли еще и легче ли бороться за настоящий коммунизм в партии или вне ее?» [50] У самых разных людей способ был один. Генерал Григоренко: «Куда мы идем, что будет со страной, с делом коммунизма... Я начинаю искать ответы на эти вопросы и по старой привычке обращаюсь за ответами к Ленину» [51]. Рабочий Анатолий Марченко вел «раскопки в тех 55-ти томах, куда спрятали подлинного Ленина» [52]. И даже юный бунтарь Буковский «извлек много пользы из чтения Ленина» [53].

Находки были различны: одни убеждались, что партия исказила ленинское учение, другие уличали самого вождя. Но неизбежность результата — протест против окружающей действительности — породил невиданный разгул ментальных извращений. По мыслящей части советского общества прошла эпидемия Эдипова комплекса. Российские Эдипы действовали осознанно, с мазохистским наслаждением круша Лая-Ленина и Иокасту-партию.

По сути, каждый диссидент 60-х — отдельная драма, иногда — трагедия. Естественно, что эти люди заметно возвышались над толпой. Благодаря западным радиостанциям имена ведущих диссидентов стали популярны, как имена эстрадных артистов. Инакомыслящий стал общественной фигурой.

Характерно, что это произошло тогда, когда диссидентство еще существовало как локальные акты отдельных личностей, когда самой развитой организационной формой была веселая компания с неразделенным единством пения под гитару, выпивки, чтения стихов и сочинения писем протеста.

Эти веселые компании изменили общественный климат в стране. Нарушилось главное: закон молчания. Если раньше пределом гражданственной честности было неучастие, то теперь от порядочного человека потребовалось слово.

Если раньше общественное мнение выражалось в лучшем случае в заговоре молчания, то теперь оно обрело язык.

Новый принцип — слово вместо молчания — стал главной заслугой диссидентства. Общество уже не могло быть таким же, как прежде: нельзя разучиться говорить.

Общественное мнение, основанное на произнесении слов, опиралось, естественно, на те слова, которые произносили лидеры инакомыслия. Это были простые и внятные речи, мораль которых сводилась к позднейшей заповеди Солженицына: «Жить не по лжи». Официальная идеология владела средствами пропаганды, но умами — общественное мнение. В такой атмосфере неудивительно было, что «статья в «Известиях» изображала Синявского и Даниэля лицемерами, которые якобы в советской печати восхваляли советскую власть, а за рубежом, исподтишка, чернили. И непонятно было, что больше возмущает автора статьи — восхваление власти или ее очернение» [54].

Ретроспективный взгляд всегда предполагает искажение и тенденциозность, и «сомнения нет, что много фантазии, как и всегда в этих случаях: кучка преувеличивает свой рост и значение» [55] — но все-таки можно уверенно говорить о широком влиянии движения протеста, порой анекдотическом — когда к видным инакомыслящим приходили с жалобами на домоуправа или пьяницу-соседа. Нравственные качества диссидентов задавали тон общественной жизни. Сам факт существования академика Сахарова побуждал провинциального инженера подняться на трибуну партсобрания.

С этим благоговейным отношением связана и позднейшая волна развенчания диссидентов — особенно в эмиграции, где борцы естественным образом утратили романтический ореол героев. Часто это несправедливо: грехи бывших кумиров имеют мало отношения к явлениям, которые они представляют. И диссиденты Красин и Якир повинны не в том, что много пили водки, и даже не в том, что пили ее на деньги, предназначенные семьям политзаключенных, а в том, что брали деньги от имени не только собственного, но и других [56]. То есть действовали и решали за этих других.

Отход от принципа личной ответственности стал первым симптомом слабости диссидентского движения. Пока человек решает сам и только за себя, он свободен и вполне может петь непристойные частушки под гитару. Когда же он становится частью некоего ряда, выступает от некоего обобщенного имени и мнения — тут не до частушек, и, незаметным образом,— не до свободы. По Пушкину: «Зависеть от царя, зависеть от народа — не все ли мне равно...» Веселые диссиденты, осознав себя общественным явлением, стали относиться к себе серьезно. Инакомыслие превращалось в профессию.

Профессиональный подход неизбежно приводит к расслоению: самые способные и энергичные занимают командные посты. Иерархия, в свою очередь, как любая система, предполагает замкнутость — свои обычаи, правила, устав. Замкнутость порождает сектантство и непримиримость [57].

Во время кампании петиций не раз раздавались предложения составлять не только списки подписей в защиту невинно осужденных, но и списки тех, кто отказался подписываться. Социальное мужество становилось партийностью. Через много лет Виктор Красин признавался: «Один из моих друзей как-то сказал мне: «Ты большевик наоборот. Чем, собственно, ты отличаешься от них?» [58] Размежевание по принадлежности к дворянству-диссидентству происходило независимо от желания самих участников движения. Самые терпимые и скромные из них не избежали канонизации: яркий пример — Сахаров. Наибольший интерес вызывали «звезды» инакомыслия — даже милиционеры сбегались смотреть на Якира, Литвинова, Григоренко [59]. Все более важным становилось — не что написано или сказано, а кем. «Как-то Людмила Ильинична (мать А. Гинзбурга) в шутку, но с долей тщеславия сказала: «За нас подписываются профессора, а за Галанскова — дворники» [60].

Дворников что-то и не видно было среди диссидентов, во всяком случае, никто о них не знал. Да и не очень-то их принимали. Тактические соображения взяли верх над моральными. Инакомыслящие убедились, что и советские власти, и западные радиостанции, и рядовые граждане интересуются «профессорами» и реагируют только на них. Диссидентский генералитет сложился стихийно и в силу этой естественности был неколебим.

В такой ситуации нетитулованные осознавали, что их протестантская деятельность уязвима, пока они не добьются известности и тем обезопасят себя насколько возможно. Существовала теория о том, что необходимо «поднять шум», зафиксировать свое имя в официальном, общественном и западном мнении. Идея нравственного противостояния встала с ног на голову: сначала следовало попасть в офицерские полки диссидентства, а потом уже нравственно совершенствоваться и способствовать совершенствованию других. Действовала парадоксальная логика Степана Трофимовича Верховенского: «Да вас-то, вас-то за что?

Ведь вы ничего не сделали? — Тем хуже, увидят, что ничего не сделал, и высекут» [61].

Логика жизни привела диссидентов к созданию организаций: это дало некоторый эффект (особенно позже, когда возникли Хельсинкские группы с четкой программой), но не зря инакомыслие так боялось организации.

Страх этот был двояким: разумеется, перед возможными репрессиями, но — и это важнее всего — перед уподоблением своим противникам. Молодой революционер Буковский еще мог отнестись к тайному обществу как к веселой игре [62], чтобы потом, повзрослев, осудить такой вид деятельности и заявить: «Нашим единственным оружием была гласность... Шла не политическая борьба, а борьба живого против мертвого, естественного с искусственным» [63]. Талантливый литератор, Буковский тонко называет тут не явление, а признаки. Речь и в самом деле шла о борьбе не сил, а стилей.

Отказываясь противопоставить партии — партию, а идеологии — идеологию, диссидентство избегало прямого, в лоб, столкновения с властью и привлекало именно своей благородной непохожестью на нее. Насмотревшись на окружающее, каждый советский человек мог бы повторить вслед за П. Григоренко: «Я сыт партией по горло. Всякая партия гроб живому делу» [64].

Тут и подстерегало главное противоречие. Партия — конечно, гроб. Но отсутствие программы неизбежно приводит к размыванию самой идеи противостояния: во имя чего, зачем и даже — кому? Стилевое отличие предполагает и создание особой формы — а ее-то найти и не удавалось. Более того — возникала грандиозная путаница и смута. Вот генерал Григоренко выступает перед крымскими татарами в столичном ресторане «Алтай». Его слова, обращенные к лишенному родины народу, смелы и прямы: «Перестаньте просить! Верните то, что принадлежит вам по праву!» На высокой ноте завершается вечер: «Зал гремел, бушевал. Но закончили «Интернационалом». И пели не только крымские татары, а все, кто был в то время в ресторане — и посетители и работники ресторана» [65]. Это в 67-м году! Потрясающая по амбивалентности сцена, достойная Орвелла.

С другой стороны, — а что надо было петь? Отсутствие лозунгов — серьезная, даже решающая проблема. Если следовать нравственному императиву буквально — неизбежно столкновение с реальной жизнью, которая требует ежедневных компромиссов.

А моральная правда по необходимости абсолютна и бескомпромиссна, так что следовать ей могут лишь единицы. При этом правда абстрактна: она не учитывает конкретное общество, имея в виду универсального, обобщенного человека — то есть не дает внятного ответа: как быть, что делать, кто виноват? В результате призывы типа «жить не по лжи» порождают нескончаемые теологические споры «что есть ложь? что есть правда?» и вязнут в этих дискуссиях. Кроме того, апелляции к совести сильно страдают от повторения, человек быстро перерастает нравственные постулаты — подобно тому, как стала литературой для детей басня. Взрослый человек не может обходиться одними поговорками.

Эта слабость подспудно ощущалась диссидентством. Но в качестве общественных лозунгов оно вынужденно использовало тот же набор идей, что и любые революции, — равенство, справедливость, законность. Тот же язык [66]. Декларации протеста были фактически списаны с партийных документов — с обратным знаком. Гражданские стихи были слабым подобием Рылеева и Маяковского:

Это — я,
призывающий к правде и бунту,
не желающий больше служить,
рву ваши черные путы,
сотканные из лжи [67].

Все это уже было. Все замечательные слова, все действенные лозунги, все зажигательные призывы — уже использованы. Использованы той самой властью, против которой следовало направить новые хорошие слова. А их, новых, не было. Известное самиздатское стихотворение «Коммунисты поймали парнишку...» с сочувственным издевательством передает слова юного диссидента:

...И свободного общества образ
Нашим людям откроет глаза;
И — да здравствует частная собственность! —
Им, зардевшись, в лицо он сказал [68].

Это смешно, но как быть всерьез? (Кстати, противник был, пожалуй, изобретательнее в поисках новых форм и формул. Сергей Михалков, например, выдвинул смелый тезис: «Без устали ненавидеть врагов — вот гуманизм!» [69]

Единственный действенный лозунг: «Соблюдайте свои законы!» — привел к тому, чем и был по сути: к юридической игре, полезной лишь в каждом отдельном случае.

Нравственное противостояние — дело отдельной личности. А для лозунгов, апеллирующих к общественному сознанию, не нашлось языка. Старые слова отталкивали как ораторов, так и слушателей.

Проблема диссидентства решалась, как и положено в России, на уровне литературных штудий. Андрей Синявский на суде рассказывал о «фантастичности» русского народа», о том, что «пьянство — это другая сторона духовности»[70]. И поддаваясь магии этого неуместного эстетизма, судья обсуждал с подсудимым цвет обложек его книг[71].

Эстетическая позиция раннего диссидентства сбивала власти с толку, потому что они не умели говорить на этом языке. А когда инакомыслие заговорило знакомыми и привычными — то есть старыми — словами, оно сделалось в полной мере инакомыслием, а не инакословием. И тут же — встало в знакомый ряд привычных врагов народа. В словаре русского языка к существительным иностранного звучания, вроде «контрреволюционеров» и «космополитов», прибавилось новое слово — «диссиденты».

А главное достижение оказалось внетекстовым: в Советском Союзе возникло общественное мнение. Носителем его стал фольклор — песня, анекдот, острота, просто разговор. Средой — компания друзей: общественный институт, обладающий настоящим авторитетом. Этот социальный феномен по определению не обладал программой, не отвечал и не был призван ответить на главные вопросы: «что делать?» и «кто виноват?»

Как выяснилось, средство диссидентства и было его целью.



АБСТРАКЦИОНИЗМ БЕСПЛОДЕН

НОВОСТИ „ЗАПАДНОГО ИСКУССТВА"

...тят, видимо, от-
...коллег-живо-
...едставители
...фотогра-
...ецеопи-
...тех-

Наш...
ре...



...у народу нужно боевое,
...люционное искусство.
Н. С. Хрущев

...ии партии и правительства Выставки произведений московских художников.

Фото А. Ус...

ИСКУССТВО, ПОНЯТНОЕ МАССА...

...вке произ-
...осковских
...представ-
...ы, создан-
...дцать лет.
...для экс-
...ногообра-
...и, творче-
...ов, жан-
...ительских
...Централь-
...очном за-
...многолюд-
...ет заинте-
...разговор
...значитель-

...ности советского изобразительного искусства, о новаторстве и мастерстве, о достижениях и неудачах отдельных художников.

1 декабря выставку посетили руководители партии и правительства, которые подробно ознакомились с работами московских художников и высказали ряд принципиальных положений о высоком призвании советского изобразительного искусства.

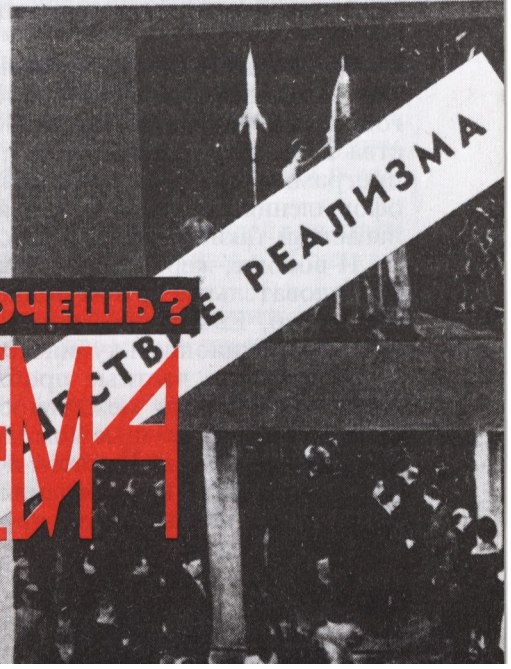
Мы обратились к действительному члену Академии художеств СССР Г. Г. Нисскому с просьбой поделиться мыслями, вызванными встречей руководителей партии и правительства с художниками.

Выставку московских художников посетило уже свыше 100 тысяч ч...

Фото А. Бо...

...редставленных на нашей московской выставке работ нема-
...льных реалистичес...
...тителей выставки;
...оду.
...и нам абстракцион...
...ть кривляньям иноз... модерн... когда ты ...
...ком и продолжател... ...ных традиций ру...

...ветских художников свой путь в искусстве — ... соц...
...о реализма. И мы с него не свернем.
...агодарностью воспр...ня... справедливую критику сер...
...ципиальные замечан... ...рица Н. С. Хрущева, ...
...и и правительства. Р...го... получился откровени...
...важный. Ведь мног... из ...ого, что мы услы...
...ворили те, кто прих...ил н... выставку,— гов...
...все должны творит... в р... реализма...
...ческого воспитания ...
...красного. А это высокая мисси...
...у народа, создавшего несра...
...ушки, шедевры архитекту... ...ства.
...итма и стиля, чувство пре... ...ла! На-
...усство — наш неисчерпаем... ...до высот
...каждый из нас.
...пренебрежение мнением нар... ...о невежестве и
...пустошенности таких «творцов...
...в Центра...



ЧЕГО ЖЕ ТЫ ХОЧЕШЬ?

БОГЕМА

ПОБЕДНОЕ ...ЕСТВИЕ РЕАЛИЗМА

1 декабря 1962 года Н. С. Хрущев, указывая на одну из картин, выставленных в московском Манеже, сказал следующее: «Осел хвостом машет лучше»[72].

Между знаменитой манежной выставкой и выходом ноябрьского номера «Нового мира» с повестью «Один день Ивана Денисовича» прошло две недели. Впоследствии в этих двух событиях видели символические вехи, считая, что эпоха советского либерализма пришлась — и уложилась — как раз в эти две недели.

Однако на самом деле появление Солженицына и экспозиция «абстракционистов» представляют два противоположных полюса исторического процесса 60-х.

Публикация «Ивана Денисовича» более опасная акция, чем выставка нефигуративного искусства, не имеющая никакой политической направленности. Но это не помешало Хрущеву противопоставить модернистам Солженицына[73]. Художника-абстракциониста Хрущев сравнил не с плохим вредным художником, а с животным — ослом. И в этом проявился незаурядный талант Хрущева в создании лозунгов.

Кампания против абстракционистов началась с высшей ноты. И никакие рассуждения искусствоведов, никакие инвективы художников-академиков уже не могли по своей выразительности приблизиться к составленной Хрущевым видовой антитезе: люди против животных. Это положение можно было только иллюстрировать, а не дополнять. Что и делала вся советская пресса: «Недавно обнаружилось, что 759 абстрактных акварелей, выставленных в Лос-Анджелесе, написал одноглазый попугай мисс Пауэрс»[74].

Чудовищная по своему размаху кампания против «формализма», казалось бы, прямо противоречит всему характеру 60-х годов. Ведь новые формы искусства отражали потребность общества в перестройке. Скажем, развернутая Хрущевым жилищная программа требовала оригинальных скульптурных решений для оформления новостроек. Но именно Эрнст Неизвестный, предлагавший такие решения, стал главным объектом атаки.

И вообще, жертвами этой кампании часто становились люди, последовательнее других поддерживающие хрущевские реформы. Например, Евтушенко, который стойко защищал революционный абстракционизм кубинского образца[75].

Более того, частные проблемы изобразительного искусства стали проблемами международными, когда в защиту гонимых выступили заграничные компартии во главе с «абстракционистами»-коммунистами Пикассо и Гуттузо.

Но главное — вся кампания была направлена против мифического врага. Ведь никто, кроме Хрущева, никаких абстракционистов не видел — их не выставляли, не печатали, не знали. Война шла против принципа.

Дело не в личных вкусах Хрущева, дело в его ритуальном отношении к искусству, которое он разделял со своим народом.

То, что Хрущев увидал в Манеже, было непохоже на то, что он видел в жизни. Не важно, что или как рисовал художник. Важно, что непохоже.

В массовом представлении связь изображаемого с изображенным неразрывна. И связь эта всегда обратная. Искажая вещь на картине, художник искажает вещь (лицо, предмет, природу) реальную, действительно существующую[76].

«Похожесть» — инстинктивное требование к искусству. «Непохожесть» — всегда связана с интеллектуальным насилием.

Конечно, ни культура, ни наука, ни цивилизация в целом невозможны без внесения условности, без преодоления инстинктов, но путь к этому преодолению лежит через компромисс — брак, образование, демократия. Абстракционизм компромисс отвергал, разрывая связь искусства с реальной жизнью самым агрессивным образом.

Сталинский классицизм тоже был далек от истинной похожести (многометровый бронзовый «человек в штанах» или кинофильм «Кубанские казаки»), но жизнеспособность, пусть гиперболизированная, сохранялась.

60-е требовали более умеренного реализма. Но речь шла скорее о количественном, а не качественном факторе. Образцом таких перемен могла быть, скажем, новомировская проза.

Модернизм же отрицал право зрителя на сравнение искусства с действительностью. Такое искусство действительно больше не принадлежало народу — оно было направлено против него. Абстракционист не созидал, а разрушал — образ, форму, цвет — а значит, и жизнь. При этом он даже лишал зрителя права судить его: абстрактную картину нельзя сверить с единственным общедоступным критерием — объективной реальностью.

Хрущев справедливо увидел в модернистах людей, которые хотят и, наверное, могут внести идею альтернативы в общество, сплоченное единой идеологией.

Кучка абстракционистов противопоставляла коллективу личность. И — главное — у этой личности не было цели, кроме самовыражения.

Ни друзьями, ни врагами они быть не могли. Ведь модернисты не спорили с идеей, более того, они не говорили вовсе (их тексты были лишены читаемых образов). Поэтому Хрущев обратился к зоологии, несколько наивно отнеся к низшим формам жизни и «пидарасов».

В Манеже он защищал свой народ от внеидеологического вмешательства, от анархии, которая грозила самой логике советской жизни. И в этом смысле Хрущев обоснованно противопоставлял Солженицына абстракционистам.

Конфликт партии с так называемыми «формалистами» был лишь частным случаем всеобщего противостояния поэта и толпы. Тотальная идеологичность советского общества лишь придала ему наглядность.

Манежная выставка обнаружила существование в России явления, которое условно можно назвать — богема. Кампания против абстракционистов помогла нащупать границы этого феномена. Внешним критерием стала «непохожесть». Благодаря универсальности такого определения, принципиальная разнородность богемы, хотя бы с одной стороны, со стороны народа, оказалась отграниченной от остального советского общества.

Те, кто занимался «непохожим» искусством, вредили стране даже тогда, когда не демонстрировали ей свои произведения. Они были шарлатанами. То есть бесполезные члены общества выдавали себя за полезных — художников, писателей, поэтов. А поскольку государство не оплачивало труд богемы, то шарлатаны становились тунеядцами.

С точки зрения физики работа совершается даже тогда, когда мы тщетно пытаемся загнать гвоздь в стальную стену. С социальной точки зрения работой будут считаться только усилия, приведшие к тому, что гвоздь все же в стену вошел.

Разница между абстрактными и конкретными гвоздями лишала богему оправдания. Раз общество не покупает искусство, его — искусства — нет вовсе.

Поэтому, когда в 1964 году судили Иосифа Бродского, ему инкриминировали не антисоветскую деятельность, а тунеядство. Точнее, его обвинили в невыполнении «важнейшей обязанности честно трудиться на благо родины и обеспечения личного благосостояния»[77].

Богема, во-первых, не работала, во-вторых, не работала на пользу общества. Общество считало, что первое и второе одно и то же. Богема была уверена, что это абсолютно разные вещи.

В партийных документах и газетных фельетонах люди, занимающиеся неофициальным искусством, выглядели безграмотными, необразованными, ленивыми («окололитературным трутнем» был назван Бродский).

Истина, причем бесспорная, состояла в обратном. Богема образованна до педантизма и трудолюбива до графомании. Но она разрушает естественную связь труда и денег — не тем, что не работает, а тем, что работает бесплатно. Люди, обвиненные

в тунеядстве, на самом деле противопоставляли неинтересной работе — интересную, но отнюдь не безделье.

Деклассированным элементам в России живется совсем непросто. Свою невключенность в общество они хотя бы внутренне должны оправдывать вескими причинами — болезнью, алкоголизмом или искусством (все это может легко объединяться в одной личности). Отчасти этим объясняется обилие неофициального искусства в России. Написанное стихотворение или картина дает необходимый статус, пусть даже с обратным знаком.

Советская богема была не только многочисленна, но и многообразна. Помимо таких очевидных вещей, как поэзия и живопись, существовали нонконформистская музыка, театр, даже балет.

Разделение на жанры тут вообще весьма условно. Богема принципиально ориентируется не на результат творческого процесса, а на сам процесс. Ей, в сущности, безразлично, что сочинять — поэму или оперу. Гораздо важнее определенное мировоззрение, которое она культивирует, и его следствие — образ жизни.

Советское общество выделило богему в отдельную социальную группу тунеядцев и шарлатанов. Но и богема отгородилась от общества эзотерическим характером своей деятельности. И та и другая сторона тщательно охраняли границу между официальным и неофициальным искусством.

При этом богема ничуть не менее агрессивна, чем противостоящее ей общество. К нетерпимости ее побуждает потребность в самовыражении. Приняв как знамя навязанные ей обществом критерии «непохожести и непродажности», богема ведет бескомпромиссную войну с «похожим» и «продажным».

Можно сказать, что господствующие в стране взгляды просто вынудили богему принять лозунг чистого искусства. Что еще она могла противопоставить массовому представлению об искусстве-рычаге? Только искусство самоценное, бесполезное, бескорыстное и если созданное не без смысла, то уж точно без умысла.

Конфликт богемы с советской властью был вызван чисто эстетическими причинами. Консерватизм общественного вкуса приводит к образованию анархического авангарда. При Сталине искусство было слишком монолитным, чтобы оставлять видимые посторонним цели. 60-е, разрушая этот монолит, ненароком открыли существование катакомбной культуры. В этом заслуга (вина?) и самой богемы. Опираясь на прецедент Октябрьской революции, авангардное искусство могло надеяться, что политические потрясения отразятся и на эстетике. Помня о футуристах, низвергнувших, пусть ненадолго, реалистическое искусство, богема была готова занять место сталинских академиков. Поэтому

«абстракционисты» и попали на провокационную манежную выставку.

Однако 60-м недоставало размаха той, главной, революции. Смена моделей социалистического общества была слишком поверхностной, чтобы затронуть такие глубинные структуры, как эстетические принципы. В стране по-прежнему строился коммунизм, и искусство должно было работать на стройке (хотя бы разрушая старое).

Как раз работать богема не хотела. То есть хотела, но не так.

Отношение к политике определяло разницу между официальной и неофициальной культурой. Богема политикой не интересовалась, доходя в своем безразличии до циничного предела. Как писал Неизвестный: «Я был согласен на ужас, но мне нужно было, чтобы этот ужас был сколько-нибудь эстетичен»[78].

Богема может существовать только в противостоянии, но не власти, а массовому искусству.

В советском обществе все — от Шолохова до машинистки, перепечатывающей Солженицына, — считали, что искусство отражает реальность.

Те, кто видел в искусстве антитезу реальности, и составляли богему.

Катакомбная, подпольная, нонконформистская культура исповедовала свою эстетику. Она не могла не учитывать советскую (антисоветскую) точку зрения, потому что ей нужно от чего-то отталкиваться.

Если официальная эстетика говорила, что цель искусства — улучшение человека и общества, то неофициальная утверждала исключительную ценность самовыражения.

Искусство становится единственной осмысленной деятельностью человека, единственным оправданием его жизни. Жизнь вообще имеет ценность, только если она выражена в художественных формах. По утверждению покровителя питерской богемы Давида Дара, «настоящий художник прежде всего творит собственную жизнь»[79].

Богема категорична в своем аристократизме. Она, как Хрущев, пересматривает эволюционную лестницу, с той существенной разницей, что ставит художника над толпой.

Толпа остается так далеко позади, что герои неофициального писателя Юрия Мамлеева могут вести такой характерный диалог: «Ну, эти все же лучше, чем те, которые в школах учатся. — Ну, об тех что говорить, те просто грибы»[80].

Мамлееву вторит неофициальный поэт Всеволод Некрасов: «Все трудящие — немудрящие, а нетрудящие — мудрящие»[81]. К «мудрящим» богема относит только себя.

Понятно, что между стоящими на разных ступенях эволюции художниками и нехудожниками не может быть взаимопонимания. Его и нет. Богема не знает деления на писателя и читателя. Она имеет дело только с авторами, которые поочередно выступают в роли слушателей.

Но и это необязательно. В конечном счете искусство для искусства означает искусство для себя, для художника. Об этом настойчиво говорят теоретики богемы: «искусство — это не профессия, а состояние», «писать нужно то, что не сможешь нигде прочесть» и, наконец, «основной признак гениальности — это ощущение себя гением»[82].

Богема довела свою теорию до той последней точки, где снимается проблема качества. Действительно, если искусство принадлежит не народу, а личности, то и судить о нем способна только сама эта личность.

Однако такая экстремальность парадоксальным образом приводит все к тому же представлению об искусстве как средстве — допустим, духовного самоусовершенствования. Но с этим богема готова мириться: художник приравнивается к Творцу, и искусство сливается с тем, кто его созидает, в нерасторжимое единство. Произведение больше не отчуждается от автора. Произведения даже может не быть вовсе, поскольку главный шедевр и есть автор.

Хрущев чувствовал, что его хотят обидеть[83]. Он защищал толпу от богемных сверхчеловеков, утверждая, что искусство должно быть понятным: «Даже при коммунизме воля одного человека должна быть подчинена воле коллектива»[84]. Он считал богему антисоветской, антипатриотичной, но на самом деле она была просто антидемократичной.

Богема, инстинктивно не доверяя всему популярному, чутко отреагировала на всплеск социальной активности 60-х — она его игнорировала.

Настаивая на эзотерической природе искусства («я придаю очень малое значение книге и громадное значение рукописи»[85]), богемная теория делала ставку на старую башню из слоновой кости. В этом была ее духовная сила и художественная слабость. Практика богемного творчества стала свидетельством трагического разрыва массовой культуры с настоящей.

Богема не только не хотела творить для народа, но и не могла.

Тут следует оговорить тот очевидный факт, что неофициальное искусство означало именно то, что означало — любые произведения культуры, которые создаются и распространяются без санкции культуры официальной. Спектр этого явления очень

широк, и значительная часть катакомбного искусства не имела никакого отношения к эзотерике, а напротив, пользовалась грандиозной популярностью. Вся Россия знает блатные песни, похабные частушки, анекдоты или самодельные ковры с лебедями. Такие богемные по своему происхождению произведения как «Фонарики» Глеба Горбовского или «Товарищ Сталин, вы большой ученый» Юза Алешковского — давно стали достоянием фольклора.

К тому же сравнительно часто авангарду удается вступить в альянс с властью, перейдя границу официального искусства. И тогда появлялись скульптуры Неизвестного на общественных зданиях, пластинки Высоцкого, абсурдистские книжки «Детгиза»[86].

Однако ядро богемной культуры, ее наиболее характерная и непримиримая часть, целиком разделяет собственную теорию элитарного искусства и не идет ни на какие компромиссы с популярностью.

Понятность («похожесть») богемный художник всегда расценивает как постыдную уступку массовому вкусу. Если он и не избегает доступности в своем творчестве, то во всяком случае к этому не стремится: «Если речь о моменте исполнения, то чем меньше я его понимаю, тем лучше» (Анри Волохонский)[87].

Утрированное богемное искусство — вроде слоговой поэзии Генриха Худякова или интернациональной зауми Константина Кузьминского — никогда не учитывает пассивного слушателя. Только соучастника, соавтора — или никого.

Богемный текст — всегда хепенинг. Он сознательно продуцируется, придумывается по рецептам соответствующей теории. Например, такой: «Принципы логотворчества излагаются в экстремическом словаре, гранах Аверонны и в ключах экстремических стихов» (Илья Бокштейн)[88].

Искусство конструируется, а не создается. Оно осмысленно во всех своих элементах, даже если абсурдно.

Поэтому богема, претендующая на роль авангарда, всегда оглядывается назад, всегда занята выискиванием предшественника. Тайная неуверенность в себе вынуждает опираться на прошлые авторитеты. Богемное искусство комбинирует элементы различных культур, часто иронически их переосмысливая, чтобы из разнородных кубиков сложить что-то свое, непохожее.

Отсюда и представление о главенствующей роли метода, о правилах сложения. Искусство — это путь к алгоритму вселенной. Стоит его найти (через религиозный, алкогольный, наркотический, сексуальный экстаз, благодаря мгновенному просветлению дзен-буддизма или кропотливому исследованию прошлого опыта), и творческий акт станет адекватен созданию мира.

Богемный художник часто верит, что его макет вселенной и есть мир. Поэтому он так серьезно относится к тому, что делает. При всей буффонаде, эпатаже, просто хулиганстве богема преисполнена ответственности по отношению к своему творчеству. Авангардное искусство, не рассчитанное на продажу, всегда имеет дело — по терминам скептиков — с «духовкой» и «нетленкой».

Философия богемы, идя к крайнему эзотеризму, все больше сближается с теологией. «Искусство — это пути красоты, ведущие к Богу. Степенью веры определяются мощь и жизнеспособность стиля»[89].

Чем дальше богема идет по этому пути, тем бескомпромиссней она становится. Авангардный художник не склонен вспоминать об оставленной далеко позади толпе. Его искусство лишено элементарных, изначальных качеств — оно не увлекательно. Не интересуясь мнением масс, оно и не способно заинтересовать массы.

Любое произведение официального искусства внятно, доступно, а значит — участвует в жизни.

Неэзотерический, «нормальный» художник не может творить без компромиссов. Тиражи, популярность, гонорары — все эти так презираемые богемой инструменты обратного воздействия на искусство, несомненно, способны развратить культуру. Но они же позволяют искусству опираться непосредственно на жизнь — не пропущенную сквозь призму теорий.

Великое искусство всегда народно. То есть всегда готово к компромиссу. «Искусство не боится ни диктатуры, ни строгости, ни репрессий, ни даже консерватизма и штампа»[90]. Не останавливается оно и перед социальным заказом, перед эксплуатацией читательского интереса, перед тем, чтобы получать за творчество деньги и славу.

Но искусство, растворенное в толпе,— это антитеза богемы. Она не знает счастливого симбиоза поэта и черни и поэтому находит себе утешительные образцы исключений — непризнанные Ван Гог, Хлебников.

Авангард не рассчитан на непосредственное восприятие. Он не интересен в общепринятом понимании. А без общепринятого понимания искусство перерождается во что-то другое — философию?, религию?, мистический обряд?

Для богемного творчества характерен эксперимент с готовыми формально-содержательными компонентами, дотошная регистрация индивидуальных ассоциаций, имитация хаоса: коллаж, семейный альбом, «перформанс». Все это — мастерская, лаборатория, калейдоскоп.

Погруженная в социальный вакуум, богема меньше других реагировала на ход истории: 60-е прокатили мимо нее. Поднятая над толпой, богема не разделяла и ее увлечений, заблуждений, разочарований.

За немногими исключениями неофициальное искусство не участвовало в борьбе либералов с охранителями — в любом случае ни те, ни другие ее не признавали. Но и диссидентство, с его реальной социальной проблематикой, богему не привлекало.

Богема оказалась наименее уязвимым идеологическим образованием. Опровергнуть ее теории было нельзя, поскольку они лежали вне доказательной плоскости. А взять с нее было нечего.

Малопродуктивная сама по себе, но не зависящая от сиюминутной конъюнктуры, богема подготавливает почву для новых идей.

В советском обществе богема была и есть духовная резервация. Заповедник чистого искусства. Эстетическое болото. Философская свалка. Школа выживания.

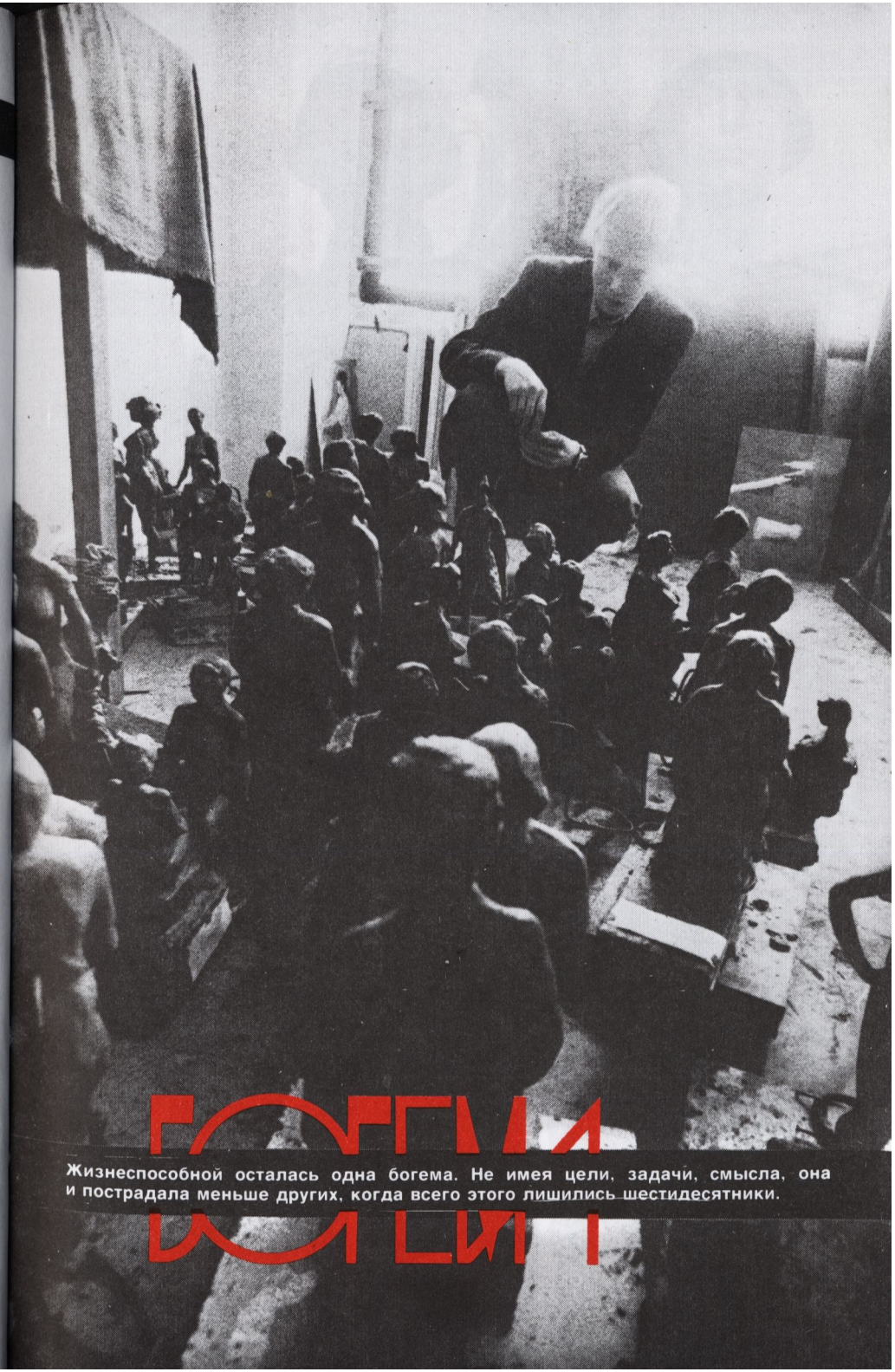
Когда эйфория 60-х сменилась апатией, жизнеспособной осталась одна богема. Не имея цели, задачи, смысла, она и пострадала меньше других, когда всего этого лишились шестидесятники.

Даже эмиграция никак не изменила ситуацию. В Америке, Израиле, Франции российский авангард по-прежнему живет своей бескомпромиссной жизнью, находясь в условиях вечной конфронтации — не с властью, а с толпой.

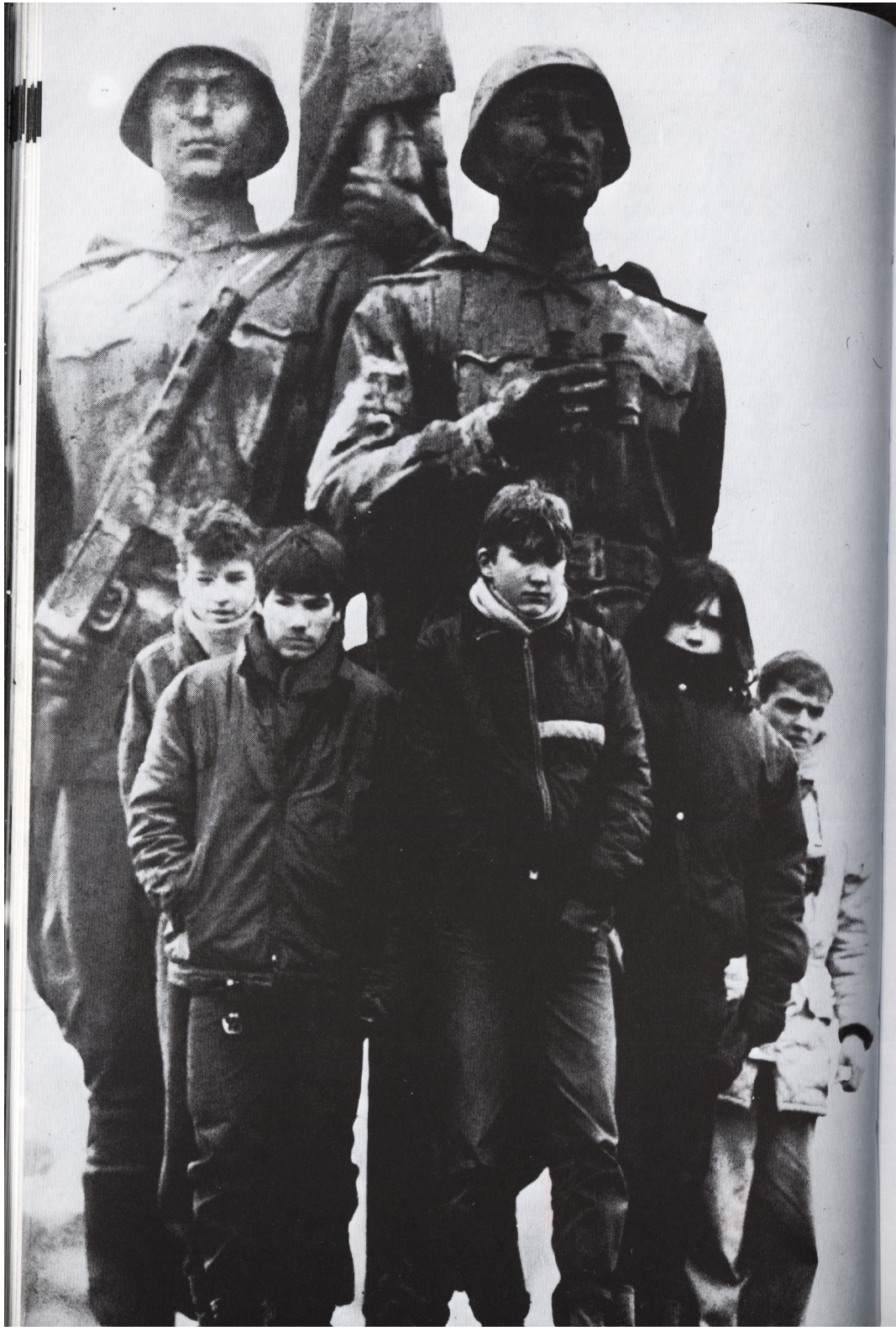
Благодаря воинствующему бескорыстию, страстной жажде облечь мир в эстетические формы, вере в абсолютное значение творческого акта, богема сохранила главное — среду.

Из этой среды выходят такие художники, как Иосиф Бродский, иронически подытоживший опыт поколения, утрамбовавший современную культуру декаданса в адекватные ей стихи. Или Венедикт Ерофеев, который в кощунственной игре ищет возможности духовного обновления.

Из этой среды в следующий виток тугой российской спирали выходят новые слова.



Жизнеспособной осталась одна богема. Не имея цели, задачи, смысла, она и пострадала меньше других, когда всего этого лишились шестидесятники.

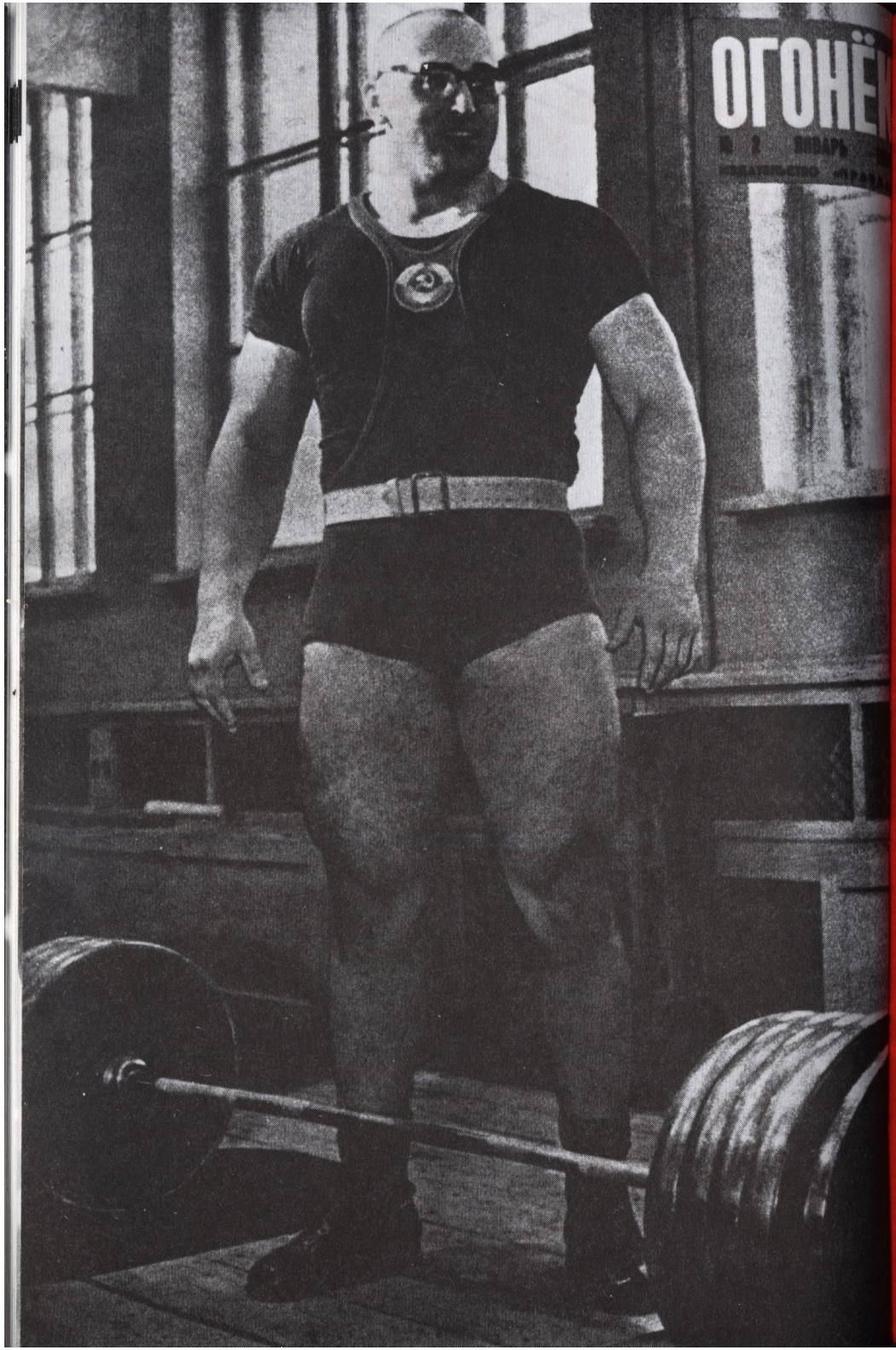


2 ВЛАСТЬ МАСС

СПОРТ
ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК

ВОЖДИ
БОРЕЦ И КЛОУН

НАРОД
КРОНА И КОРНИ





...он по метанию молота.

...х имени братьев Знамен-
...тр 80 сантиметров.



...быстрых.

СПОРТ

ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК

В этом году Советская страна отмечает праздник молодости, красоты и силы — Всесоюзный день физкультурника с особой торжественностью; подводятся итоги нашего физкультурного движения за полвека. И в знаменательный день больших спортивных состязаний за этот период награжден указом Президиума Верховного Совета СССР ...производящих спортивный инвентарь.

Широчайший размах получило физкультурное движение в нашей стране!

Оно начиналось в отрядах Всевобуча в 1918 году. В то время такие страны, как Великобритания, США, Франция, гордились своим спортом, и их атлеты являлись неизменными лидерами всех крупных международных соревнований. Эти времена отошли в прошлое. Новая спортивная держава вышла на международную арену. Спорт СССР выслал на разведку свои передовые отряды — штангистов, гимнастов, лыжников, борцов, легкоатлетов, хоккеистов, которые успешно выступали на чемпионатах мира и Европы. Затем советские спортсмены впервые приняли участие в Олимпийских играх.

На XV олимпиаде в Хельсинки в 1952 году «новички» поистине стали героями игр. Они установили 9 олимпийских рекордов, из которых 2 превышали мировые, они увезли домой 67 олимпийских медалей (из них 22 золотых). Через четыре года в Мельбурне команда СССР завоевала 98 олимпийских медалей (из них 37 золотых) и в неофициальном командном зачете заняла первое место. На XVII Олимпийских играх в Риме успехи советского спорта были еще разительней — снова общекомандная победа, 103 олимпийских медали (из них 43 золотых), а в Токио советским спортсменам удалось завоевать 96 олимпийских медалей (из них 30 золотых).

И вот прошло еще четыре года. Все чаще мелькает в печати название мексиканской столицы — Мехико. Все ближе старты XIX олимпиады. Завершаются генеральные репетиции, окончательно формируется состав олимпийской команды, и весь советский народ с огромным интересом и надеждой следит за усилиями своих сынов и дочерей, испытывает олимпийское беспокойство. Где бы ни находились наши атлеты, они всегда чувствуют взволнованное дыхание земляков, и как бы подтверждением этого являются тысячи телеграмм, летящих из разных мест страны в те далекие края, где выступают спортсмены.

Массовость и мастерство — под этим девизом растет и ширится наше физкультурное движение. И мы никогда не забываем, что истоки его начинаются в низовых физкультурных коллективах, в спортивных залах Горьковского автомобильного завода, или «Уралмаша», или Краснодарского политехнического института, о спортсменах которого рассказывается в этом номере. В Гомеле, в борцовской секции, начинал свой путь Вячеслав Салей, ныне прославленный легкоатлет, пробежавший недавно 100 метров за 10 секунд. В одной из ленинградских школ приобщилась к спорту молодая спортсменка В. Грушкина, победившая всех в прыжках в высоту на международных соревнованиях имени братьев Знаменских...

От стартов на заводской площадке до олимпийских стартов — таков размах нашего физкультурного движения, чей праздник отмечает сегодня вся Советская страна!



З. Воронина, обладательница Кубка по гимнастике.

Фото Л. БОРОДУЛИНА.

Спортивная честь

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОГОНЁК

Основан 1 апреля 1923 года

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

№ 33 (2146)

10 АВГУСТА 1968

Олимпийский лозунг «Быстрее! Выше! Сильнее!», который так модно было повторять в 60-е, относился, конечно, не только к спорту. Сильнее всех была миролюбивая советская держава, выше всех взлетели советские космонавты, быстрее всех будет достигнут коммунизм — финиш прогресса. И совсем не случайно в год XX съезда Советский Союз впервые выиграл Олимпиаду [1].

Активно включившись в международные состязания, советский спорт оказался не только не хуже, но даже и лучше спорта западного. Вместе с космосом это стало наглядным показателем успехов. Не зря эти две сферы деятельности так охотно сопоставлялись: «Прыжок на 2 метра 16 сантиметров — олимпийский рекорд — можно сравнить с полетом на Луну. А как тогда быть с феноменальным результатом в 225 сантиметров — новым мировым рекордом Валерия Брумеля?.. Это, видимо, межпланетный корабль, мчащийся в район Венеры» [2].

В рекордах есть неодолимая привлекательность очевидного факта. Можно еще поспорить о преимуществах той или иной социальной системы, но совершенно бесспорно, что Валерий Брумель прыгнул выше Джона Томаса, Игорь Тер-Ованесян — дальше Ральфа Бостона, а Юрий Власов поднял штангу тяжелее, чем Пауль Андерсон. Прелесть этих истин в простоте и общедоступности, и для постижения их нужны только первые два действия арифметики — самой убедительной из наук. В этом смысле спорт даже предпочтительнее космоса, который нельзя увидеть и еще надо уметь вообразить.

60-е породили новых кумиров во всем. Это было время не только Гагарина и Евтушенко, но и — Брумеля и Власова.

Чемпионы и рекордсмены выполняют в современном обществе важную функцию. Подпрыгнуть, бросить мяч или диск, промчаться в несущественном направлении — это чистая идея. Ведь сам по себе рекорд не нужен никому, и человечество не станет богаче и счастливее оттого, что планка поднимется на сантиметр. Это так, но нация оздоровляется, взирая на трудно достижимые образцы. Вводится некая точка отсчета. Подвижники идеи задают духовный ориентир, подвижники спорта — физический. 60-е сделали попытку совместить их.

Спортивные кумиры ближе и понятнее других — политиков, писателей, ученых. Чемпионы делают то же, что от природы умеет каждый, просто лучше. 60-е дали новых спортивных идолов — отличных от прежних.

Прежние были — солдаты. Дело даже не в том, что главными чемпионскими питомниками были армия (ЦДКА — ЦСК МО — ЦСКА) и милиция («Динамо»). Дело в общей ориентации спорта — воспитательной и психологической. Самой первой наградой юного физкультурника был значок БГТО — «Будь готов к труду и обороне». Идея обороны неизменно присутствовала в состязаниях любого уровня (примечательно, что как раз в 60-е метание гранаты в школе стало широко заменяться метанием теннисного мяча). Никто не сомневался в том, что «спортсмен» есть эвфемизм для «защитника Родины». Не только потому, что хороший физкультурник легче форсирует вражеские укрепления в случае войны. Суть в том, что враг и война — категории постоянные. Советской стране было уютно держать оборону в неразмыкающемся кольце врагов. А спорт — продолжение войны мирными средствами.

Эй, вратарь, готовься к бою!
Часовым ты поставлен у ворот.
Ты представь, что за тобою
Полоса пограничная идет [3].

Свой вклад вносила журналистика, вообще тяготеющая к военной лексике («битва за урожай», «на передовой пятилетки») — состязания же давали простор для разгула словесной агрессии.

После Сталина кольцо врагов стало размыкаться. Идея мирного соревнования с Западом смягчила суровые нравы военизированного советского спорта. Да и количественно он потерпел урон, когда Хрущев уволил в запас треть вооруженных сил страны. Солдат, даже в трусах и майке — дисгармонировал с эпохой космоса, науки и поэзии. Он, прежний чемпион, был угловат, немногословен, перекатывал желваки, чеканил шаг. Новый чемпион лучился улыбкой, поправляя очки, невзначай ронял томик Вознесенского, а установив рекорд, спешил на зачет по сопромату.

Разумеется, идея никогда не воплощается в чистом виде. И в лозунге «Быстрее! Выше! Сильнее!» сами сравнительные степени указывали на противника. В нужный момент о пограничной полосе вспоминали и шестидесятники: «Виктор никогда не произносил таких слов, как «Родина», «величие», «честь». И только на мокром поле «Парк де Пренс» он с особой силой понял, что

они означают. Там, позади, была его земля, были миллионы его соотечественников... Эти люди прошли в солдатских сапогах до сердца Европы, стянули бетонными поясами стремнины рек, послали к звездам первый космический корабль»[4].

Виктор из прогрессивного журнала «Юность», который прошел до сердца Европы в футбольных бутсах,— фигура примечательная, потому что переходная. Студент, художник, эрудит, «левый полусредний с незаконченным архитектурным образованием»[5], он принадлежит, несомненно, к новой формации спортивных кумиров. Комплекс же «пограничной полосы» появляется у него как рецидив изжитого периода изоляции и недоверия. Новая эпоха принадлежала иному человеку: многогранному, широко распахнутому человеку без границ — государственных в том числе.

Важно, что этот герой был личностью гармоничной. И если физику полагалось лазать по скалам, то и спортсмен не имел права обходиться одной мускулатурой. К этому нелегко было привыкнуть, но на все еще недоуменный вопрос «Футболисты читают Шекспира?»[6] эпоха решительно отвечала: «Да!»

В какой-то момент даже казалось, что интеллект и есть главный компонент спортивного успеха. Штангист Власов был безусловным идолом интеллигенции: он носил очки и писал рассказы. Прыгун Брумель и интеллектуально не отставал от духа времени: «Днем 29 сентября 1962 года я преодолел высоту 227 см. А перед этим провел все утро в Третьяковской галерее»[7]. Сила, обаяние и ум чемпионов создавали образ, окрашенный в теплые и радостные тона. При этом этические нормы и эстетические критерии кумиров были, с одной стороны, на уровне современности, с другой — этот уровень ни в коем случае не превосходили. Власов: «Взял журнал с портретом Хемингуэя на обложке. Лицо у бородатого человека было доброе... Он долго смотрел в эти глаза... Под ворохом измятых галстуков заметил библию. Эту обязательную принадлежность всех «порядочных» гостиниц западного мира... Кого здесь утешала и кого оправдывала эта равнодушная толстая книга?»[8] Брумель: «Особенно долго пробыл я в зале, где экспонируются полотна Шишкина»[9].

Выезжая на международные соревнования, команды были буквально обязаны посещать музеи и осматривать исторические памятники. Это не всегда помогало побеждать[10]. Но ведь успех был вовсе не равен победе. Целью объявлялся не рекорд, а гармоническое развитие. Даже Ленин в разгар революционной борьбы писал сестре: «А главное — не забывай ежедневной обязательной гимнастики...»[11] С максимализмом молодого задора 60-е требовали гармонии тела и души, в приказном порядке: «...В недалеком будущем людей, не желающих брать физкультуру в товарищи, людей, инертных к спорту, будут просто штрафовать»[12].

Такая публицистическая конструкция вообще характерна для 60-х. Высота цели и чистота помыслов как бы освобождали от разборчивости в выборе средств. Газетные и журнальные статьи широко использовали фигуру угрозы: совершенно неадекватные кары сулили тем, кто «не дружит с песней», «не понимает юмора», «не любит стихов». Или — «не берет физкультуру в товарищи».

Такой человек оказывался неполноценным, недоразвитым, причем не физически, а — нравственно. Тогда господствовало словосочетание «победила дружба». Не мощь, не умение, не другие общепринятые слагаемые победы — потому что не в победе дело. У спорта вообще отнималась своя специфическая цель; не было сомнений, что спорт — не более чем аллегория жизни. А поскольку эпоха решила, что жизнь должна быть не только правильной, но и красивой, и в спорте торжествовала эстетика: «Что поражает в ней? Уж, во всяком случае, не только скорость бега... Бег Вильмы Рудольф совершенен и чист»[13]. Речь идет не о рекорде, а о никчемной, как у цветка, красоте.

Раньше СССР традиционно был силен в видах спорта, требующих физподготовки и выносливости: лыжах, коньках, беге на длинные дистанции. В начале 60-х в центре внимания оказались взрывные, спонтанные виды: прыжки, штанга — где собственно процесс занимал доли секунды. Успех достигался не трудом, а духом.

Даже в такой «научной» сфере как шахматы общественные симпатии были на стороне интуитивного стиля, который представляли молодые Михаил Таль, Виктор Корчной, Борис Спасский. 24-летний чемпион мира Таль — несомненно, герой своего времени, и такие похвалы, звучавшие по его адресу, могли звучать только тогда: «Глубина его игры — это глубина не математика, а поэта... Таль доверяет случайности... Он верит своему вдохновению, своей интуиции, он готов нарушить шахматные законы»[14].

Вдохновенные интеллектуалы насмешливо и легко взлетали на такие вершины, куда прежде возводил только тяжелый кропотливый труд. Это был спорт личностей.

Личность побеждала даже в командных видах спорта. Очень осторожно готовилось покушение на коллективизм: «Разве это идолопоклонство перед сыгранностью не сужает возможности... в поисках новых мастеров международного класса?» [15] В футболе и хоккее возникли официальные звезды [16]. Чаще всего — в негативном сочетании «звездная болезнь», но ведь и ярлык свидетельствовал о факте. Заманчиво было представить футбольный матч суммой поединков, то есть столкновением не двух сил, а двадцати двух воль и характеров.

Не зря спортивная тематика в такой трактовке привлекала внимание самых популярных писателей и поэтов. Накал страстей позволял строить острые моральные конфликты. Эзопов стиль охотно пользовался спортивной терминологией: «Левый крайний, боже мой, ты играешь головой» (Вознесенский), «Справедливости в мире и на поле нет, посему я всегда только слева играю» [17] (Высоцкий).

Спортивное состязание рассматривалось как нравственная коллизия — нечто, не подлежащее поверке алгеброй.

«Алгебра» — то есть наука — и нанесла первый удар по этой красивой концепции.

Планирование спортивных успехов на строго научной основе какое-то время сосуществовало с полетом свободного духа. В любой статье о поразившем мир бразильском футболе упоминались как артистизм игроков, так и наличие в команде штатного психолога. Про случайно заехавших в Советский Союз канадских хоккеистов из «Келовны Пеккерс» рассказывали, что их тренировки регулирует ЭВМ. Появились фотографии спортсменов, опутанных проводами. Наука честно пыталась учесть нравственный и интеллектуальный факторы в тренировочном цикле, вводя «коэффициент вдохновения» в «формулу успеха»,— но уже сама терминология говорила об искусственности и безнадежности таких попыток.

Наконец, сам спорт по своей соревновательной сути отчаянно сопротивлялся превращению его в эстетское действо. Изящно прибежать последним мог позволить себе физкультурник, а не спортсмен. Сама конкретность спортивных результатов — голы, очки, секунды — только временно дала себя потеснить гармонии

и красоте. Успех гораздо проще было отождествить не с расплывчатым отдаленным совершенством, а с внятной и ощутимой победой. Это чуть было не забытое слово — победа — и стало, в конце концов, ключевым. Особенно когда после триумфа на Олимпиадах в Мельбурне (1956) и Риме (1960), Советский Союз чуть не пропустил вперед американцев в Токио (1964).

На середину 60-х и приходится окончательная победа спортивных физиков над спортивными лириками. Лирикам оставили необязательную физкультуру и неконкретный туризм. Спорт начал делиться на массовый и большой.

Изменились и слова: «Высшее мастерство, разложенное на элементы, рассчитанное и проверенное... будет основой победы. ...Спорт, как занятие эмоциональное, основанное на вдохновении, на «игре мускулов», на сочетании красивых движений, получил научную основу...» [18] Разложение на элементы — это и есть уничтожение гармонии. Ее-то и принесли в жертву победе.

«Оттепельная» чемпионка продолжает повторять: «Я за радостный, веселый спорт... Я — за «Моцартов» в спорте...» [19] Чемпионка следующего поколения не менее декларативна: «В театральный институт я поступать не буду. Я хочу очень серьезно заниматься гимнастикой» [20]. Статьи Ларисы Латыниной и Натальи Кучинской, написанные с разрывом в два года, называются одинаково: «Моя гимнастика». У каждой она, действительно, своя.

В приоткрытую щель хлынул поток признаний: «Мила надевает на тренировках пояс, который весит десять килограммов. Мы называем этот пояс «полпуда грации» [21]. О какой моцартианской легкости может идти речь, если даже фигуристы — почти балетные артисты, парящие и плывущие — измеряли грацию в пудах? Но — побеждали.

Отсюда напрашивался логический вывод о невозможности совмещать столь тяжкий спортивный труд с каким-либо еще. Ушли в прошлое красивые мечты: «После работы в цехе или заводоуправлении, на ферме или стройке хорошо вдохнуть полной грудью, пробежаться, встряхнуться на спортплощадке или стадионе. И тогда уж открыть тетради и погрузиться в формулы и расчеты» [22].

Фраза «Победила дружба» целиком перешла в сферу юмора и сатиры:

А гвинеец Сэм Брук
Обошел меня на круг,
А еще вчера все вокруг
Мне говорили: «Сэм — друг,
Сэм — наш, гвинейский друг» [23].

Специалисты облегченно сбрасывали ненужный для победы и рекорда груз эстетики и этики спорта, навьюченный общественной моралью: «Мне недавно довелось прочитать рассказ о молодых футболистах,— говорю я.— Увлеченные самим процессом игры, ее красотой, они забывают, что надо забивать голы.— Маслов смеется: — Интеллигентские штучки» [24].

Ходить перед стартом в музей стало не обязательно.

Установка на победу воскресила идею ответственности — перед товарищами, тренерами, спортобществом, болельщиками, страной. Произошла смена единицы советского спорта: вместо личности — команда.

Цельность противопоставлялась мозаичности, ансамбль — солистам, и даже в таком сугубо индивидуальном виде спорта, как борьба считалось необходимым «почувствовать себя командой. Не просто группой спортсменов, волей судьбы собравшихся вместе, а единой командой» [25].

Спортом занимались коллективы квалифицированных специалистов, имеющие вполне определенную производственную задачу. Таких людей называют — профессионалы.

Но именно это слово и не произносилось. Профессионалы были на Западе, где спорт давал прибежище социальным аутсайдерам: «Улица — тюрьма — ринг: такова биография чемпиона мира по боксу С. Листона» [26]. Советский чемпион по боксу готовился к титулу не в тюрьме, а в университете, где защищал диссертацию «Проблемы кондиционирования воздуха» (В. Попенченко) [27]. Между этими полюсами располагался «их» профессиональный и «наш» интеллектуальный спорт. Однако всем было известно, что успехов в спорте могли добиться только те, для кого спорт был делом всей жизни — профессией.

Слово по-прежнему оставалось запретным — одним из секретов полишинеля в советском обществе. Но и — одной из трепетно хранимых иллюзий. Только в неподцензурном Магнитиздате мог иронизировать над советской хоккейной сборной Высоцкий:

Профессионалам по всяким каналам —
То много, то мало на банковский счет.
А наши ребята за ту же зарплату
Уже пятикратно выходят вперед [28].

Зарплата была, были и премии, подъемные, квартальные, командировочные, квартирные. Советский спорт, став производством, вступил в последнюю стадию своего затяжного тройного прыжка: спорт военизированный — спорт интеллектуальный — спорт профессиональный.

Кардинальные изменения произошли как в сфере предложения, так и в сфере спроса.

Болельщик военизированного периода не ощущал своего принципиального отличия от спортсмена, трибуны — от стадиона. Человек на трибуне зарабатывал не меньше и даже выглядел так же — под шевиотовым костюмом на нем были длинные «семейные» трусы и майка с глубокими проймами, точь-в-точь как на чемпионе. Спортсменов еще называли физкультурниками, не видя в этом ни лицемерия, ни насмешки.

Интеллектуальный период дал звезд и кумиров. Их физическое и нравственное совершенство представлялось недостижимым, их облик — многогранным. Быть как Брумель, Власов, Яшин означало не просто стать ловким и сильным, но и — мужественным, честным, умным.

Советский спорт не сразу стал профессиональным. Так же постепенно менялся и болельщик, который тоже становился профессионалом. Спорт превращался в важное дело не только для участника, но и для зрителя.

Посещение спортивных мероприятий перешло из разряда досужего времяпрепровождения в страсть, способ существования.

Приверженность любимой команде давала ощущение причастности, чувство «своего». Драки после хоккейных и футбольных матчей стали привычными, и мало кто ходил на стадион без бутылки. Эмоциональный взрыв, увенчанный катарсисом — голом и победой,— обеспечивал человека полноценной жизнью на полтора-два часа.

Спортивные состязания стали все заметнее приобретать зловещий оттенок агрессий. На международном уровне «свое» естественным образом заменялось на «наше». «Наши» обязаны были

«вмазать» шведам, «наказать» немцев, «проучить» американцев. Советские сборные, как десантные отряды, совершали глубокие рейды в тылу врага, вызывая победами чувство законной гордости. Разумеется, эту эмоцию разделяли не все. Спортивные диссиденты вызывающе восхищались элегантностью бразильских и мощью западногерманских футболистов. В хоккее конца 60-х интеллигентские симпатии были безраздельно отданы чехам.

Никто и не думал о спорте, когда в марте 69-го на первенстве мира по хоккею чехословаки вышли на лед против команды Советского Союза — «грозной ледовой дружины», уже по одному лишь газетному жаргону являющейся подразделением победоносной армии»[29]. И хоккейная победа Чехословакии стала реваншем, печальным триумфом шестидесятников: реальную жизнь теснила игра.

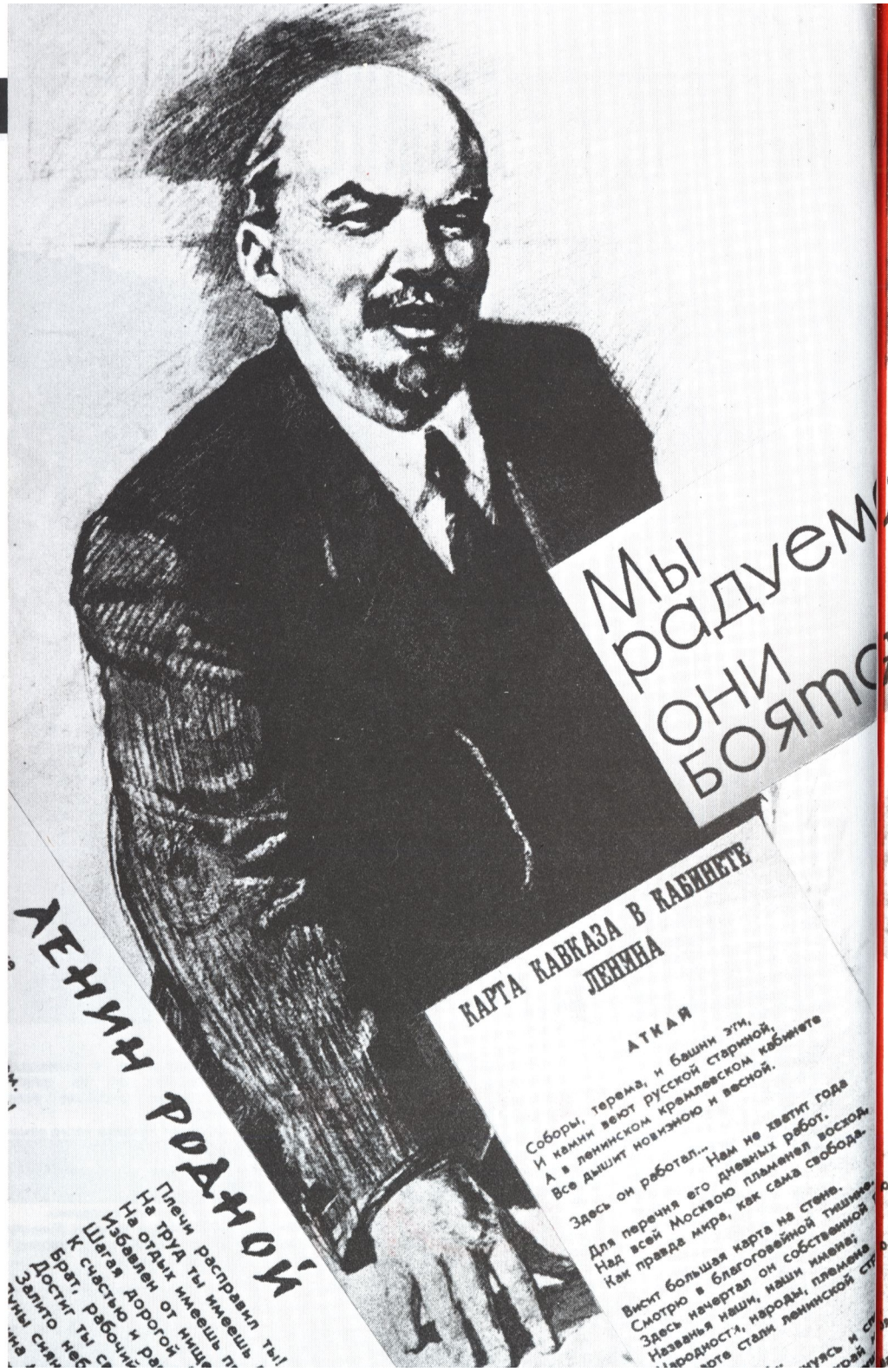
ВСТРЕЧИ НА ЛЫЖНЕ

В. ВИКТОРОВ

Фото В. Володкина, Б. Светланова.



Спортивные состязания стали все заметнее приобретать зловещий оттенок международной агрессии.


Мы радуемся, они боятся

ЛЕНИН РОДНОЙ

Плечи расправил ты!
На труд ты имеешь
На отдых имеешь
Избавлен от нищ
Шагая дорогой
К счастью и ра
Брат, рабочий
Достиг ты
Залито неб
Луны сиян

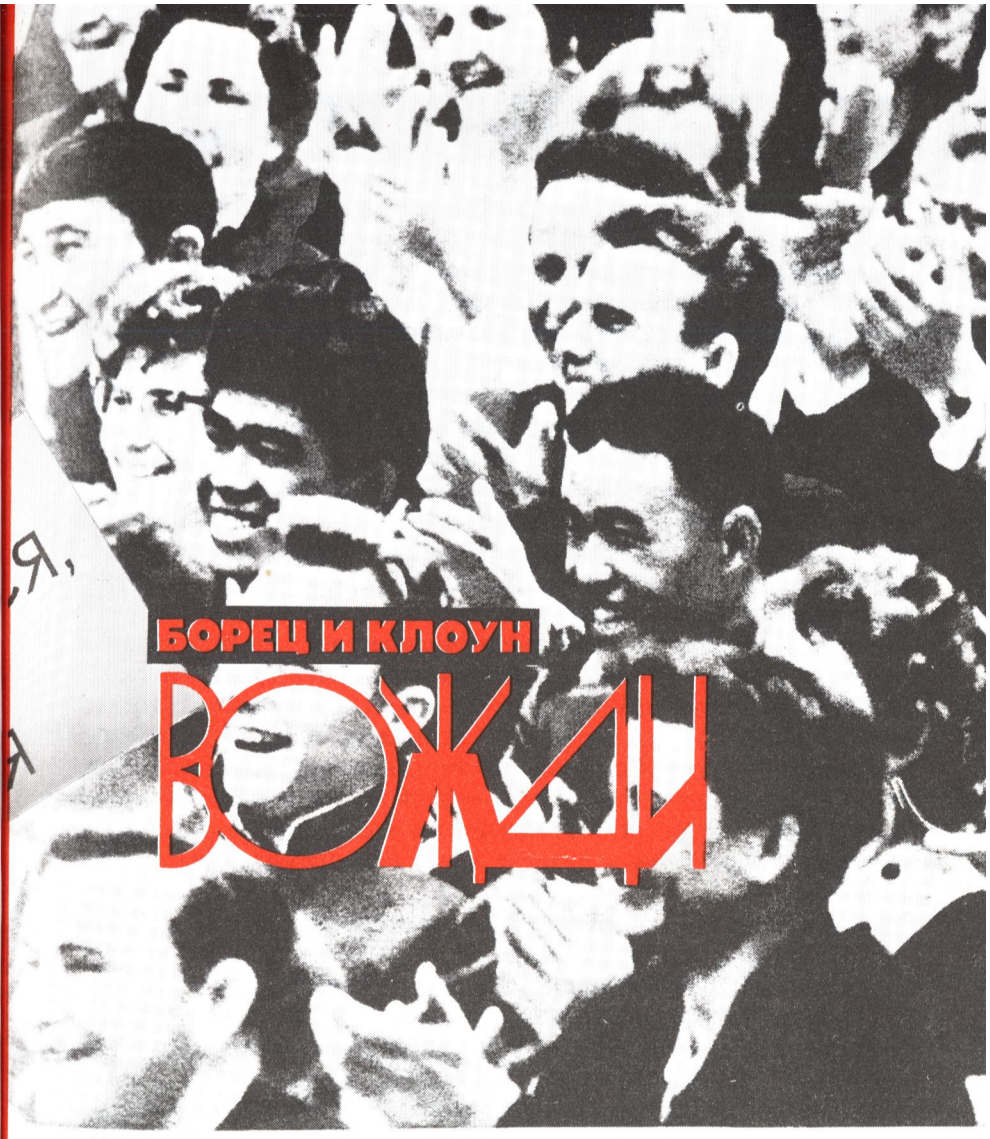
КАРТА КАВКАЗА В КАБИНЕТЕ ЛЕНИНА

АТКАЙ

Соборы, терема, и башни эти,
И камни веют русской стариной,
А в ленинском кремлевском кабинете
Все дышит новизною и весной.

Здесь он работал...
Нам не хватит года
Для перечня его дневных работ.
Над всей Москвою пламенел восход,
Как правда мира, как сама свобода.

Висит большая карта на стене.
Смотрю в благоговейной тишине.
Здесь начертал он собственной
Названья наши, наши имена;
Народности, народы, племена
...арте стали ленинской стр...


БОРЕЦ И КЛОУН
ВОЖДИ

ЛЕНИН С НА...

...съезда комсомола было назначено на десять. В де... фойе уже бурлило праздничным, весенним много...

...смотреть сверху, то видно, как путешествуют по залу ...ки — это африканцы в белых одеяниях и школьни... ...ных фартуках.

...подпадами вливают в этот водоворот новые ...ки сюда со всей страны, со всего мира,

Темноволосые узбечки и беленькие эстонк... и загорелые полеводы, властители подземных ... зяева небес летчики — все смешались, закруж...

В центре фойе — плотное кольцо. Лезгинка переходит в восточный танец.

С одной стороны доносятся удары бубна, с д... деон, рвется под своды фойе песня. Делегат... атрибутами съезда — мандатами, папками,

После Сталина у страны оказалось сразу несколько новых вождей.

Дело вовсе не в чехарде, которую устроили в борьбе за власть Маленков, Хрущев, Берия, Молотов, Каганович и примкнувший Шепилов. Дело в том, что много лет Сталин выполнял роль политического, интеллектуального, нравственного ориентира — в одиночку. Он заместил всех предшествующих и сопутствующих ему кумиров, в результате отменив их за ненадобностью. Марксизм нашел свою вершину и окончательное воплощение в его трудах, покрыв тенью забвения самих основоположников. Так же затмился образ Ленина: «Сталин — это Ленин сегодня»[30]. Рядом с вождем были, в лучшем случае, соратники, в худшем — замаскировавшиеся враги. Они обступали Сталина на фотографиях и трибунах, ничуть не заслоняя его.

Когда Сталина отменили, оттесненные им вожди бросились занимать хорошие места. Одновременно вынесли из Мавзолея Сталина и в Охотном Ряду открыли памятник Марксу. В том же номере «Правды», где на первой странице сообщалось о выносе тела, на 10-й — толпы оживленных москвичей гуляли вокруг лохматой гранитной глыбы[31]. Становилось понятно, что история не только вычеркивает, но и восстанавливает. В это время в страну заново пришли Маркс и Энгельс: считалось, что их гибкая и тонкая философия не имела отношения к ее практическому извращению Сталиным. Скорее в эпоху западничества уместно было вспомнить, что немецкие мыслители — соотечественники явившихся в те же годы Ремарка и Белля.

Однако Маркс и Энгельс были вождями второстепенными. В целом же изъятие Сталина из жизни происходило как реабилитация Ленина. Постановление XXII съезда гласило: «Признать нецелесообразным дальнейшее сохранение в Мавзолее саркофага с гробом И. В. Сталина, так как серьезные нарушения Сталиным ленинских заветов, злоупотребления властью, массовые репрессии против честных советских людей и другие действия в период культа личности делают невозможным оставление гроба с его телом в Мавзолее В. И. Ленина»[32].

Легко заметить, что из всех сталинских преступлений на первом месте стоят нарушения ленинских заветов. За языческим ужасом, которым веет от этого текста, просматривается основная идея: Сталина не выносят — это Ленин выталкивает его из Мавзолея, Ленин не хочет лежать с ним рядом. В лавине разоблачений, обрушившейся на Сталина, самые весомые удары достаются ему от Ленина: тот, оказывается, все знал — и о грубости своего преемника, и о непригодности к роли генсека. Непригодность — в духе 60-х — имелась в виду отнюдь не профессиональная, а нравственная. 60-е Сталина отвергали как человека аморального[33].

Совсем иным был Ленин. 60-е открыли Ленина-человека, хотя об этом уже предупреждал Маяковский: «Он, как вы и я, совсем такой же...» Но о ленинской человечности забыли, потому что долго длился период божества-Сталина: доброго, а в 60-е выяснилось — злого. Богов устали бояться, и вновь обретенный Ленин пошел по стране невзрачным, но очень хорошим человеком. Лениниана достигла кульминации к 1970 году, в дни столетнего юбилея вождя, разрядившись пышным фейерверком анекдотов. Но это было потом, а в начале об Ильиче вполне серьезно рассказывали истории, позже ставшие анекдотическими зачинами: «Известно, что Владимир Ильич, будучи человеком удивительной скромности, терпеть не мог пышных торжеств, юбилейных речей, адресованных ему подарков»[34]. Портной излагал длинную неинтересную историю, в которой вся информация сводилась к тому, что у Ильича было только одно пальто[35].

Взамен демонического Сталина предлагался человеческий Ленин. Доступность второго была всегда полемична, напоминая о недосягаемости первого. При этом никого не смущало, что имя Ленина упоминалось теперь так же часто, как и имя Сталина[36]: почему не поговорить о хорошем! И говорили — много, горячо, разнообразно. Бунтарь Вознесенский требовал убрать портрет вождя с ассигнаций[37], нонконформист Чичибабин мечтал: «Я хочу быть таким, как Ильич!»[38], диссиденты боролись с властями с помощью Ленина, и совсем по-бабьи причитала у памятника поэтесса Румянцева:

На перекрестке четырех ветров
Ладонь твоя широкая застыла.
...Я подойду, я застегну твое пальто,
Чтобы тебе теплее было...[39]

Человеческий облик вождя породил множество ленинских легенд: он оказывался самым деликатным, самым остроумным, самым спортивным, даже самым красивым[40]. И главное — самым простым. После небожителя Сталина было страшно заманчиво застегивать на Ленине единственное пальто.

Защитный френч выглядел не роскошнее Ильичевой кепки, но в 60-е обнаружили тиранический характер Сталина в его суровости, недемократичности, надменности, себялюбии [41].

Стилевые изменения во всем мире вызвали к жизни демократических, доступных, простых лидеров. Кастро обходился без услуг шофера. Обаятельный Кеннеди сменил холодноватого генерала Эйзенхауэра. И то, что «желая упрекнуть, а не похвалить Хрущева, Сталин однажды назвал его «народником» [42] — приближало вождя 60-х к Ленину, а от Сталина отдаляло. Никто, правда, не называл Хрущева Лениным сегодня, но и в простоте его не сомневался.

Идейная смута 60-х, вызванная свержением кумира [43], естественно не доверяла кумирам вообще.

На волне тяги к человечности появился уже не оживший, а по-настоящему живой человек — Никита Сергеевич Хрущев.

Поразительна противоречивость фигуры Хрущева. Если многочисленные трактовки Сталина отличаются одна от другой разными ответами на вопросы «как?» и «почему?», то когда речь идет о Хрущеве, неясно даже — «что?». Диаметрально противоположны мнения о его уме, чувстве юмора, особенностях характера и темперамента, способностях руководителя. Неясно — в чем его конкретные достижения. Неясно — хуже или лучше стало при Хрущеве.

Человек из народных низов, он остался таким до конца жизни, хотя всю ее провел на самых верхах советской власти. Помимо этого определяющего качества — подлинной народности, Хрущев был еще плотью от плоти своего времени — эклектичного, неопределенного, поэтического. Трудно даже сказать, кто кого породил: Хрущев 60-е или 60-е — Хрущева. Так или иначе, он был, несомненно, самой характерной личностью эпохи, затмевая ярким своеобразием современных ему художников, ученых, артистов. Хрущев ярок даже в том, что было ему непривычно и чуждо: например, в изящной словесности. В бессвязном многословии речей, в безграмотной путанице мемуаров — вспыхивают перлы оригинальной образности и элегантного словоупотребления. Ему принадлежит лучшая формулировка «оттепели», точная и глубокая: «Возросли потребности, я бы даже сказал, что не потребности возросли, возросли возможности говорить о потребностях» [44].

Разумеется, и в своем основном деле Хрущев проявлял талант. Он явил собой новый тип руководителя, открыто берущего игру на себя. Прежде сила и порядок, реальная, будничная власть сосредотачивались в руках некоего собирательного образа: начальник отдела кадров, домоуправ, дворник. Что-то серое, облеченное запретительными полномочиями. Известно, что Советским Союзом правит вахтер. С этим советский человек сталкивается в школе, где директор заискивает и учителя лебезят перед пожилой угрюмой женщиной с метлой и ключами. Вовсе не рабочий и колхозница, как утверждали скульптор Мухина и газеты, а вахтер и уборщица осеняют жизненный путь. Коридорные в гостиницах, проводницы в поездах, швейцары в ресторанах, вохровцы на проходной, санитарки, приемщицы, продавцы — все они серьезно и неторопливо вершат свой будничный суд. Их речи значительны и немногословны: «Местов нет!» — встречают и провожают человека на земле нянечка в родильном доме и кладбищенский сторож.

Против карикатурной безымянности власти (каждая кухарка может управлять государством!) восстал Хрущев, став лидером не закулисным, не кабинетным, а явным, сценическим, первополосным. Может быть, в нем жило унизительное воспоминание о последнем дне Сталина, когда он с Берией, Маленковым и Булганиным трясся от страха, не решаясь выйти к полумертвому вождю, и послали подавальщицу Матрену Петровну. От нее и поступили судьбоносные сведения к наследникам сверхдержавы [45].

От парализующей власти Матрены Петровны Хрущев стремился избавиться всей силой своей буйной натуры. Но противоречие — возможно, ключевое — состояло в том, что он-то и был Матреной Петровной: с косностью, невежеством, суевериями и предрассудками.

С одной стороны, Хрущев был адекватен динамичной эпохе, с другой — консервативной массе.

Драматический конфликт 60-х в целом и самого Хрущева в частности заключался в разрыве между стилем времени и застойностью механизмов общественной, политической, экономической, культурной жизни. Как будто сверкающую полировкой и никелем стереоустановку принесли в дом, где нет электричества.

На яркие картины импрессионистов смотрели люди в душных

костюмах черного бостона. Хрущев же такое противоречие игнорировал, потому что не мог его заметить: ведь это он сам стоял в черном костюме.

Хрущев был слишком живым и страстным человеком, чтобы обладать способностью взгляда со стороны. Для этого нужен аналитик, а он был — как впоследствии стало известно — волюнтаристом.

Хрущев следовал известным образцам: «...Разрушим до основанья, а затем мы наш, мы новый мир построим...» Стилевые противоречия его не пугали.

Хрущев вообще мало чего боялся, будучи заполошно, поблатному, бесстрашен. Его истерическая — впрочем, и историческая — решительность проявлялась не раз: в реорганизации КГБ, свержении Берии, расправе с оппозицией, освоении целины, внедрении кукурузы, жилищном строительстве («хрущобы»), угрозе войны Англии и Франции в Египте, сокращении армии, разоблачении Сталина на XX и XXII съездах. Характерно, что крупнейшее свое международное поражение Хрущев потерпел тоже поблатному — взятый «на испуг» президентом Кеннеди во время кубинского кризиса.

Загоревшись новой идеей, Хрущев не знал удержу и стеснения в ее воплощении. Если состязаться с Америкой по мясу, молоку и маслу — то уж и обогнать ее за 3—4 года. Если налаживать связь теории с практикой — то расселить Тимирязевскую академию по селам: «Нечего им пахать по асфальту»[46]. Если сажать кукурузу — то от субтропиков до Заполярья.

При этом «сказать» для художественно-революционного мышления Хрущева — и значило «сделать». Он охотно позволял себе увлечься потемкинскими деревнями, умиляясь початками величиной с «трехдюймовый снаряд» («В кукурузных джунглях однажды заблудилась группа школьников, кто-то предложил даже вызвать вертолет»[47]). В одно время в Советском Союзе появились конфеты, пиво, колбаса из кукурузы[48] и анекдот: «Вы слышали, Нобелевская премия по сельскому хозяйству присуждена Хрущеву! — Ну да! А за что? — Как же, он первый человек, который умудрился посеять зерно в Сибири, а снять урожай в Канаде!»[49] Подсчитывать результаты — скучно[50]. Интересно — творить.

Сочетая в себе творческую импульсивность преобразователя с «матрен-петровниным» консерватизмом — Хрущев был худ-

шим из догматиков. То есть он считал догмой любую из своих мимолетных гипотез и требовал этого от других.

По сути, его главной догмой была гибкость и множественность. Но — в очерченных устоявшимся мировоззрением рамках.

Хрущев был человеком широким, но плоскостным, а не трехмерным. Он не умел помещать свои смелые начинания в контекст эпохи в целом. Он видел их локально — оттого и придавал такое большое значение каждой из инициатив, оттого и верил в нее беззаветно, оттого и возлагал слишком радужные надежды, всякий раз считая, что найдена панацея от всех бед.

Импульсивный догматизм Хрущева был в стиле 60-х. Сменились лозунги, но не методы. Новые идеи внедрялись по старинке. За новое общество боролись крикливо, хвастливо, обязательно «во всенародном масштабе», желательно с привлечением руководящих органов, непримиримо, нетерпимо, зло. На руинах сталинизма снова строили методами Беломорканала.

Однако этот глобальный конфликт 60-х осложнялся новым этическим комплексом: политика отделялась от морали. Для Сталина такого разделения не существовало: «Государь, если он хочет сохранить власть, должен приобрести умение отступать от добра и пользоваться этим умением смотря по надобности»[51]. После разоблачения культа личности для нового «макьявеля» места не было, и Хрущев явно подчеркивал свою непохожесть на прежнего вождя. Он резко сократил правительственную охрану, перечень руководителей давал по алфавиту, хвалился, что не репрессировал никого из побежденных оппозиционеров[52], удивлял своей демократичностью западных лидеров[53]. Они судили по Сталину, а Хрущев жил, постоянно дискутируя с ним. Разница между двумя вождями проявлялась в их вкусах: Сталин и Хрущев оба пополняли свое знание о стране просмотром кино. Но Сталин смотрел художественные фильмы, а Хрущев — кинохронику[54]. Установка на правдоподобие, столь характерная для 60-х, была свойственна в полной мере и Хрущеву.

Он назойливо маячил перед публикой именно потому, что предыдущие вожди прятались за кулисами. Громогласность против умолчания, публичность против келейности — все это были варианты основной оппозиции «правда — ложь».

Только советских людей поражал новизной государственный деятель как публичная фигура. Иностранцы же признали в Хрущеве своего.

Если в 56-м году он вызывал привычную усмешку (а у своей интеллигенции — мучительный стыд), разгуливая с Булганиным по Англии, вроде Бобчинского с Добчинским [55], то уже вскоре, войдя в силу,— не тушевался и не уступал политикам Запада. Во всяком случае, те ощущали стилистическое родство с советским премьером. Британский парламентарий мог сказать: «...Их можно было бы обменять, и Макмиллан так же хорошо подошел бы к Кремлю, как Хрущев — к Даунинг-стрит, 10» [56]. Ему вторил Линдон Джонсон: «Вступайте к нам в сенат, г-н Хрущев... Вы были бы выдающимся сенатором» [57]. Невозможно себе представить подобную шутливость в разговоре со Сталиным (да и — по другой причине — с Брежневым). Для Хрущева же не могло быть лучшего комплимента. Он был единственным советским лидером, который во всех своих действиях соотносился с самим фактом существования Запада. Ему часто не хватало исторического мышления, но географическую карту он видел хорошо. Понимая, что на ее площади двоим не разойтись, он хотел диалога с Америкой и не боялся его, в отличие от своих предшественников и соратников, которые предпочитали обиженно не общаться — потому что все равно обманут [58]. Страдая тем же известным российским комплексом, Хрущев тоже был уверен, что обманут, но еще больше верил в себя. Запад был его навязчивой идеей, его дьявольским соблазном, его сладким ужасом — как и для всей страны в 60-е.

Смесь самоуничижения с гордыней — источник переживаний Хрущева. Хорошо, что Эйзенхауэр приглашает в Кемп-Дэвид, или это они насмешку строят? Будут американцы встречать по протоколу или нарушат, и как тогда быть? [59] И как заносчиво и жалко он заявляет журналисту: «Я приехал не лаять. Я — Председатель Совета Министров величайшего в мире социалистического государства... Вежливость должна быть, а то вы привыкли всех тыкать и мыкать», уверенный, что уж после такого реприманда ему точно устроят пакость: «То, что мы говорим сейчас, передается в эфир? — Д. Саскайнд: Да.— Н. С. Хрущев: Вы хитрый американец. У вас есть микрофон. Вас слушают, а меня, наверное, нет?» [60]

Хрущеву очень нравился Запад. Именно поэтому ему так хотелось, чтобы его признали равным. Именно поэтому провал в кубинском кризисе стал решающим поражением Хрущева, от которого он так и не оправился. Уже на пенсии, сочиняя мему-

ары, он заново переживал осенние события 62-го года и тешил себя рассуждениями, что и Америке было несладко, рассказывая лубочные истории о том, как Роберт Кеннеди «оставил послу свой телефон и просил звонить в любое время. Когда он говорил с послом, он чуть не плакал: — Я,— говорит,— детей не видел (у него было шесть душ детей) и Президент тоже. Мы сидим в Белом доме, не спим — и глаза красные-красные» [61]. Вот она, российская мечта: чтоб Запад в ногах навалялся.

Будучи самым влиятельным в стране западником, Хрущев охотно заимствовал из-за рубежа все, что мог — от перестройки Арбата до столовых самообслуживания, от картонных пакетов для молока до кощунственной переделки ленинской формулы: «Коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны плюс химизация народного хозяйства». (Теперь все надо было делать из иноземных полимеров и сдавать химию в гуманитарные вузы.)

При этом переимчивый Хрущев не забывал добавить, что на самом-то деле мы сами и у нас все — лучше. И если не прямо сейчас, то обязательно — вскорости. В нем жили одновременно Александр I и атаман Платов. Рассматривая «всякие цейгаузы, оружейные и мыльнопильные заводы», он не давал «показать над нами во всех вещах преимущество и тем славиться...»; ахал, глядя на «буреметры морские, мерблюзьи мантоны пеших полков, а для конницы смолевые непромокабли», и сам же держал «свою ажидацию, что для него все ничего не значит» [62]. По-александровски тяготея к иностранному: «Мы высоко оцениваем вашу продукцию», он не забывал по-платовски добавить: «Только не хвастайтесь... Мы рассчитываем обогнать вас в этом деле» [63].

Открытый идеям преобразователь и самодовольный ретроград, Хрущев был тем самым русским мальчиком, исправляющим по своему вкусу карту звездного неба.

Размашисто талантливый, Хрущев отличался в неожиданных областях: например, он, путавший «кислоту» с «кислородом», придумал способ помещения ракет в подземные шахты [64] и, как говорят, новый тип снегоуборочной машины. При этом, не обладая регулярными знаниями и общей культурой, Хрущев многое сделал неуместно, не вовремя, не так: слишком поспешно разгонял армию, слишком рьяно руководил культурой, слишком широко сажал кукурузу. Вероятно, он не знал, что «презрение государи возбуждают непостоянством, легкомыслием», и не

догадывался, что «добрыми делами можно навлечь на себя ненависть точно так же, как и дурными»[65]. Такое неведение характерно: рациональным мышлением Хрущев, как и вся его эпоха, не обладал.

Хрущев не умел мыслить схемами и моделями, хотя теоретически понимал, что для государственного человека это необходимо. Но даже тогда, когда он пытался быть хоть чуточку «макьявелем», человеческие симпатии в нем преобладали: «Он (академик Лаврентьев.— Авт.) мне нравился за простоту свою: это был ученый, который ходил в кирзовых сапогах. Я как раз не говорю, что это главное качество ученого... Пусть он даже будет в цилиндре, непризнанном в нашем обществе головном уборе»[66]. По этому причудливому пассажу, достойному Зощенко, как раз видно, насколько равнодушен к идее пользы государственный деятель Хрущев, насколько важнее для него личность, суть, душа.

Диалог никогда не был для него отвлеченным понятием: он понимал его дословно — как разговор двоих. Его не изощренный науками ум не оперировал абстракциями, за идеей он видел личность, и только это его и трогало. Хрущева в самом деле интересовало, что думает Эрнст Неизвестный о Пикассо, а Евтушенко — о современной живописи[67]; он всерьез спрашивал американского корреспондента — сколько тому лет, и сетовал на его невоспитанность[68]. Хрущев, как истинный борец, постоянно как бы мерялся силами — с Кеннеди или Сталиным, постоянно сопоставлял свою личность с другими. В поединках Хрущев часто побеждал, противопоставляя мастерству — напор, энергию, интуицию[69]. Его неорганизованный и неряшливый ум мог выхватывать из проблемы нечто существенное, основополагающее: так он обвинил художников-модернистов в педерастии, основываясь только на их работах. Аргумент жизненной силы Хрущева бил несправедливо, но обидно: сразу в корень — в имитацию акта творения.

Сам-то Хрущев был, несомненно, творец, художник. Его речи, выступления, интервью следует ценить, как «Евгения Онегина» — по лирическим отступлениям. Эти отходы от протокола и этикета ставили в тупик западных политиков и комментаторов, которые никак не могли понять: несдержанность это или холодный расчет[70]. Что имел в виду советский лидер, когда на вполне официальном уровне назвал Мао Цзедуна «старой калошей», болгар — иждивенцами[71], а американскому представителю в

ООН заявил: «Чья бы корова мычала, а ваша молчала»[72].

Эта эксцентрика органична: Хрущев не строил политику, не играл в политику — он в ней жил. То есть был естественен, как всегда. В его безумии не было системы. Непредсказуемость его поэтического мышления, как в лирических стихах, вела основную тему по извилистому пути прихотливых ассоциаций. С трибуны ООН он мог в течение шести минут излагать два длинных анекдота из жизни царской России[73], в Заключительном слове на XXII съезде рассказывать потрясенным сталинскими преступлениями делегатам о вкусе слоновьего мяса и охоте на тигров[74], а американским миллионерам — про верблюда[75]. Хрущев спешил поделиться с другими тем, что было интересно ему самому. Регламентировать свою мысль ему, видимо, не приходило в голову. Истории на всякий случай жизни ему — мастеру не дефиниции, а аналогии — нужны были для зачина. Хрущев начинает политическую речь по-швейковски ошеломляюще: «Обращаясь к мэру города (Нью-Йорка.— Авт.) Роберту Вагнеру, он с добродушной улыбкой говорит: «Я чуть было не удержался и не назвал Вас Робертом Петровичем Вагнером. Когда я работал в молодости на заводе, управляющим у нас был инженер, которого звали Роберт Петрович Вагнер»[76]. И — все: тема Роберта Петровича больше не возникает.

Все эти причуды, не помещавшиеся ни в дипломатический протокол, ни в просто этикет, были именно поэтической вольностью. Причем не рассчитанным эпатажем футуриста, а спонтанным есенинским коленцем. И знаменитое громыханье ботинком по трибуне ООН было лишь добавочным выразительным средством — так горячий человек, не справляясь с потоком слов, помогает себе мимикой и жестами.

У клоунов есть два амплуа — белые и рыжие. По сути дела, все политические и общественные фигуры — это белые клоуны: расчетливые лицедеи, меняющие маски по сценарию и жестко запрограммированные правилами игры. Хрущев же выступал в другом жанре, раскрыв мощный потенциал «рыжего». Неуправляемость, непредсказуемость, анархия — все то, что до испуга смешит детей в рыжих клоунах,— в полной мере проявилось на международной арене. Наделенный даром импровизации, взрывной, артистичный, талантливый во всех своих благих и безумных делах — Хрущев был великим рыжим клоуном, повергающим страну и мир в смех, отвращение, гнев, восторг.

догадывался, что «добрыми делами можно навлечь на себя ненависть точно так же, как и дурными»[65]. Такое неведение характерно: рациональным мышлением Хрущев, как и вся его эпоха, не обладал.

Хрущев не умел мыслить схемами и моделями, хотя теоретически понимал, что для государственного человека это необходимо. Но даже тогда, когда он пытался быть хоть чуточку «макьявелем», человеческие симпатии в нем преобладали: «Он (академик Лаврентьев.— Авт.) мне нравился за простоту свою: это был ученый, который ходил в кирзовых сапогах. Я как раз не говорю, что это главное качество ученого... Пусть он даже будет в цилиндре, непризнанном в нашем обществе головном уборе»[66]. По этому причудливому пассажу, достойному Зощенко, как раз видно, насколько равнодушен к идее пользы государственный деятель Хрущев, насколько важнее для него личность, суть, душа.

Диалог никогда не был для него отвлеченным понятием: он понимал его дословно — как разговор двоих. Его не изощренный науками ум не оперировал абстракциями, за идеей он видел личность, и только это его и трогало. Хрущева в самом деле интересовало, что думает Эрнст Неизвестный о Пикассо, а Евтушенко — о современной живописи[67]; он всерьез спрашивал американского корреспондента — сколько тому лет, и сетовал на его невоспитанность[68]. Хрущев, как истинный борец, постоянно как бы мерялся силами — с Кеннеди или Сталиным, постоянно сопоставлял свою личность с другими. В поединках Хрущев часто побеждал, противопоставляя мастерству — напор, энергию, интуицию[69]. Его неорганизованный и неряшливый ум мог выхватывать из проблемы нечто существенное, основополагающее: так он обвинил художников-модернистов в педерастии, основываясь только на их работах. Аргумент жизненной силы Хрущева бил несправедливо, но обидно: сразу в корень — в имитацию акта творения.

Сам-то Хрущев был, несомненно, творец, художник. Его речи, выступления, интервью следует ценить, как «Евгения Онегина» — по лирическим отступлениям. Эти отходы от протокола и этикета ставили в тупик западных политиков и комментаторов, которые никак не могли понять: несдержанность это или холодный расчет[70]. Что имел в виду советский лидер, когда на вполне официальном уровне назвал Мао Цзедуна «старой калошей», болгар — иждивенцами[71], а американскому представителю в

ООН заявил: «Чья бы корова мычала, а ваша молчала»[72].

Эта эксцентрика органична: Хрущев не строил политику, не играл в политику — он в ней жил. То есть был естественен, как всегда. В его безумии не было системы. Непредсказуемость его поэтического мышления, как в лирических стихах, вела основную тему по извилистому пути прихотливых ассоциаций. С трибуны ООН он мог в течение шести минут излагать два длинных анекдота из жизни царской России[73], в Заключительном слове на XXII съезде рассказывать потрясенным сталинскими преступлениями делегатам о вкусе слоновьего мяса и охоте на тигров[74], а американским миллионерам — про верблюда[75]. Хрущев спешил поделиться с другими тем, что было интересно ему самому. Регламентировать свою мысль ему, видимо, не приходило в голову. Истории на всякий случай жизни ему — мастеру не дефиниции, а аналогии — нужны были для зачина. Хрущев начинает политическую речь по-швейковски ошеломляюще: «Обращаясь к мэру города (Нью-Йорка.— Авт.) Роберту Вагнеру, он с добродушной улыбкой говорит: «Я чуть было не удержался и не назвал Вас Робертом Петровичем Вагнером. Когда я работал в молодости на заводе, управляющим у нас был инженер, которого звали Роберт Петрович Вагнер»[76]. И — все: тема Роберта Петровича больше не возникает.

Все эти причуды, не помещавшиеся ни в дипломатический протокол, ни в просто этикет, были именно поэтической вольностью. Причем не рассчитанным эпатажем футуриста, а спонтанным есенинским коленцем. И знаменитое громыханье ботинком по трибуне ООН было лишь добавочным выразительным средством — так горячий человек, не справляясь с потоком слов, помогает себе мимикой и жестами.

У клоунов есть два амплуа — белые и рыжие. По сути дела, все политические и общественные фигуры — это белые клоуны: расчетливые лицедеи, меняющие маски по сценарию и жестко запрограммированные правилами игры. Хрущев же выступал в другом жанре, раскрыв мощный потенциал «рыжего». Неуправляемость, непредсказуемость, анархия — все то, что до испуга смешит детей в рыжих клоунах,— в полной мере проявилось на международной арене. Наделенный даром импровизации, взрывной, артистичный, талантливый во всех своих благих и безумных делах — Хрущев был великим рыжим клоуном, повергающим страну и мир в смех, отвращение, гнев, восторг.

Его сын был прав, когда сказал на похоронах: «...Он никого не оставил равнодушным. Есть люди, которые любят его, есть и такие, которые его ненавидят, но никто не мог пройти мимо него, не обернувшись»[77].

Творец и герой 60-х, Хрущев был противоречив, как его эпоха. Обладая революционным пафосом, он, как и вся «потешная» революция 60-х, оставил скорее ощущения, чем достижения. Если вехи сталинской эпохи незыблемы — метро, балет, война — то от Хрущева остались дома «хрущобы», шапки-«хрущёвки», воздушная кукуруза. Но если Сталин создал тотальный стиль, то Хрущев внедрил в советскую жизнь не менее важное — эклектику, бесстилье. То есть внес идею альтернативы.



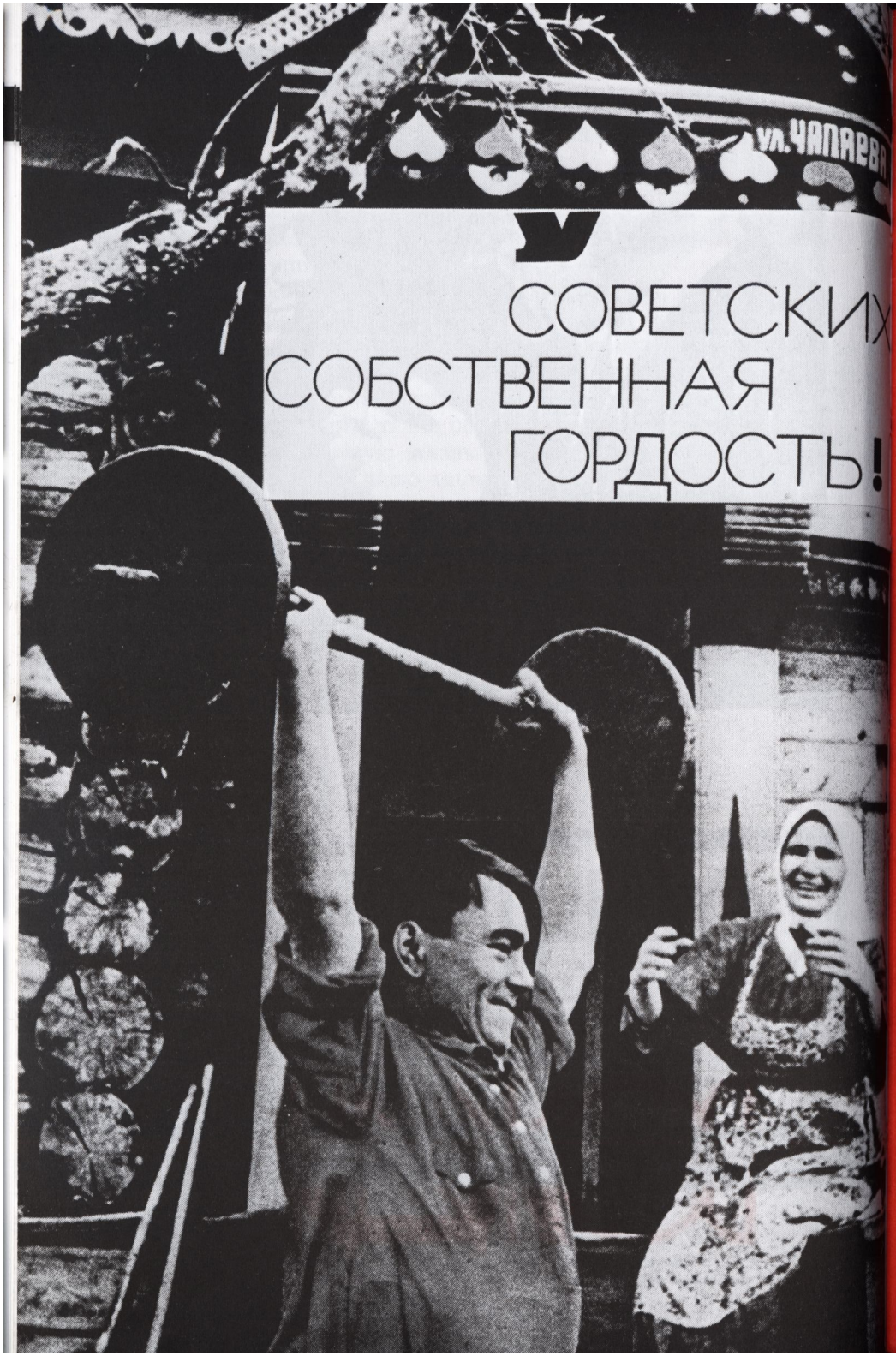
ВОЗРАСТ ВЕСНЫ ВОЖДЯ

Талантливый во всех своих благих и безумных делах — Хрущев был великим рыжим клоуном, повергающим страну и мир в смех, отвращение, гнев, восторг.

Польское сердце

На разных языках и разных странах поют о стихах и песнях о сердце человеческом. Но в Польше оно — предмет особого поклонения. Сердца великих поляков после их смерти хранятся как святыни. В Варшаве, в Народном музее, есть зал-мавзолей, в котором под сенью старинных боевых знамен стоит на позолоченном строгой архаичной урна с сердцем Костюшки, великого гражданина Польши. А сердце Шопена, похищенное в Варшаве! К нему тоже приходят и преклоняют перед ним колени

А. НИКОЛАЕВ,
специальный корреспондент «Огонька»



У СОВЕТСКИХ СОБСТВЕННАЯ ГОРДОСТЬ!



КРОНА И КОРНИ

НАРОД

Само это понятие — советский народ — настолько невнятно, расплывчато и так сопротивляется дефиниции, что в пору задаться вопросом: есть ли такое явление? Или, по крайней мере, было ли оно?

Большая Советская Энциклопедия определяет советский народ как общность людей, имеющих единую территорию, экономику, культуру, государство «и общую цель — построение коммунизма»[78].

В этом последнем и содержится ответ на вопрос — правомочно ли понятие «советский народ». Это явление существовало, поскольку имелось дополнительное метафизическое измерение.

Впрочем, экономика — необходимая составляющая народного единства — тоже оказалась в русле иррационального направления. 60-е отмечены декларацией отвращения к деньгам. Весьма примечательно, что 1961 год — год Программы КПСС, полета Гагарина, выноса Сталина из Мавзолея — начался с денежной реформы.

Денег стало в десять раз меньше: человек, получавший тысячу рублей в месяц, стал получать сто. «Крокодил» рисовал картинки, из которых выходило, что раньше копейки валялись на улице без всякого внимания, а теперь их бережно подбирают. «Правда» уверяла, что рубль стал вдесятеро полновеснее. На самом-то деле все знали, что не вдесятеро: масло за 27,50 оказалось по 3,50 за килограмм, в телефон-автомат вместо 15 копеек теперь следовало опускать две, а спички как стоили копейку — так и остались. Но дело, конечно, не в этом, а в том мистическом действе, в результате которого тысячерублевая зарплата превратилась в сторублевую. Выходит, через две реформы можно жить на рубль в месяц. И уже реально вырисовывался полный отказ от денег, обещанный партией.

Чем меньше денег в стране — тем меньше их у каждого. Чем меньше денег у каждого члена общества — тем общество равнее. Эту мысль охотно подхватили мастера культуры, так что кинорецензент недоуменно замечает: «...Если бы лет через пятьдесят или сто по нашим фильмам захотели изучить общественные отношения на рубеже пятидесятых-шестидесятых годов двадцатого века, никто не смог бы установить, были ли в этот период деньги и какую роль играли они в жизни людей»[79].

Это совершенно верно, кроме того, что не «через пятьдесят или сто», а уже через десять бессребреность 60-х стала восприниматься если не с насмешкой, то с усмешкой. Но и — с ностальгией.

Всему сказанному отнюдь не противоречит, что именно начало 60-х отмечено громкими процессами спекулянтов, валютчиков, фарцовщиков. Именно тогда прошумело знаменитое дело

Рокотова, и за экономические преступления стали расстреливать. Деньги, разумеется, существовали, но борьбу с ними вели всеми методами: от карикатур до расстрелов. Все это было торжеством общей уравнительной тенденции безденежности.

Формулировка БСЭ требует для понятия «народ» единства и культурного.

Прежняя — сталинская — культура внедряла и тиражировала художественные произведения высокого жанра. В кино преобладали снятые на пленку спектакли МХАТ'а, по радио звучала симфоническая музыка, литературу составляли оды в стихах и прозе. Пределом пошлости почитались старинные романсы, признаком нравственного разложения — интеллектуальный джаз. К искусству приходилось тянуться, даже в буквальном смысле: задирая голову к монументальной скульптуре, репродуктору, экрану (время телевизоров, которые смотришь сверху вниз, еще не наступило). Искусство, изливающееся сверху, носит сакральный характер. Для народной культуры необходимы отношения равноправия. Нужен процесс выравнивания художника и потребителя.

Приоткрытые границы впустили зарубежное искусство. Доступность образцов, как это всегда бывает, не повысила уровень потребления, а снизила уровень подражания. В эклектике 60-х возникла советская массовая культура — гитарные песни, интимные стихи, модная одежда, молодежный жаргон, «Голубые огоньки», легкая мебель. И главное — эстрада.

Характерно, что наиболее массовое из всех искусств в России было занято голосами западной ориентации. В эпоху западничества нерусская интонация стремительно распространилась по стране. Особую роль в этом сыграла Эдита Пьеха. Польская еврейка, родившаяся во Франции и ставшая солисткой ленинградского ансамбля «Дружба», она пела с акцентом: «В етым мирье, в етым горьоде, там гдье ульици грюстьят о льете...» Очарованные европейским лоском Пьехи, а еще больше — ее всесоюзным успехом, с акцентом запели советские певицы и певцы, намекая на причастность к западным стандартам. Возник некий универсальный язык, который распространился по схеме: большая эстрада — малая эстрада — самодеятельность — разговорная речь. На рязанской танцплощадке изъяснялись интимным шепотом неслыханного прежде звучания.

Дерусификацию языка, начатую эстрадой, продолжила молодежная проза и особенно — журналистика тех лет. В моде был макаронический язык, и очеркист писал «генерация» вместо «поколение», не чтобы выказать изящество, а чтобы его лучше поняли.

Универсальный язык не знал диалектных отличий. Шестидесятники не окали и не акали, а объяснялись на усредненном говоре, восходящем если не к Хемингуэю, то к Гладилину, который господствовал в жизни и литературе. Ничего не было странного для читателей «Огонька» в стихах Л. Лермана:

Что делать нам с твоим бездумьем ярым,
Косматая таежная река?
Взорвать, пока не поздно, аммоналом,
Да так взорвать, чтоб брызги в облака [80]

— с курсивной строчкой под стихотворением: «(пер. с еврейского)».

Еврей-лесовик не слишком выделялся среди скитальцев, ищущих под гитару полезные ископаемые. Бездомные и безденежные герои, говорящие на понятном универсальном языке, потребляющие универсальную массовую культуру, как бы составляли большую дружную семью, в которую хотелось влиться. Более того, не хотелось расставаться. В газетных разговорах о том, что пора всем советским людям жить в отдельных квартирах, звучали неуверенность и сожаление: «Жили без бурь и штормов на кухне — народ все рабочий, сознательный. А все же согласитесь: в одной прихожей пять ребят — многовато» [81].

Родственные отношения, озаренные светом общей цели. Неважно, что в реальной жизни это не наблюдалось — но такова была нравственная установка общества, которая призвана была превратить идеалистическую толпу в общность по имени «советский народ». В такой общественной структуре возникало чувство комфорта, какое дает только общее дело — при всем дискомфорте конкретного быта и бытия. Это чувство сходно с фронтовым братством: пока ты роешь траншею, кто-то возводит бруствер. Идея защищенности могла приобретать даже потусторонний характер: так, в репортаже из НИИ сельского хозяйства Крайнего Севера давал обнадеживающее интервью зав. отделом борьбы с кровососущими [82].

Следует сделать существенную оговорку, употребляя понятие «советский народ». Та часть населения, которая подразумевается под словами «рабочие» и «крестьяне», — на идеологической поверхности неуловима и ненаблюдаема. Остаются только те рабоче-крестьянские атрибуты, которые используются в качестве козырных карт различными течениями.

Так, в 1963 году отменили, а в 65-м восстановили приусадебные участки и подсобные хозяйства колхозников. Оба события, судя по прессе, произвели совершенно одинаковое действие: празднику на селе не было конца. В первом случае господствовало чувство облегчения: «С коровой мороки было — пропасть!» [83] Через два года возвращение коровы вызывало точно такое же чувство глубокого удовлетворения: получалось, что продуктов на рынке стало в два раза больше, а цены снизились на 17 процентов [84]. В результате уцелевшие на идеологической, газетно-литературной поверхности крестьяне при любых политических коллизиях жили красиво: «Поздним вечером мы возвращались в Дом колхозника. И вдруг — «Паванна» Равеля...» [85]

Сквозь такую призму народ в той же степени представлял реальных рабочих и крестьян, как ансамбль Моисеева — народное искусство.

Мифологизации подвергалась даже статистика, которой известно, что к концу 60-х на селе было 100 тысяч клубов и 90 тысяч библиотек, но ни одного самогонного аппарата.

Миф о народе издавна был не просто реальностью, но и полигоном, где интеллигент получал право на жизнь: будь то герои Толстого, Горького, Бабеля или Аксенова. Отрыв от народа, утрата народности — самый страшный приговор интеллигенту. В 60-е этим козырным тузом били друг друга либералы и консерваторы. Критические наскоки на Шевцова и Вознесенского, «Октябрь» и «Новый мир» формулировались одинаково: «обескровленность отрывом от внутренних сил народной жизни».

Литература, журналистика, кино в разное время предлагали разные вариации народного мифа. И если в начале 60-х народная правда жила в геологической партии, на рыболовецком сейнере, на сибирской стройке, то к концу этого периода правда переселилась в деревню. Ее теперь следовало искать там.

Народом перебрасывались, как мячиком. Пешка в чужой игре, огромная пешка величиной в сотни миллионов душ, рабоче-крестьянская масса включалась в понятие «советский народ» таким образом, каким было выгодно тому, кто это понятие использовал.

Взамен народ следовало любить. Но положительную эмоцию выразить, а тем более запечатлеть — очень трудно: неизбежно получаются «Кубанские казаки» и стихи вроде:

Страна моя прекрасная,
Легко любить ее.
Да здравствует, да здравствует
Отечество мое [86].

Куда больше художественных достижений сулила другая эмоция — яркая и выразительная ненависть. Объект ее всегда был рядом — Запад. В эпоху оголтелого западничества 60-х набирало силу встречное течение.

О, трепетная муза наших дней!
Ты помнишь ли о нуждах хлеборобов,
или тебе желанней и родней
сверкание нью-йоркских небоскребов?[87]

Получалось: или — или. Не просто доить коров, но обгонять Америку. Не просто запускать космонавтов, а опережать американцев[88]. Заграничный галстук одним штрихом вычеркивал героя из числа положительных[89]. Выставка русских фресок не могла ужиться в огромном Ленинграде с выставкой «Архитектура США»[90]. Легко выстраивалась цепочка: «абстрактная живопись, абстрактная музыка, абстрактная поэзия, абстрактное в конечном счете отношение к родине»[91].

«Откуда, когда и как вторглась в настоящее искусство абстракция?» — спрашивал общественность читатель Георгий Ярышкин из города Жданова[92]. Здесь заслуживает внимания не сам вопрос, а его интонация: это ненависть, уверенная в победе. Крепкая, позитивная, добрая ненависть, объединительное значение которой — несомненно[93]. Сообща ниспровергать «абстракцию» вовсе не мешало так же сообща распевать полурусские песни прозападной эстрады. Ударение падает не на «за» или «против», а на «сообща».

Отношение к приходящим с Запада явлениям строилось хаотически. При той неполноте информации, которую получал советский человек, немудрено, что объектами любви и ненависти становились вдруг случайные люди, на которых с неадекватной силой изливались нежность и гнев: Манолис Глезос, генерал Уэстморленд, Джеймс Олдридж, Джек Руби, Ален Бомбар, Чомбе, Паскутти[94].

В этой смеси любви и ненависти естественно победила более экспрессивная и доступная эмоция. К тому же идеологическое западничество 60-х не подкреплялось ни экономически, ни политически. Советский человек получил Хемингуэя и Ван Гога, но не мог увидеть ни фиесты в Памплоне, ни красных виноградников Арля. Был Азнавур, но не было клея для магнитофонной ленты. Американская выставка поразила изяществом спортивных седанов цвета «брызги бургундского», но оставались недостижимыми и седаны, и бургундское.

Но главное — кризис переживала сама наднациональная объединительная идея: «общая цель — построение коммунизма». Дискредитация цели компрометировала и универсальный язык 60-х, и возникшую массовую культуру, и концепцию безденежности — все это могло существовать лишь в некой общей перспективе. Другой же полюс объединения располагался ретроспективно — в

русском прошлом. Путь к нему совершался исподволь, в стороне от космополитического напора начала 60-х. После устранения западника Хрущева — этот путь оказался столбовым.

Охранительные принципы вообще более внятны, чем революционные,— хотя бы потому, что точки опоры известны и испытаны. Обращение к корням стало естественной реакцией на кризис либеральной идеологии.

Интерес к русским древностям эпизодически возникал и тогда, когда молоко стали разливать в тетраэдры из разноцветной вощеной бумаги, а стихи вроде «Шальная лопухастая братва, зорюющая по ночам в гаю...»[95] привлекали внимание только пародистов. Но переломным можно считать 1965 год, отмеченный двумя принципиальными событиями: создание Всероссийского общества охраны памятников культуры и грандиозное празднование 70-летия Сергея Есенина, еще недавно приравниваемого к Вертинскому. Именно тогда на обложках популярных журналов появились монастыри; в газетах — статьи о пряниках и прялках, истории о том, как Ротшильда потряс Суздаль[96]; в стихах замелькали находки из словаря Даля: бочаги, криницы, мокреть; вошли в моду Глебы, Кириллы, Иваны; кружным путем через парижский Дом Диора возвратились женские сапоги и шубы; в ресторанах вместо профитролей подавали расстегаи; в центральной печати появились очерки будущего крупнейшего деревенщика Валентина Распутина.

В обществе постепенно сменялся культурный код. Если с оттепелью вошли ключевые слова «искренность», «личность», «правда», то теперь опорными стали другие — «родина», «природа», «народ».

И понятно, что «народ» в этом коде — уже другой. Самое, быть может, значительное следствие вненациональной смуты 60-х — национализм. Советский народ — общность, накрученная на стержень общей идеи и цели,— расслоился на нации. (Расслоение это хорошо видно на примере диссидентства, которое началось с единого нравственного сопротивления, а к концу 60-х разделилось на «русскую партию», демократов-западников и евреев, борющихся за эмиграцию. Национальные культуры занялись своими делами (грузинское кино, литовский театр), либо перестроились на всесоюзный масштаб (Айтматов, Гамзатов, литовское кино). Что касается русских, то идейных центров русизма можно выделить три.

Первый обозначается именем Владимира Солоухина, который в 60-е был неким антиподом Эренбурга (олицетворявшего полюс западничества). Взращенное на Белле, Ренуаре и Армстронге поколение знакомилось с родиной по талантливым

и простым солоухинским книгам, постигая, что «волнушка уступает только рыжику, но ничем не хуже груздя»[97]. Солоухину почти все не нравилось в окружающем обществе: переименование улиц, снос храмов, одежда, архитектура, песни. Но его публицистика примечательна тем, что позитивный ее заряд не уступает в изобразительной силе негативному. То есть ненависть не вытесняет любовь. О том, что он любит, Солоухин пишет нетривиально и ярко: «Итак, положив на тарелку рыжики, засоленные вышеописанным способом, нужно поставить на скатерть графинчик с одной из вышеописанных настоек, а также небольшие рюмочки. Очень важно, чтобы за столом в это время сидели хорошие люди...»[98] Разумеется, Солоухин писал не только о застольях, но вообще его положительная программа представлялась не сложнее грибной икры. Путь к русизму тут лежит через материальную культуру, на практике принимая кулинарно-бытовой характер. Интеллигент ставил на телевизор пару лаптей, пришпиливал к стене открытку с «Чудом Георгия о змие» и пил чесночную под ростовские звоны.

Совсем иным был русизм по Шукшину, в котором преобладала национальная мистика. Василий Шукшин изображал «чудиков». У него выходило, что русский народ — поэт. Именно не труженик, а поэт, для которого существует четкое противопоставление — или зарабатывать деньги, или играть на балалайке[99]. То есть если шукшинские «чудики» и были против колхозов, то альтернативой им служили бессмысленные, как поэзия, занятия, а вовсе не русские древности.

Надо признать, что не Шукшин, а другие деревенщики оказали большее воздействие на российские умы — угрюмые, основательные, драматичные Абрамов или Распутин. У них уже невозможны были обороты, которые позволял себе Шукшин: «Иногда мне кажется, что я его ненавижу. Во-первых, он очень длинный. Я этого не понимаю в людях»[100]. Эти отголоски абсурдной иронии придавали Шукшину и его героям очарование и легкость[101]. Они разговаривали — в отличие от персонажей других деревенщиков, которые вещали, в кульминационных моментах переходя на диалекты, от непонятности значительные. Сказать жене «Эх ты, акварель!»[102] мог шукшинский, но не абрамовский механизатор. В одном случае народ оказывался беспутным поэтом, в другом — солью земли.

Деревенская проза, ставшая ведущим литературным и идеологическим направлением следующих лет, развила достижения Солоухина и упростила достижения Шукшина. Однако у нее, как у всего русизма в целом, был еще один идейный источник, своего

рода теоретическая платформа. Это — русская классика. Философия, проза, поэзия.

Для самых образованных существовал философский самиздат: славянофилы (Киреевский, К. Аксаков), Бердяев, Лосский. Здесь каждая фраза восторгом отзывалась в душе патриота. К. Аксаков: «...Глупого человека при народной жизни быть не может»[103]. Это созвучно Шукшину, но без иронически сниженного контекста, как раз наоборот: «Русский народ не есть народ; это человечество...»[104] Бердяев: «Народ откровений и вдохновений»[105]. Лосский даже нигилизм и хулиганство, присущие русскому человеку, трактует как издержки доброты и религиозности[106].

Для основной массы интеллигенции открылся Достоевский — для многих впервые, потому что с 30-го по 56-й год его собрания сочинений не издавались. Образованные шестидесятники Достоевского знали, но побаивались его ксенофобии и агрессивного патриотизма. Общество же, откачнувшееся от интернационального идеала к национальному, прочло его бережно и выборочно, игнорируя ерничество капитана Лебядкина: «По-моему, Россия есть игра природы, не более!»[107], но проникаясь мыслью «Атеист не может быть русским, атеист тотчас же перестает быть русским...»[108]

Публика попроще вполне довольствовалась Есениным. Стихи его читали с эстрады, печатали невиданными тиражами, пели — и в концертных залах, и под гитару в качестве безымянной блатной лирики. Есенин более других потрафлял массовому русизму, сочетая в себе и в своих стихах огромный поэтический талант, стихийную религиозность — прямо по Лосскому, и размашистую удаль. Все это дополнялось простонародным происхождением и гармонировало с атрибутами русиста: лаптями на телевизоре и солеными грибами.

И философия, и проза, и поэзия работали на главный тезис, сводящийся к строке Тютчева: «Умом Россию не понять...»

При этом подразумевалось, что Советский Союз разуму доступен, а Россия — нет. В контрасте между советской схематичностью и русской неохватностью заложены истоки грандиозной популярности Высоцкого. В массовом сознании Высоцкий воспринимался как реинкарнация Есенина, осложненная и обогащенная хемингуэевским комплексом настоящего мужчины[109]. Расцвет славы Высоцкого приходится на 70-е годы, но корни этого явления уходят в 60-е, когда обострился конфликт между понятиями «советский» и «русский».

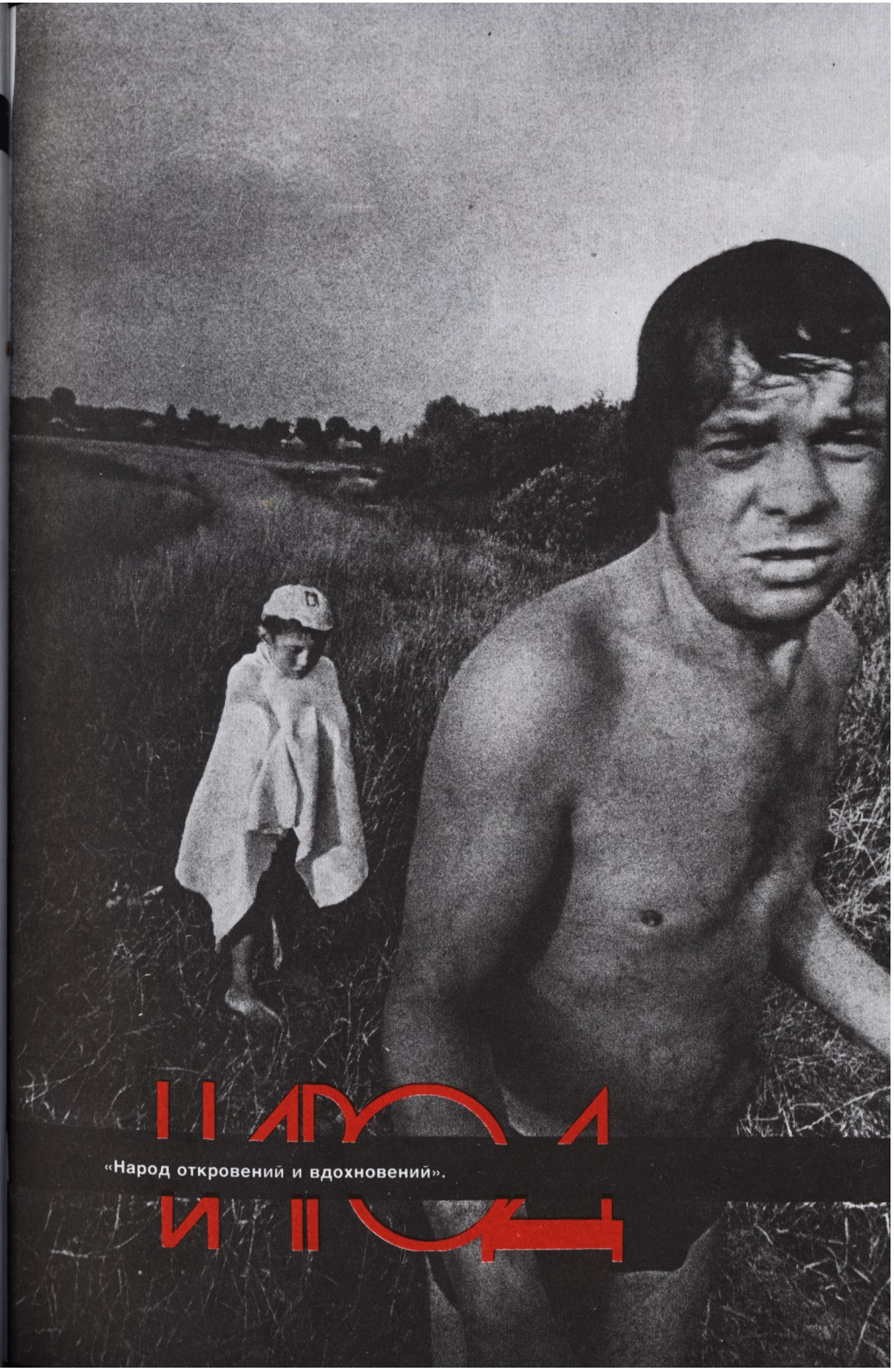
В основе конфликта лежало довольно внятное представление о том, что советский человек суетлив, озабочен посторонними делами и вообще — живет на улице. Русский — степенен, хотя и склонен к бурной, но безобидной удали, главное же его

занятие — обустройство собственного дома. Интернациональные хлопоты заслонила забота о родной природе (слова из нового культурного кода с корнем «род») — заговорили об обмелении рек, истощении земель, вырубке лесов. Журналы умерили восторги по поводу таежных взрывов аммонала в переводе с еврейского.

Взошедшая звезда Ильи Глазунова вела к идеальному образу: «Князь Игорь», «Русский Икар», «Красавица» (в кокошнике и с косой). Герои были голубоглазы и русы, одеты в добротное и незаимствованное, пили отнюдь не из фужеров, а из братин. Кстати, отношение к пьянству в пору становления русизма было невнятным, боролись с этим социальным злом вяло и неохотно, как бы признавая, что такая неотъемлемая русская черта не может быть совершенно негативной. Все эти подворотные «на троих» были как бы вариантом традиционных российских неорганизованных форм общения, которые Бердяев считал проявлением «коммюнотарности», противопоставляя и социальности, и семейственности Запада [110].

Все это, разумеется, не означает, что эстрадные певцы поголовно перестали картавить и шепелявить, что подростки не вшивали цепочки в разрезы клешных брюк, что утратили притягательность загранпоездка или американский роман. Но не это определяло нравственный климат общества. Уже занимала господствующие позиции деревенская проза, уже вошли в моду отпуска на Орловщине и нательные кресты, уже столичные интеллигенты обзавелись родословными и лукошками, и даже среди американцев почвенник Фолкнер вытеснил интернационалиста Хемингуэя.

Оказалось, что на российской земле живет русский народ. А вот существует ли в Советском Союзе советский народ — на этот вопрос ответить к концу 60-х было нечего.





СОЛЖЕНИЦЫН

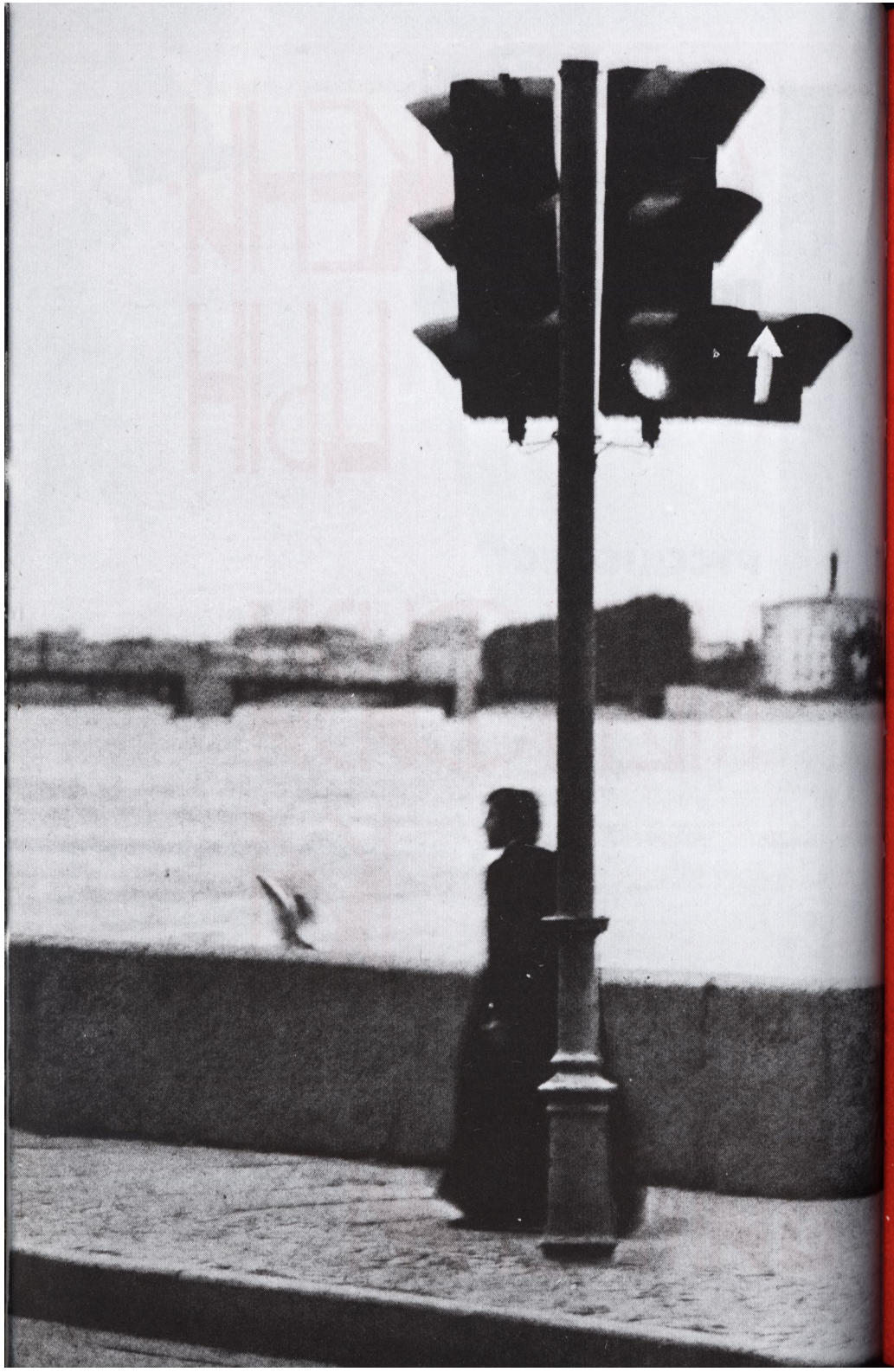
ПОИСКИ ЖАНРА

РУССКИЙ БОГ

МЕЖДУНАРОДНИЦА

НА ОКРАИНЕ ТРЕТЬЕГО РИМА

ИМПЕРИЯ



ЖЕНИЦЫН

ПОИСКИ ЖАНРА

В ка...

На...
Твери...
эще...

освоб...

Вы не ск...
— Разбы...
В актах о груз...
Это очень важно...

И всю зиму служи...
коменданта. И не раз т...
показаться подозрительны...
Однажды из узловой ком...
Зотов спросил его как бы невзна...
— А вы не помните такого Тве...
его.
— А почему вы спрашиваете? — нахм...
— Да просто так... интересно... чем ко...
— Раз-берутся и с вашим Тверикиным. У...

Но никогда потом во всю жизнь Зотов не мог э...

Матренин двор

Но сто восемьдесят четвертом километре от Москвы еще с ...
полгода после того все поезда замедляли свой ход почти ...
до ощупи. Пассажиры льнули к стеклам, выходили в тамбур: чи...
что ли? Из графика вышел?

Нет. Пройдя переезд, поезд опять набирал скорость, пас...
усаживались.

Только машинисты знали и помнили, отчего это все.

Да я.

I

Летом 1953 года из пыльной горячей пустыни я возвраща...
угад — просто в Россию. Ни в одной точке ее никто меня не ж...
звал, потому что я задержался с возвратом годиков на десять. ...

«Книга-то получалась очень правильная, если б все сразу стали по ней жить...»[1] — так писал Солженицын в одном из своих ранних романов, и эти слова, быть может, лучше других цитат из его сочинений подошли бы в качестве эпиграфа ко всей творческой жизни Александра Солженицына.

То, что Солженицын моралист, учитель, пророк — бросается в глаза сразу. Но — теперь. Теперь в этом «эпиграфе» акцент неизбежно падает на директивную концовку. Это вполне объяснимо: с начала 70-х годов публицистика Солженицына с ее проповедническим пафосом заметней и влиятельней его прозы. Однако необходимо обратить внимание на первую часть формулы: речь идет о книге. Уповая на правильное переустройство жизни, Солженицын не сомневается в том, что инструмент для этого — книга. Писательское слово.

В 60-е было совершенно ясно, что Солженицын — писатель, прозаик, беллетрист. В этом качестве он воспринимался и тогда, когда в самиздате стали в конце 60-х циркулировать письма и обращения Солженицына. Это было нормальной приметой времени: письма писали и подписывали многие.

Сугубо писательскую сущность Солженицына подчеркивала его редкая художническая открытость, откровенность. Его литературные эксперименты велись прямо на глазах читателя. Поразительно, как многообразно успел предстать перед читающей публикой Солженицын за короткий период при малом числе напечатанных вещей.

За девять месяцев 62-63 гг. в «Новом мире» были опубликованы повесть «Один день Ивана Денисовича» и три рассказа — «Матренин двор», «Случай на станции Кречетовка», «Для пользы дела». А в январе 66-го еще один рассказ — «Захар-Калита»[2]. И все.

При этом в 60-е — эпоху разброда и эклектики — Солженицын явил самый, пожалуй, яркий образец жанрового и стилевого разнообразия. Все пять его опубликованных произведений настолько различны, что не приходится удивляться выводу эмигрантского критика: на самом деле никакого Солженицына нет, а сочиняют под этим именем разные литераторы по приказу КГБ[3]. Прийти к этой наивной гипотезе было немудрено: каждая вещь писалась как бы заново — от тематики до языка.

Солженицын словно торопился застолбить пустующие участки в новейшей русской словесности, а заодно поставить свои

заявки и на уже разработанных жилах. Если вспомнить, что в 60-е театры собирались поставить еще и две пьесы писателя — «Олень и шалашовка» и «Свет, который в тебе»[4], — то охват получается необычный. Сложись по-иному общественно-политическая ситуация в стране, останься Солженицын признанным советским писателем, — эти заявки могли бы сработать. Но события пошли таким путем, что только деревенская проза обязана числить «Матренин двор» среди своих источников и эталонов.

У этого рассказа вообще самая счастливая судьба. Владимир Лакшин: «Матренин двор» в читательской среде... был принят единодушнее, чем что-либо у Солженицына...»[5] Лидии Чуковской эта вещь «полюбилась более первой. Та ошеломляет смелостью, потрясает материалом — ну, конечно, и литературным мастерством; а «Матрена»... тут уже виден великий художник...»[6] По-видимому, так же относился к рассказу и сам автор: «Он сказал мне: «Вот теперь пусть судят. Там — тема. Здесь — чистая литература»[7].

Примечательно, что общество 60-х восприняло «Матренин двор» как некую антитезу «Одному дню Ивана Денисовича» — именно как прозу против темы. Это, конечно, неверно. Более того — это странно: если искать последовательность в общественных движениях. «Один день» был именно литературным аналогом партийной установки на правду. Позже Солженицын напишет: «На «Иване Денисовиче» и выпустил последний вздох весь порыв XXII съезда»[8]. Но несмотря на этот съездовский пафос повести, она напугала шестидесятников. Произошел интересный феномен: 60-е пришли в восторг и восхищение от «Одного дня», но подсознательно оттолкнулись от него, не признав изящной словесностью. Конечно, правда была нужна, призывы к правде раздавались и сверху и снизу, но лагерные мемуары Дьякова или генерала Горбатова, к примеру, лежали в общем русле оптимистических установок эпохи. А эффектная концовка повести Солженицына ничего оптимистического не сулила: «Таких дней в его сроке от звонка до звонка было три тысячи шестьсот пятьдесят три. Из-за високосных годов — три дня лишних набавлялось...»[9] Никто не обещал реформы календаря, и ощущение безысходности ничем не уравновешивалось.

Тем не менее 60-е вычленили-таки подходящий для времени мотив. Труд. Все — от Хрущева до Лакшина — радостно схватились: Иван Денисович честно и самоотверженно трудится. А,

стало быть, нелепо и преступно не давать ему трудиться на свободе: «Как нужен, просто необходим был бы Шухов в своей деревне, в колхозе... Как бы он со своей совестливостью и рабочей хваткой помогал бабам тянуть колхоз...»[10]

Более радикально настроенные шестидесятники могли усмотреть в образе Шухова, наоборот, позорное восхваление рабского труда — когда раб подчиняется не обреченно, а с воодушевлением.

На самом же деле — если взглянуть на «Один день» в контексте всего раннего Солженицына — повесть содержит едва ли не первое в новейшей русской литературе прославление именно профессионального труда, свободного от идеологических обертонов.

Профессионализм — открытие 60-х. До тех пор речь шла о трудовом энтузиазме в духе стахановцев, и само слово «специалист» со времен Гражданской войны имело сомнительный оттенок. В 60-е поклонение науке этот оттенок сняло, а когда произошел кризис идеалов, заложенных XX и XXII съездами, профессионализм оказался наиболее честным способом сосуществования с окружающим. Его относительная внеидеологичность позволяла соблюдать правила игры, не слишком поступаясь собой.

Профессионализм — один из важнейших мотивов у Солженицына. К его лучшим страницам принадлежат технические описания в романе «В круге первом», диспетчерские тонкости в «Кречетовке», подробности болезней и методов лечения в «Раковом корпусе». Там же старый доктор Орещенков (из любимых солженицынских персонажей) возмущается коллегой: «Он на пенсию перешел... И в этот день выяснилось, что никакой он не рентгенолог, что никакой медицины он знать больше ни одного дня не хочет, что он — исконный пчеловод и теперь будет только пчелами заниматься. ... Если ты пчеловод — что же ты лучшие годы терял?..»[11]

Человек должен заниматься своим делом, которое знает и любит,— не благодаря, не вопреки, а вне зависимости. В этом, кстати, главный пафос мемуаров писателя Солженицына «Бодался теленок с дубом». В этом — смысл трудовых эпизодов в «Одном дне Ивана Денисовича».

Возможно, шестидесятники ощущали эту отстраненность труда от социального контекста. Так или иначе, кладка Шухова

(«Раствор — шлакоблок, раствор — шлакоблок!») оказалась недостаточно прочным оптимистическим фундаментом. «Один день» был, несомненно, самым громким литературным событием 60-х, но при этом не стал их знаменем. Да и не мог стать — потому что не нес лозунга. Потрясение от правды «Одного дня» было огромно, и так же огромно было ожидание последствий — что-то (может быть, ложь) должно было рухнуть. Но не рухнуло. И неблагодарное общественное сознание подыскивало объяснение: все дело — в теме. Удобно подвернулся и противовес — «Матренин двор»: там тема, здесь литература.

Собственно, 60-е вообще отказались рассматривать «Один день» как художественное произведение. Лидер тогдашней критики Лакшин признавался в этом откровенно и походя[12]. Впрочем, «Матренин двор» тоже не разбирали с литературной точки зрения — не такое было время. Было принято считать, что это просто проза, в отличие от лагерной прозы «Одного дня». Однако художественные достоинства значительнее в первой повести. «Один день» написан так, что его качества неявны, присутствует лишь ощущение энергии, силы, напора. И — точности. Вся повесть — осторожные, но безошибочные прикосновения к болевым точкам: каждый раз ровно настолько, насколько нужно, без передержки, нажима, дидактики. Без идеологии. Без положительного героя! — хотя именно поиск положительного героя — от Матрены до Столыпина — и составляет пафос литературы Солженицына. Но как раз там, где его нет — лучшая проза: «Один день Ивана Денисовича», «Случай на станции Кречетовка», «Раковый корпус».

В «Матренином дворе» Солженицын уже знал, что хотел сказать. Тут впервые мелькает сусальный, как «Кубанские казаки», идеал: «Я представил их рядом: смоляного богатыря с косой через спину; ее, румяную, обнявшую сноп. И — песню, песню под небом, какие давно уже отстала деревня петь...»[13] Это уже было указание выхода. И если либеральная критика вела свое про улучшение трудовых и жилищных условий деревни, то «для миллиона людей христианство началось с «Матрениного двора». Первый шаг к свету миллион людей (если не больше) прошел вместе с Солженицыным...»[14] Возвращение к патриархальному российскому идеалу было заложено здесь и позже развито деревенщиками.

В тени праведницы Матрены укрылись чисто литературные

просчеты, которых почти не было на открытом, не затененном идеологией пространстве «Одного дня» — то, о чем писал сам Солженицын: «...Начинаешь прощать себе, да не замечать просто: то слишком резкой тирады; то пафосного всклика; то пошловатой традиционной связки...» [15] Однако 60-е простили и не заметили и нравоучительной басенной концовки; и пояснения вместо показа: «Нет Матрены. Убит родной человек» [16]; и неточных красивостей — вроде шороха тараканов, похожего на «далекий шум океана» (это в средней полосе России!), шороха, в котором «не было лжи» [17]. Напротив — вероятно, эти детали служили индикатором беллетристики, делая «Матренин двор» для читателя полноценной прозой, в отличие от «куска жизни» [18], данного в «Одном дне».

Зато следующий рассказ — «Для пользы дела» — стал настоящим общественным событием и, как с известной брезгливостью замечает автор, «по близости к привычной советской тематике вызвал непропорционально большой поток читательских писем и некоторую дискуссию в прессе» [19]. Схватка между сталинистом — секретарем обкома Кнорозовым и прогрессистом — секретарем горкома Грачиковым логично продолжилась на страницах журналов и газет. Здесь положительный герой был иной, чем в «Матренином дворе», но — еще более внятный, и главное — еще более положительный. Под словами Грачикова «Не в камнях, а в людях надо коммунизм строить» [20] подписалось бы большинство интеллигенции, которую в то время Солженицын еще не назвал «образованщиной».

Так, раскачиваясь от похвал общественному звучанию к похвалам прозе, общество 60-х приспосабливало Солженицына к своим нуждам. В дело шло все — и правда о прошлом, и народность, и человеческое лицо коммунизма, и бережное отношение к своей истории («Захар-Калита»). Солженицын — такой яркий и разный — в целом укладывался в неглубокое, но широкое русло 60-х. Пока вдруг в мемуарах «Бодался теленок с дубом» сам Солженицын не показал, что это он укладывал 60-е в русло своего жизненного и творческого пути, приспосабливая к своим нуждам.

Спор об этих двух взаимоисключающих концепциях должен был бы прояснить многое не только в проблеме личности Солженицына, но и в эпохе 60-х.

«Теленок» ставит в тупик любого непредвзятого читателя. Эта

вещь написана в необычном жанре — автоагиографии. Житие святого, составленное самим святым.

Со страниц встает образ человека, с юных лет осознавшего свое предназначение, понявшего Божий промысел о себе. Герой «Теленка» говорит об этом откровенно и прямо: «Это — не я сделал, это — ведено было моею рукой!»; «О, дай мне, Господи, не переломиться при ударах! Не выпасть из руки Твоей!» [21] Выполнение завета и есть жизнь героя, этому подчинено все: он скован в личной жизни, ограничен в выборе друзей и общения, лишен обычных развлечений, «свободы поступков, свободы высказываний, свободы выпрямленной спины», даже профессиональной радости творческих мук: «Обминул меня Бог творческими кризисами» [22]. Награда за это — только сам завет. Все остальное — во-первых, мишура, во-вторых, мишура предопределенная. Еще молодым, в лагере, герой «Теленка» узнал про Нобелевскую премию и понял: «Вот это — то, что нужно мне для будущего моего Прорыва». Потому впоследствии он так выжидательно-спокоен: «В четвертый четверг октября объявили Нобелевскую по литературе — не мне» [23]. Ему она досталась в четвертый четверг октября следующего года.

Согласно канону агиографии, в повествовании с точностью назван день решающего, переломного испытания героя. 11 сентября 1965 года у него конфискуют архив с черновиками будущих книг. И герой ропщет: «Вот этого провала я не мог уразуметь! Этот провал снимал начисто весь прежний смысл». Однако дело лишь в неполноте понимания, и через некоторое время все становится на место: «Мне начинает открываться высший и тайный смысл того героя, которому я не находил оправдания... для того была мне послана моя убийственная беда, чтоб отбить у меня возможность таиться и молчать, чтоб от отчаяния я начал говорить и действовать» [24]. Начался новый этап в жизни героя «Бодался теленок с дубом» — этап общественной борьбы.

Ведомый Божьим промыслом, герой был готов к любому повороту судьбы. Более того, осененный предопределением, знал и предвидел все: извивы писательского поприща, всемирную славу, духовную власть, подвиг противостояния. То есть герой «Теленка» ведал то, что достанется на долю Александра Солженицына. Но знал ли, был ли готов, предвидел ли это Александр Солженицын?

Вся обширная мемуарно-критическая литература, посвященная

Солженицыну 60-х, дает однозначный ответ: нет. То есть герой «Теленка» и реальное лицо с тем же именем — разные люди.

Понятно, когда образ пророка опровергают идейные антагонисты (Владимир Лакшин, Григорий Померанц) и личные противники (первая жена Наталья Решетовская). Но и с дружественных страниц (Лев Копелев, Жорес Медведев), и из бесстрастно-аналитических исследований (Жорж Нива, Деминг Браун, Майкл Скэммел)[25] является образ писателя, искренне старавшегося адаптироваться к окружающей жизни — общественной и литературной. Анализ откликов, рецензий и статей в советской прессе 60-х убеждает в том же. Меньше месяца разделяет публикации «Наследников Сталина» в «Правде» и «Одного дня Ивана Денисовича» в «Новом мире» (21 октября и 17 ноября 1962 года). Шестидесятники не сомневались, что их полку прибыло.

Впрочем, нет нужды прибегать к свидетельствам посторонних — пусть и осведомленных. В самом «Теленке» более чем достаточно мест, находящихся в существенном противоречии с основной концепцией книги. С теорией предопределения не увязывается, например, реплика о Хрущеве: «Выдвинутый одним этим человеком — не на нем ли одном я и держался?» А когда автор упрекает Твардовского: «Раздавался железный скрежет истории, а он все видел иерархию письменных столов», правомочно отнести упрек к нему самому — уж очень дотошно разбирается в «Теленке» Солженицын с силовыми составляющими в редакции «Нового мира», правлении Союза писателей, окружении Хрущева. Умело и ловко лавирует в сложившейся обстановке, зная, когда надо бить на жалость: «Фотограф оказался плох, но то, что мне нужно было — выражение замученное и печальное, мы изобразили» или на простоту: «Нарочно поехал в своем школьном костюме, купленном в «Рабочей одежде», в чиненых-перечиненых ботинках с латками из красной кожи по черной и сильно нестриженым». Он использует и высокие сферы политики: «Для схватки с китайцами им всякое оружие будет хорошо, и очень пригодятся мои сталинские главы...»[26]

Может ли пророк быть мастером тактики и интриги? Важно или нет: разбирался ли пророк Исайя в расстановке вавилонских сил?

И может быть, у «провала» 11 сентября 1965 года более явный и простой смысл — импульс к все той же тактической борьбе,

только открытой? Герой «Теленка» здесь обрел пророческий глагол, а на самом деле Солженицын стал диссидентом? То есть прошел характернейший для советского интеллигента 60-х путь?

Так возникают как минимум три Солженицына.

Первый — из авторской концепции «Теленка» — носитель Божьего промысла о себе, раз навсегда избравший путь правды и борьбы.

Второй — из текста «Теленка» — борец, широко использовавший официальные каналы до последней возможности, а затем перешедший на путь открытого протеста.

Третий — из свидетельств современников — писатель, вытолкнутый в диссидентство после честного сотрудничества с системой.

Найти объективную истину — не представляется вероятным. Ее — по определению — не даст субъективное авторское повествование. Но и третий вариант не достовернее: крупномасштабность явления Солженицына исключает возможность одного верного ракурса, а по частям нельзя, как известно, описать даже слона.

Есть ли вообще подход, учитывающий все три варианта, объединяющий всех троих солженицыных? И есть ли инструмент для такого метода? Есть. Подход — литературный. Инструмент — чтение.

Необходимо вернуться к чтению солженицинских текстов и снова поразиться сумятице и разноголосию его творчества 60-х годов. Пять (не считая газетной статьи) опубликованных в советской печати вещей, две пьесы, активно ходившие в самиздате романы «Раковый корпус» (с 66-го года) и «В круге первом» (с 67-го) и «Крохотные рассказы» (с 65-го) — таков корпус сочинений Солженицына, с которым имели дело шестидесятники. Перед их взором проходил литературный эксперимент: самый откровенный (в обнажении приема) писатель российской современности всякий раз примерял новое перо — новый стиль, жанр, манеру, язык. Но шестидесятники — и тогда, и после — этого не заметили, сосредоточившись на социальном явлении Солженицына, прилаживая его — тактически, а потом ретроспективно — к эпохе. То, что это произошло, и то, что Солженицын ответил (в «Теленке») тем же — объяснимо.

Эпоха 60-х была насквозь литературной. Руководством к действию стала метафора — как у властей («Нынешнее поколение

советских людей будет жить при коммунизме!»), так и у оппозиции («Соблюдайте свою Конституцию!»). Любимым занятием — расшифровка аллегорий и чтение между строк. Самым распространенным языком — эзопов. Шестидесятники, и вместе с ними Солженицын, помещались как бы в художественном тексте — подчиняясь его законам: в том числе и тем, которые не позволяют персонажам выйти за пределы текста. Не ждем же мы от князя Андрея анализа речевой характеристики Пьера Безухова.

Персонажами были все, и не только по малограмотности Хрущев назвал Солженицына — Иваном Денисовичем [27]. Примерно так же читали книжки и остальные — представители «критики, никогда не отделенной от общественного направления» [28]. Просто другого направления и не было. Потому умные и образованные люди всерьез обсуждали — за кого Шухов, каковы идеалы Матрены, наш ли человек коммунист Грачиков, заслуживает ли осуждения лейтенант Зотов. За этими острыми насущными проблемами терялся прозаик Солженицын. 60-е не обладали литературным взглядом, потому что сами 60-е были литературным произведением: так нельзя увидеть себя спящим.

Солженицын отчаянно бился в стилевых и жанровых поисках, которые и тогда и позже казались поисками общественной позиции. Однако его эволюция — в первую очередь литературная. Автор романа «В круге первом», Солженицын ощущал узость накатанной другими колеи — условно говоря, соцреалистической. «Один день» продвинул его вперед — но все по той же стезе. Осознавая в себе склонность к проповеди, Солженицын всеми силами старался избегнуть прямого слова, которое уводит от художественности. Беллетристика требует остранения — следовало найти свой прием.

В примечаниях, которыми Солженицын снабдил каждую вещь в своем собрании сочинений, обнаруживаются две параллельные тенденции. С одной стороны, автор всегда указывает реальные обстоятельства и прототипы — демонстрируя жизненность произведений. С другой стороны, особо тщательно оговариваются и те случаи, когда конкретных прототипов нет — подчеркивается вымышленность, сочиненность произведений [29].

В конце концов Солженицын выбрал одну из двух тенденций. Но это произошло позже, а до самого конца 60-х он искал себя как беллетрист.

Тот прием остранения, который господствовал в 60-е, был ему

глубоко чужд и даже отвратителен — ирония, юмор, смех. Иронией он, правда, пользовался, но архаичной, просветительской, тяжеловесной. И даже добился здесь успеха: достаточно назвать один из самых удачных во всей прозе Солженицына эпизодов — зоопарк в конце «Ракового корпуса» [30]. Но вот юмор ему, по всей видимости, враждебен совершенно. Не зря он клеймит оппонента характерным рядом: «бодрячок, весельчак и атеист»; не зря призывает к серьезности полемики: «избавьте нас от ваших остроумных рассуждений» [31] — явно не видя в остроумии ничего, кроме словоблудия; не зря пренебрежительно поминает кумиров 60-х — Ильфа и Петрова [32].

60-е были неприемлемы для Солженицына стилистически. Он искал своего приема. Проза «ни о чем» ему не давалась, что хорошо видно по дидактичным «Крохоткам». В «Матрене» Солженицын сделал попытку аллегории, патриархальной утопии. В рассказе «Захар-Калита» возник вдруг сказовый говорок: «Друзья мои, вы просите рассказать что-нибудь из летнего велосипедного? Ну вот, если не скучно, послушайте о Поле Куликовом» [33]. Так же неожиданно, сплошь почти одним диалогом (43 журнальные страницы!), написан рассказ «Для пользы дела» — самый «соцреалистический» из произведений Солженицына, на который положительные отклики начинались со слов: «Мы, старые пропагандисты...» [34] По собственному признанию Солженицына, не удавались ему пьесы — тоже очень разные: от земляного реализма «Оленя и шалашовки» до наивной символики «Света, который в тебе», где действовали Альды, Джумы и Синбары.

Все это экспериментаторство шло мимо внимания общества 60-х. Раз зачислив Солженицына в «свои» — за правду, — шестидесятники втягивали его, не очень-то спрашивая, в свой КВН. Примечательно, что в новогодний (1964) комплект «крокодильских» пародий включен и «А. Матренин-Дворин» — в компании с «Володимером Сологубиным» (Владимир Солоухин), «Аксилием Васеновым» (Василий Аксенов) и «Ягуаром Авваловым» (Лев Овалов — автор «Майора Пронина») [35].

Такое ерническое признание в 60-е было дороже многих премий, да и о премии (Ленинской) шла речь всерьез, но Солженицын продолжал искать — перелом произошел на «Раковом корпусе». Этот добротный и яркий роман оказался тупиком. Дело не в том, что он не был напечатан — это как раз случайность. Солженицыну нужна была не публикация, а выход из

колеи, накатанной «Кругом первым», «Одним днем», «Кречетовкой». Даже если «Раковый корпус» был лучше их, он был — такой же. А Солженицын искал новое слово.

Слово — ключевое понятие для Солженицына в целом. Об этом говорит все. И единственная нехудожественная публикация в советской прессе — страстная и убедительная статья в «Литературке» о языке [36]. И фанатическая приверженность к Далю. И изобретательность в сочинении лексических фантазий (вроде «вышатнуть» и «пришатнуть»). И скорбь по букве «ъ» и безнадежная борьба за букву «ё» [37].

Жорж Нива тонко подмечает, что рассказ «Случай на станции Кречетовка» написан о расхождении в одном слове: «Пожилой актер не знает нового названия Царицына — Сталинград. Этот рассказ — образцовое противопоставление двух языков, даже двух кодов» [38].

Трудно найти более ненавистного Солженицыну врага, чем радио. В «Матренином дворе», «Раковом корпусе», «Образованщине» его ярость обрушивается на трансляцию, радиоточку, репродуктор. Враг — это голос. Слово.

Претензии к алогичности, противоречивости, непоследовательности солженицынской публицистики останутся бесконечными и бесплодными, если не учесть, что часто эти метания носят стилевой, а не социально-политический характер, не настолько, конечно, что «для красного словца не пощадит ни матери, ни отца» (Даль). Все же Солженицын — идеолог. Но — во вторую голову. В первую — художник, литератор. Так, нельзя искать смысла в подзаголовке эпопеи «Красное колесо», который будет претенциозен и невнятен, если рассматривать трезво — «Повествование в отмеренных сроках». Объяснить его так же трудно, как подзаголовок «поэма» к «Мертвым душам». Потому что все это — поиски жанра.

Выбираясь из-под глыб собственного — условно говоря, реалистического — стиля, Солженицын не мог, конечно, оказаться в соседней колее — в стиле шестидесятников: настолько он чужд был ему своей легкостью, западничеством, усредненным интеллигентским языком. К языку проповеди он пришел с неизбежностью. Так долго и часто успешно избегая соблазна прямого слова, Солженицын пришел к нему на новом витке диалектической спирали.

60-е же решили, что в строй оппозиции встал еще один диссидент.

Первая попытка в новом жанре принесла Солженицыну оглушительный успех. Его письмо в мае 67-го IV Всесоюзному съезду писателей о цензурной травле литературы поддержали коллективным обращением более 80 советских литераторов, и еще полтора десятка писателей — отдельными посланиями. Художник выступил на общественном поприще — это было совершенно в духе времени, и маститый Каверин восхищенно отпустил Солженицыну комплимент: «Ваше письмо — какой блестящий ход!» [39]

Это и в самом деле был ход, но жанровый. Только покуда он укладывался в стилистику эпохи, совпав с наивысшим взлетом гражданской активности в стране. Солженицын уже круто отворачивал в сторону от 60-х, а все еще казалось, что он уходит просто вперед — в отрыв. В лидеры. Лидером готовы были его признать и коллеги (Георгий Владимов: «Это писатель, в котором сейчас больше всего нуждается моя Россия») [40], и читатели («При проведении в Обнинске анонимной социологической анкеты в конце 1967 г. в графе с вопросом «ваш любимый советский писатель» на первом месте оказался Солженицын») [41].

Коллеги не могли знать, что в том же мае 67-го была закончена первая часть «Теленка», где Солженицын постулировал раскол двух литератур: их и его [42]. Обнинские атомщики не могли предвидеть, что всего через два года это о них будет написано: «Непробудная, уютная, удобная дрема советских ученых: делать свое научное дело, за это — жить в избытке, а за это — не мыслить выше пробирки» [43].

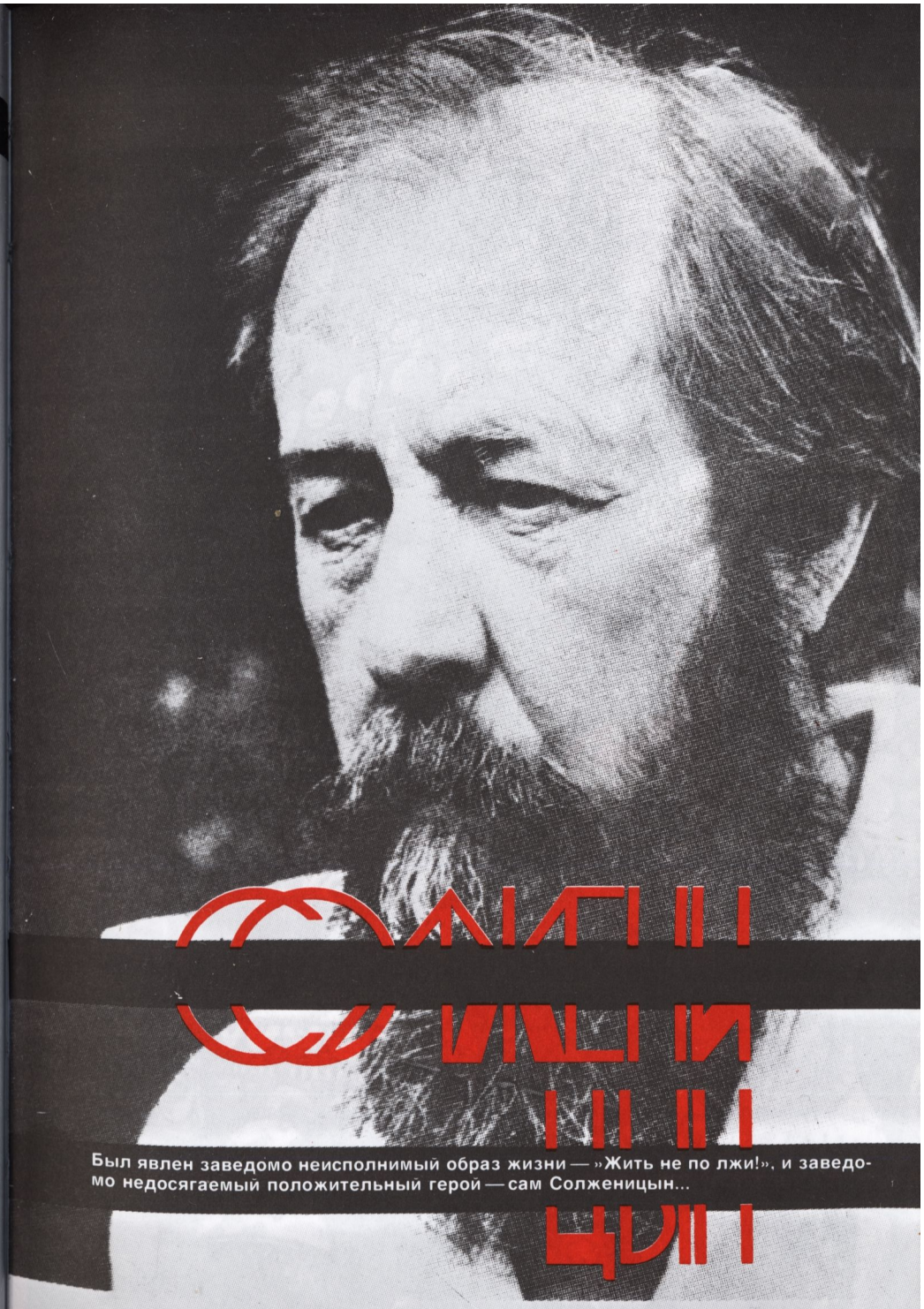
Укрепляясь в жанре публицистики, Солженицын все безусловнее расквитался с 60-ми. Его, выше всего ставящего слово, не мог не оскорблять бесцветный язык диссидентских посланий, часто неотличимый от обтекаемых газетных передовиц. Отчетливо понимая, что «для нашего поколения утерян письменный язык нравственных сочинений» [44], Солженицын восстанавливал его сам.

В этой сфере он и достиг своих стилистических вершин, являя примеры запоминающейся образности: «И ненужное космическое хвастовство при разорении и бедности дома; и укрепление дальних диких режимов...» [45] и поднимаясь иногда до почти пророческого напора: «Выбили из голов все индивидуальное и все фольклорное, натолкали штампованного, растоптали и замусорили русский язык, нагудели бездарных пустых песен. Добили последние сельские церкви, растоптали и загадили кладбища,

с комсомольской горячностью извели лошадь, изгадили, изрезали тракторами и пятитонками вековые дороги, мягко вписанные в пейзаж»[46]. Произведя в «Образованщине» окончательный расчет с искусами и заблуждениями 60-х, с хаосом своих литературных поисков, Солженицын выбрал направление — архаику.

Осваивая заново жанр «нравственных сочинений», Солженицын обернулся назад, не видя стилевой опоры в окружающем настоящем. Первичным был языковой поиск, а не ненависть к репродукторам и пятитонкам. Аввакум и библейские пророки изъяснялись иными словами, чем революционные демократы, большевики и диссиденты. И если Солженицын иногда сбивался, то потому лишь, что был первым за долгое время в этом трудном жанре: «Не обнадежен я, что вы захотите благожелательно вникнуть в соображения, не запрошенные вами по службе, хотя и довольно редкого соотечественника, который не стоит на подчиненной вам лестнице...»[47] Конечно, это не Исайя, а Акакий Акакиевич обращается к начальству. Но такой зачин «Письма вождям Советского Союза» не означал ни послабления идейной позиции, ни даже тактического хода. Это был просто стилистический сбой, литературная неудача.

Направление, выбранное Солженицыным — архаика, — окончательно обособило его от общественных движений 60-х. Даже катастрофа августа 68-го в личной и творческой судьбе Солженицына прошла практически незамеченной[48]. Он в это время находился на своем художественном подъеме. Пророческий стиль неуклонно вел к позиции пророка. Из-под пера Солженицына стали выходить вещи, о которых он сам сказал когда-то: «Книга-то получалась очень правильная, если б все сразу стали по ней жить». Теперь сослагательное наклонение превращалось в повелительное. Теперь был явлен заведомо неисполнимый образ жизни — «Жить не по лжи!», и заведомо недосягаемый положительный герой — сам Солженицын в «Теленке», где он вел диалог не с людьми, а с Богом.



Солженицын / Aleksandr Solzhenitsyn


Комсомольский
билет...
под иконой
Нет, не раба Божья!
Конечная станица Неговы
МЕРЮЗИ-КА
РУССКИЙ БОГ
Богомолы
С иезуитским лицемерьем,
с ладошками на животе,
они твердят:
— Мы в бога верим,
все люди — братья во Христе...
И тут же, ради славы божьей,
линчуют «братьев» с черной кожей.
В глаза вам смотрят умиленно
и в небо ваше шлют шпиона...
Нам божья не нужна опека.
Религий всех развеяв муть,
мы верим в разум человека,
что пролагает к звездам путь.
А там, за пеной океана,
взводят гангстеры курок,
кроме Чистогана,
— его пророк.
Павел ЖЕЛЕ

В год 1961-й в России никому в голову не пришло бы добавить «от Рождества Христова», разве что в шутку. В 1961 году для Бога в интеллигентской России места не было. Хотя именно тогда с верой отчаянно боролись. Парадоксальным образом либерализация проявилась в религиозных гонениях. В 1960—64 годах в стране закрыли половину церквей и упразднили половину приходов. В 1961 году Архиерейский собор принял новый приходский устав, который фактически привел православную церковь на грань уничтожения [49].

Драконовские меры правительства не противоречили духу эпохи — они его отражали. Свобода от религии стояла в одном ряду с прочими свободами хрущевского либерализма.

Оттепельный атеизм не имел ничего общего с богоборческими идеями. Можно даже сказать, что атеизм как учение не существовал вовсе. Закрывая церковь, с ней не вступали в полемику.

Религия признавалась пережитком. И несовместимость ее с современностью — с наукой, прогрессом, коммунизмом — была в первую очередь стилевой. Верить в Бога казалось не столько вредным или опасным, сколько стыдным: религия — удел отсталой деревенщины, которой в то время еще стеснялись развитые горожане. В интеллигентном обществе считалось, что в России православие существует только в одной форме — «старушечьей».

Герой фильма «Я шагаю по Москве» (1963), входя в церковь, громко здоровается, прерывая службу. Рецензент по этому поводу с удовлетворением пишет: «Колька воспитан, тактичен, мягок... он, сын людей нового, советского, воспитания, никогда не был в церкви» [50].

Гуманное — тактичное и воспитанное — новое поколение боролось с религией без злого умысла, только для того, чтобы помочь «старушкам» приобщиться к бодрой и веселой современности. Храмы закрывались из неловкости за отсталость, из-за ненадобности.

Атеизм начала 60-х не был правительственным произволом. Он опирался на идеологию советской интеллигенции, которая проблему веры решила для себя по формуле Остапа Бендера: «Эй, вы, херувимы и серафимы! — сказал Остап, вызывая врагов на диспут.— Бога нет!.. Это медицинский факт» [51].

«Медицинский факт» Остапа дополнялся еще несколькими аргументами, как то: маятник Фуко, свисающий с купола Казанского собора, костер Джордано Бруно и свежие сведения о том, что ни

Гагарин, ни Джон Гленн в космосе Бога не обнаружили. Главный тезис стандартного пособия «Спутник атеиста» — «Религия играет роль тормоза общественного прогресса» [52]— не вызывал возражений. Бог противостоял не советской власти, а науке и просвещению.

Таким образом, к началу 60-х вопрос «есть ли Бог» казался просто смешным по сравнению с проблемой «есть ли жизнь на Марсе».

Тем поразительней, с какой стремительностью советское общество, оставив Марс в покое, вернулось к религиозным темам.

Духовная эволюция интеллигенции произошла в те же 60-е и, более того, была последствием того же процесса, который вызвал религиозный вакуум в начале десятилетия.

Духовная ограниченность культуры 60-х определялась неукорененностью во времени. Советская интеллигенция жила будущим, потом прошлым, но никогда — настоящим. Вернее, ее понимание настоящего зависело от концепции прошлого или будущего. Отсюда шло представление об идеальном характере истории и общества, о «пластическом характере мира» (Бердяев), который можно и нужно переделать в соответствии с идеей о нем.

60-е как раз и были посвящены выяснению и уточнению этой идеи, спорам о деталях идеального устройства, а не сомнениям в принципиальной возможности и необходимости такового.

Когда сомнения все же появились, начался следующий этап развития русского общества — 60-е завершились.

Однако, прежде чем идея прогресса стала подвергаться нападкам, она пережила в России невиданный взлет. Даже опытный Эренбург мог рассуждать о будущем в духе Программы КПСС: «О, тогда будут много читать, вести умные разговоры, открывать тайны природы и самое главное — не будет войн» [53].

В борьбе за прекрасное завтра религия не казалась конкурентом — ее искореняли из жалости, как неадекватную современности, как не имеющую будущего, без которого настоящего не существовало.

В будущем коммунизме настойчиво подчеркивалось материальное изобилие (культовое слово эпохи), естественным следствием которого должен стать духовный расцвет личности.

Но именно исследование этого «естественного» результата и привело советскую интеллигенцию к тупику, выход из которого оказался метафизическим.

Ключевым противоречием коммунизма стал отказ от решения

проблемы зла. Утопия, требовавшая тотального торжества добра, просто исключала зло из жизни.

Позднее, анализируя эту проблему, публицист Б. Парамонов писал: «Греха, зла, тени согласно марксизму, нет, они исчезли вместе с капиталистическим способом производства». Но — «какие бы удары ни наносил прогресс по мировому злу, как бы ни искоренял он самое семя трагедии — они воспроизводятся снова и снова, ибо они онтологичны и никакому прогрессу не поддаются» [54].

Коммунизм, обещая всеобщее счастье, настаивая на равенстве и справедливости, не мог объяснить, как преодолеть это противоречие.

Уязвимость великой мечты обнаружили те, кто наиболее старательно разрабатывал концепцию светлого будущего. Например, братья Стругацкие. Ничего странного в том, что «низкий» жанр НФ занялся, по сути, теологическими проблемами, нет. Он просто был ближе к будущему по своей изначальной задаче.

Стругацкие, детально очерчивающие контуры коммунизма, столкнулись с конфликтом между счастьем и равенством. Общая схема конфликта в их трактовке была такова. Всеобщее счастье немыслимо без всеобщего равенства — равенства не возможностей, а результатов. Однако очевидно, что люди не равны — в своих талантах, в способности жить духовными интересами, в стремлении к творчеству. Коммунизм не победит, пока на Земле живут мещане. Изобилие только приведет к еще большему потребительству. Как добиться, чтобы люди — все! — хотели не обладать вещами, а делать их? Не потреблять, а творить? Силой?

Книга Стругацких «Трудно быть богом» (1964) поставила острый вопрос: что должен делать человек, который знает путь к счастью, с теми, кто его знать не хочет. Центральный диалог в книге объясняет — не как трудно быть богом, а почему это невозможно: «Сделай так, чтобы больше всего люди любили труд и знание, чтобы труд и знание стали единственным смыслом их жизни! — Да, это мы тоже намеревались попробовать, — подумал Румата. Массовая гипноиндукция, позитивная реморализация... Не будет ли это то же самое, что стереть это человечество с лица земли и создать на его месте новое?» [55]

Дело, конечно, не в «позитивной реморализации», в которой так соблазнительно просто увидеть принудительно-трудовую систему исправления. Дело в том, что зло оказывается необходимой составляющей человеческой души. И уничтожить его можно только вместе с самой душой.

Осознание этой трагической диалектики привело Стругацких, некогда пылких апологетов прогресса, к полной капитуляции. Главный герой их лучшей книги «Улитка на склоне» (1968) ждет от общества только одного — чтобы оно не требовало от человека «полного соответствия каким-нибудь идеалам, а принимало и понимало его таким, какой он есть» [56].

Так в жертву гуманизму Стругацкие принесли идеалы всеобщего счастья. (Естественно, они следовали здесь за Достоевским, проблематика «Великого инквизитора» была вообще очень близка поискам поздних 60-х.) Утопия рушилась под грузом невозможности сделать людей лучше, чем они есть — и от ощущения преступности такого намерения.

Путь, проделанный Стругацкими от радостной молодежной фантастики к антиутопической «Улитке», стал характерным для 60-х. Такая эволюция была не уникальной и не самостоятельной. Она во многом зависела от западного влияния.

В то время, когда советская культура переживала бурный период, в распоряжении интеллигенции оказалось философское богатство Запада — экзистенциализм. Еще до того, как зло стало преградой для русских авторов, советский читатель (и зритель) смог достаточно детально познакомиться с разработкой этой проблемы лучшими деятелями западной культуры. Наряду с КВНом, «Голубым огоньком» и чтением стихов на стадионах в сферу русской духовной жизни попали сочинения Сэлинджера, Сартра, Камю, Кафки, Ануя, Голдинга, Кобо Абэ, кино Бергмана... Экзистенциализмом в России, попросту и не без оснований, называли хорошую современную западную литературу — ту, в которой не было «хеппи-эндов».

Не случайно, само слово «экзистенциализм» — этот лексический монстр — служило одним из паролей в интеллигентных компаниях. Французские шансонье, одетые в традиционные черные цвета экзистенциализма, определяли вкус молодых интеллектуалов в той же степени, как кок Элвиса Пресли — вкус столичных «штатников».

Сложная и мучительная философия экзистенциализма, конечно, не стала достоянием многих (хотя в 60-е в России появилось немало работ, трактующих эту тему) [57]. Но литература Сартра, Камю, Кафки пользовалась огромной популярностью.

Экзистенциализм называли больной совестью западной интеллигенции. Советской интеллигенции тоже нужна была больная совесть.

Если, к примеру, Бунюэль, которого советский человек знал только по критике, заявлял: «Я хотел бы поставить фильм, который со всей определенностью показал бы зрителям, что они живут не в лучшем из миров, и тогда моя цель была бы достигнута»[58], то официальное советское искусство видело свою цель в прямо противоположном. Добро и зло разделила государственная граница. И если позитивный идеал подробно разрабатывался дома, то проблема зла отошла в ведомство западной культуры.

Идея экзистенциалистов о трагичности бытия была неожиданной для советского человека 60-х. В советских условиях зло отождествлялось с понятием «неправильного» — неправильного социализма, извращенного марксизма и, конечно, неправого правительства.

Западная же культура трактовала зло как имманентно присущее личности. Зло было внутри, а не снаружи. Свобода личности, которая, как верили в России, должна была обеспечить духовное совершенство, оказывалась не наградой, а бременем. «Человек обречен быть свободным»,— говорил Сартр, и ему вторил Камю: «Свобода... тяжкое ярмо, одинокий бег на длинную дистанцию. ...Один в угрюмом зале, один перед судом других и своим собственным. Всякую свободу венчает приговор»[59].

Вместо увлекательной коллективной борьбы за Добро против Зла, экзистенциалисты указывали читателю путь одинокого самоистязания, предлагали обвинять не других, а себя.

Столь важная в России проблема личности и государства переходила в другую плоскость — личность противостояла не государству, а другим личностям: «Ад — это другие» (Сартр). Социальная тема переходила в метафизическую, и выводом из нее был абсурд: «Абсурд есть метафизическое состояние человека в мире» (Камю).

Абсурд как вневременная, вненациональная и внесоциальная категория был прямой противоположностью коммунизма в любой самой расширительной трактовке.

Наложение кафкианской модели мира на телеологическую советскую реальность заводило в тупик не только ортодоксальную, но и оппозиционную мысль, направленную на улучшение государства и общества.

К близким экзистенциализму выводам подталкивал советскую интеллигенцию и Булгаков, автор, вероятно, самого влиятельного в то время произведения — «Мастера и Маргариты». Его концепция личной ответственности не подчинена социальным конфликтам. Булгаков, выводя своего Мастера на арену вечности, оставлял его там наедине со вселенской гармонией. Булгаков снимал проблему зла и добра вмешательством сверхъестественного — «Не просите, сами дадут», но одиночество личности только усугублялось ее слиянием с безразличной вселенной. Оптимистической трагедией «Мастера и Маргариту» никак не назовешь.

Философия, переведенная на язык литературных шедевров, оставляла человека без надежд на выход. Но мысль о невозможности победы добра над злом оказалась слишком трагичной, слишком чуждой русской идее. Эта мысль противоречила центральному направлению духовных поисков русской интеллигенции. Общество, не захотев отказаться от «пластического характера мира», попыталось перевернуть вектор исторического процесса. Вместо строительства будущего интеллигенция принялась строить прошлое. Она не отрекалась от веры в социальный идеал, но смирилась перед необходимостью созидать утопию не в обществе, а в душе. Именно так сформулировал это положение Солженицын: «Не в камнях, а в людях надо коммунизм строить»[60].

Для этого требовалась более действенная система ценностей. Бог стал насущной необходимостью, и его нашли там, где с самого начала 60-х готовилась контрреволюция против будущего — в России, в народе, в православии.

Наивная атеистическая аргументация ранних шестидесятников базировалась как раз на отрицании тех идеалов, которые подняли на пьедестал шестидесятники слегка постаревшие. Если раньше религию презирали как идеологию «старушечью и деревенскую», то теперь именно в деревне и именно у старушек следовало веру искать.

Богоискательство нашло опору в течении традиционалистов, которые к середине 60-х уверенно опередили поклонников «алюминиевого царства».

Идеология руситов первоначально была индифферентна к религии. Она развивалась не на духовной, а на материальной основе. Это, собственно, и было ее главным оружием против

воздушных замков коммунизма, которые оставались в своем будущем без обстановки, без быта. Там были космические ракеты, но не было кушеток, были питательные пилюли, но не было кваса, было движение, поиск, но не было дома, корней. Будущее отрывалось от прошлого, бытие оставалось без быта.

Регаруя на эту экстремистскую модель грядущего, руситы исповедовали неразрывную связь быта и бытия. Но быт — это вещи (не идеи). Чем больше вещей, тем полней наш быт, тем гармоничней наше бытие.

Из этого нехитрого построения интеллигенция сделала незамедлительный вывод — коллекционирование. Книга В. Солоухина «Черные доски» объяснила, что коллекционировать предметы старины означает «собирать душу народную» [61]. Новое хобби завоевывало страну. Иконы или прялки, лапти или сундуки, подковы или горшки — что-нибудь собирали все. Хотя сам Солоухин к богоискательству не призывал, очень скоро интерес к крестьянскому быту связался с увлечением народной верой. Православие из дореволюционного крестьянского обихода попадало к интеллигенции вместе с иконой и лампадой. Вместо того чтобы стесняться отсталых деревенских родственников, ими стали гордиться.

Оппозиция прошлого будущему породила необходимость углубить, расчистить и расширить русскую историю. Прежде всего это означало ее удлинить.

Если раньше под русской культурой подразумевались литература и искусство XIX века, то увлечение стариной приобщало к ней и всю средневековую Россию. Вместо европеизированной словесности прошлого столетия следовало освоить сугубо религиозную культуру допетровской Руси.

Чтобы ощутить религиозный накал классики, советский читатель должен был прежде вообще догадаться, что нравственная проблематика русских шедевров и есть проблематика веры и безверья. Бог Пушкина, Лермонтова и даже Толстого и Достоевского почти безразличен к церковности. Зато понимание Древней Руси без знания православной обрядности было невозможно.

Вместо вопроса — каково будущее советского государства, интеллигенция занялась проблемой — каким будет его прошлое.

Советская власть реагировала на все эти перемены крайне

непоследовательно. Одни церкви разрушались, другие восстанавливались. Традиционная апелляция к светлому будущему соседствовала с покровительством историческому национализму (характерна деятельность журнала «Молодая гвардия» в 1965—68 гг.). Академика Д. Лихачева награждали за исследования древнерусской культуры, а фильм А. Тарковского «Андрей Рублев», эту культуру воспевший, запрещался цензурой.

Можно предположить, что партийная идеология прозевала религиозные поиски интеллигенции, удовлетворяясь патриотическим и антизападным характером моды на русское. Решительно власти реагировали только на крайности (разгром в 1964 году тайной организации «Всероссийский социал-христианский союз освобождения народа»).

Интеллигенция, предоставленная самой себе в вопросах метафизики, жила бурной идеологической жизнью. Споры о России, ее месте и предназначении в судьбах мира ушли далеко в сторону от проблем, поднимаемых на пленумах ЦК. Новая идеологическая система, решая вопросы о путях России, должна была выработать свое отношение к религии, к христианству, к православию. А это отношение зависело от вечной дилеммы русской истории — выбора между Востоком и Западом.

Как ни парадоксально, восточная ориентация части советской интеллигенции, породившая волну увлечения йогой и буддизмом, продолжала утопическую линию коммунаров ранних 60-х с ее отправной точкой — наукой. Фантастическое доверие к науке привело к развитию мистики.

Здесь показателен пример Ивана Ефремова, одного из главных певцов утопии, автора «Туманности Андромеды». Его книгу «Лезвие бритвы» (1963) современный эмигрантский исследователь справедливо назвал единственным мистическим романом советской литературы [62].

Герой этой книги — Гирин — обладает почти сверхъестественным могуществом: он то и дело являет чудеса. Но чудеса эти имеют рациональные объяснения. Медик Гирин освоил при помощи особых приемов скрытую от простых людей психическую энергию. Теперь он может почти все, он стал почти богом, но случилось это потому, что Гирин верит в беспредельные возможности самоусовершенствования человека.

Гирин проповедует путь к этой вершине. Для ее достижения надо не только исповедовать науку, но и приобщиться к верной

философии, прообразом которой для Ефремова является древняя индийская мудрость.

«Лезвие бритвы» апеллирует не к Богу, а к человеку, точнее — к сверхчеловеку. Идея Ефремова мистична. Она открывает в душах людей то, что обычно составляет атрибуты Бога. Наука здесь понимается как путь духовных упражнений. Не зря в романе йога и психотренинг дублируют друг друга, различаясь лишь терминами.

Построение Ефремова — род метафизики, эксплуатирующий научную веру. Сверхъестественное объясняется еще не открытыми физическими законами, но верить в него можно уже сейчас.

Гирин — советский ученый, которого индийские гуру признали брахманом. Так эволюционировал тип коммунара на страницах классика научно-фантастического жанра. Убедившись, что коммунизм невозможен без перестройки души, Ефремов доверил будущей науке произвести необходимые изменения психики.

Пророчества Ефремова отразили огромный интерес советского общества середины 60-х к всевозможным парапсихическим феноменам [63]. «Кожное зрение» Розы Кулешовой, телепатические эксперименты, опыты Вольфа Мессинга — во всем этом эпоха еще не видела противоречия позитивистскому мировоззрению. Напротив, ждали, когда наука приобщит к своим достижениям сферу сверхъестественного. По сути, это была надежда на смыкание физики и метафизики. Но пока этого не произошло, многие удовлетворялись заимствованием индийского опыта. Чуть ли не первым самиздатом были инструкции по хатха-йоге, поза лотоса стала элементом утренней зарядки, и фильм «Йоги: кто они?» держал в напряжении страну.

Увлечение Востоком было своеобразной реакцией на западнические симпатии 60-х. Трагическому, разобщенному облику современного европейца противостояла духовная гармония Азии.

Так, ефремовский научный мистицизм был остро критичен по отношению к иудео-христианскому миру. На Востоке он видел эволюцию человека к Богу, на Западе — смирение перед сверхъестественным. Поэтому Ефремов отрывал от Европы Россию, считая, что ей предназначен чуждый Западу путь синтеза религии и науки (он их сливал воедино).

Азиатская ориентация России была в 60-е новой ересью. Попытка извлечь русскую историю из русла западной цивилизации ощущалась как болезненное нарушение традиционного культурного единства белой расы. Поэтому такой гнев вызвали (и

вызывают до сих пор) осторожные построения Льва Гумилева, который обнародовал свою теорию о союзе Древней Руси с татаро-монголами. Гумилев осмеливался писать что-то о «традиционной политике ордынской охраны русских земель от наступавшего католицизма» [64]. Вместо двухсотлетнего ига, он предлагал концепцию русско-монгольского государства, благодаря которому Россия не превратилась в провинцию Европы, а сумела сохранить самобытность, завоевать Сибирь и стать евразийской — уникальной — державой. Он отрывал Русь от христианства, видя в нем насилие над языческой природой древних славян.

На фоне общих успехов русской идеи оживился и интерес к язычеству. И в нем пытались отыскать разгадку тайны особой русской души. Большое влияние тут оказала возрожденная проза А. Платонова (его толстые сборники вышли в 1965 и 1966 годах).

Своеобразная пантеистическая философия Платонова, к тому же связанная со стихией революции, могла казаться долгожданным ответом на метафизические вопросы. Его «Сокровенный человек» являл собой пример полной слитности с «почвой», с землей, с природой: «Пухов шел, плотно ступая подошвами. Но через кожу он все-таки чувствовал землю всей голой ногой, тесно совокупляясь с ней при каждом шаге... Эта супружеская любовь цельной непорченной земли возбуждала в Пухове хозяйские чувства. Он с домовитой нежностью оглядывал все принадлежности природы и находил все уместным и живущим по существу» [65].

При этом Пухов не противостоял прогрессу — он оживлял машину, наделяя ее всемирной душой, частью которой был и сам.

Однако и восточный мистицизм Ефремова, и «проазийские» теории Гумилева, и техницистский пантеизм Платонова отступили перед другой концепцией «русского Бога». Коротко и упрощенно ее можно выразить так: «Христос родился в России».

В рамках этой концепции Русь не следовало привязывать к Востоку. Напротив, Д. Лихачев писал «об особой сопротивляемости Древней Руси по отношению к Азии» [66].

Но и к Западу Русь не относилась — русские были выше его. Не сильнее, как некогда в «Александре Невском» Эйзенштейна, а возвышеннее.

Лихачев подчеркивал, что подвиг первых русских святых Бориса и Глеба заключался в смирении. Многочисленные путеводители по Золотому кольцу писали, что именно скромностью, неяркостью, сдержанностью отмечен гений древних

русских зодчих. И герои нарождающихся «деревенщиков» всегда исповедовали тихую покорность судьбе, гармонирующую с плавной русской природой.

Литература, выдвинувшая на первый план Матрену Солженицына вместо Павки Корчагина, конечно, не стала христианской, но подготавливала почву для того, что потом назвали религиозным возрождением.

Ярче всего эта тенденция проявилась в «Андрее Рублеве» — возможно, лучшем фильме, снятом в 60-е.

Тарковский показал разобщенную, униженную и измученную Русь как истинную родину великой идеи страдания и искупления. Христос родился в России не потому, что она лучше других, а потому, что она страдает больше всех.

«В замерзший рассветный или подвечерний час по тихой зимней дороге... медленно поднималась немногочисленная процессия человек в тридцать — мужчины, женщины в темных платках, дети, собаки... лица женщин были печальны, детей — испуганны, мужчин — строги и сдержанны, и все они смотрели на босого человека, идущего впереди с тяжелым березовым крестом на плече, и на оборванного мужика, помогающего ему нести тяжесть, которую он сбросил на вершине холма у вырытой в промерзшей земле ямы, и, зачерпнув ладонью, глотал снег, глядя на остановившихся внизу людей ожидающим и таким спокойным взглядом, что какая-то баба, беззвучно охнув, опустилась на колени прямо в снег»[67].

Эта сцена, из которой почти изъяты исторические приметы, описывает эпоху Рублева, как и эпоху ГУЛАГа. Она. как и породившая ее идея, стоит над временем, вне его.

Однако трагедия Голгофы у Тарковского — не выражение абстрактного экзистенциального зла, как у Булгакова. Зло у него все же находит конкретное воплощение. В центральном монологе литературного сценария фильма (1964) Рублев говорит: «Фарисеи эти на обман мастера, грамотные, хитроумные, и обманули народ, и убедили его, и возбудили. Они и грамоте-то учились, чтобы зло творить... Людям просто напомнить надо почаще, что люди они, что русские, одна кровь, одна земля. Зло везде есть.. А мужик терпит и не ропщет... он все работает, работает, работает, работает, работает, несет свой крест смиренно, не отчаивается, молчит и только Бога молит, чтобы сил хватило...»

Тарковский снимает вину со страдающего народа и перекладывает ее на «фарисеев»-интеллигентов. Народ — безгрешен, и

только у него можно научиться высшей духовной мудрости. И народ этот — русский.

В формуле «Христос родился в России» стало важно не столько кто, сколько где.

Заново открытое христианство связывалось с идеей особого пути России.

Началось формирование оппозиционной платформы, объединившей главные выводы идеологического переворота. Впоследствии историк неославянофильства А. Янов вычленил общие черты этого направления: отход от христианства — причина кризиса современного человечества; Запад как оплот секулярности; русский народ — опора православия; единственная истинная свобода — внутренняя свобода христианина; враждебность к интеллигенции как к носителю западной секулярности[69].

Естественно, что сторонники этих идей резко разошлись с ранними правозащитниками. Лозунг «Соблюдайте свою Конституцию», если отвлечься от тактических соображений, направлен на исправление идеи, а не на уничтожение ее. И уж, конечно, он лишен всякой метафизической направленности.

Экзистенциальные поиски советской интеллигенции такую направленность приобрели, но оказалось, что их выводы не применимы к социальным проблемам. Получалось, что личность и государство существуют по отдельности. Вернее, государства нет вовсе, оно — лишь функция абсурдного мира.

Руситы предлагали путь опрощения, возвращения к народу, обретения полноты бытия благодаря растворению к гармонической стихии крестьянской жизни[70].

Движение христианского возрождения выдвинуло свою программу, которая нашла экстремальное выражение в «идеальном государстве» Шиманова[71].

Конечно, национал-большевизм с его учением о России как духовном детонаторе человечества, которое ведет к «православизации» и «русификации» всего мира — идеологический курьез. Но самое главное в этом движении — вера в возможность и необходимость «идеального государства».

Коммунистическая утопия, проделав сложную эволюцию из будущего в прошлое, вернулась к одному из своих истоков — христианству. Пройдя искус восточной мистики и западного экзистенциального отчаяния, русская идея обратилась к своей основе. К тому духовному фундаменту, о котором поздние 60-е

прочли у входившего в моду, хоть и запретного, Бердяева: «Русская идея — эсхатологическая, обращенная к концу. Отсюда русский максимализм. Но в русском сознании эсхатологическая идея принимает форму стремления ко всеобщему спасению» [72].

Мир лидеров христианского возрождения не менее «пластичен», чем мир коммунистов. Его можно превратить, по Бердяеву, в «Новый Иерусалим», человечество еще переживет «эпоху Духа Святого», а значит, утопия остается целью России, и только средства для этого нужны другие.

Отсюда один шаг до конкретной программы социальных преобразований, которая заменит отжившую программу коммунистической партии.

И этот шаг сделал Солженицын, написав «Письмо вождям Советского Союза» [73]. Метафизические поиски десятилетия превратились в идейное, социальное и политическое движение, активно вербовавшее себе сторонников среди партийных функционеров, деятелей официальной культуры и оппозиционной интеллигенции.

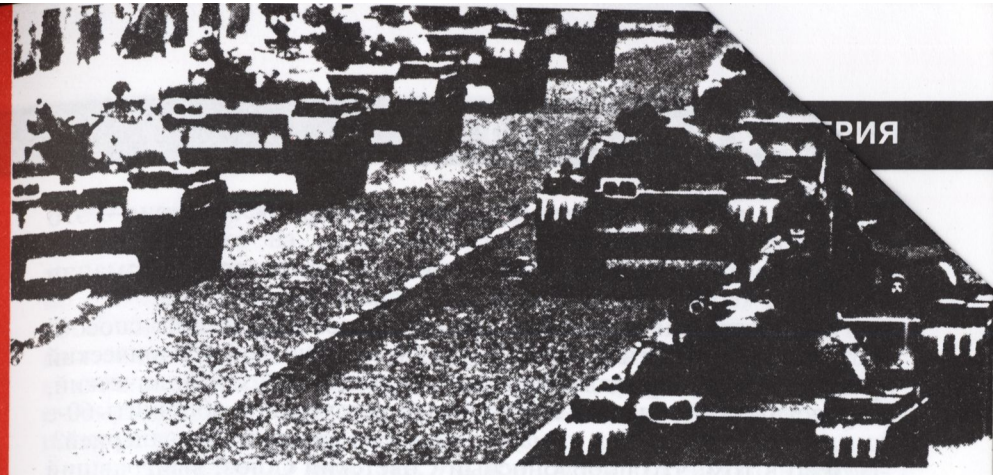
К концу 60-х рассказывали, что каждый четвертый москвич принимал крещение, и остроты Остапа Бендера стали казаться кощунством.



АКОМЬТЕСЬ—МОЛОДОСТЬ!

ЮТЕКА
АВДЫ

ОНЕК



МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. 7 НОЯБРЯ



НА ОКРАИНЕ ТРЕТЬЕГО РИМА

ИМПЕРИЯ

«Быть может,— писал Борхес,— всемирная история — это история нескольких метафор».

Быть может, история 60-х — это история трансформации метафоры «коммунизм» в метафору «империя».

Поэтическая неточность и того и другого терминов, способность этих метафор не столько описывать реальный исторический процесс, сколько придавать ему расширительный, символический, мифологический смысл — все это позволяет условно обобщить 60-е до одного вопроса: как коммунизм вновь становился империей?

Дело в том, что победоносный Советский Союз, выигравший великую войну, захвативший пол-Европы и претендующий на остальной мир, раздавивший венгерское восстание, к началу 60-х империей себя еще — и уже — не осознавал. Новый тезис о мирном сосуществовании социализма с капитализмом базировался на уверенности в конечной победе. Эта доктрина отражала состязательный азарт, охвативший страну.

Лозунг «Обгоним Америку!» (который, кстати, предполагал, что остальных уже перегнали) придавал социальному идеалу конкретный характер. Светлое будущее измерялось в тоннах, гектарах, гектолитрах и штуках. Коммунизм приобрел четкие количественные показатели. Он являлся статистическим результатом, поскольку в сфере качества (духа) его победа была уже постулирована.

Сосуществование, которое Хрущев приятельски предлагал Западу, могло быть мирным — время работало на Россию. С каждым распаханным гектаром, с каждым снесенным яйцом, с каждым кукурузным початком молочно-восковой спелости, приближался роковой час капитализма. Соревнование двух систем не оставляло надежды капитализму, преимуществом которого был только гандикап — он вышел на дистанцию раньше.

При этом советский человек начала 60-х жил с подспудной уверенностью, что его всюду любят. Любовь эта была так же несомненна, как неприязнь, которую привыкли ощущать по отношению к себе советские люди после 60-х.

Даже народное собрание старейшин племени кпелле избрало космонавта Гагарина почетным вождем, вручив ему атрибуты власти — копье и мантию [74]. Рядовой деталью казалась заметка о гастролях ансамбля сатирической частушки в Кении. В Найроби «Ярославские ребята» исполняли куплеты «Валентина Терешкова, землякам давай ответ. Ты за что же подорвала, ой, наш мужской авторитет?» [75]

Несмотря на трогательную любовь шестидесятников к Западу, экспансия коммунизма не ощущалась трагедией. Напротив — это был свой способ приблизиться к Западу, соединиться с ним.

60-е — ренессанс 17-го — возродили и лозунг о мировой революции. Однако на фоне неизбежного торжества коммунизма мировая революция стала спокойнее и увереннее. Теперь ее можно было бы назвать конвергенцией.

Последовательно очеловечивая коммунистический идеал, общественная мысль 60-х пришла к концепции человечества без границ, в котором мировое государство, управляемое творческим разумом, преодолеет национальные и социальные различия по пути научно-технического прогресса.

Как и следовало ожидать, эта концепция выкристаллизировалась в среде диссидентов — самых последовательных шестидесятников — и нашла свое законченное воплощение в меморандуме академика Сахарова «Размышление о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе».

Идеи Сахарова не просто стали следствием расширительного толкования метафоры «коммунизм», они были формулой, в которую эта метафора вылилась. Поэтому репрессии против Сахарова означали, что партия к 68-му изжила идеологию образца 61-го.

«Светлое будущее» по Сахарову было в равной степени направлено против реально существующих капитализма и социализма. Но прорастало оно все-таки на советской почве, ибо только этот строй «поднял значение труда до вершин нравственного подвига».

Сахаров верит в человека творческого — интеллигента, ученого. То есть в такого, который видит цель жизни в труде, а не в награде за труд. Им, аристократам духа, а не советским бюрократам и не западным обывателям, «оболваненным массовой культурой», он доверяет будущее царство разума: «Такая революция возможна и безопасна лишь при очень «интеллигентном», в широком смысле, общемировом руководстве» [76].

У Сахарова мировая революция становится мирной. Конвергенция улучшенного капитализма с улучшенным социализмом представляется единственным и потому неизбежным выходом — к этому ведет логика прогресса.

Концепция Сахарова — это заговор духа против плоти, аристократический мятеж против черни, против ограниченных мещан. На пути к будущему стоят не враги утопии, а те, кто безразличен к ней, кто по невежеству, злому умыслу, неспособности к творчеству видят в труде не духовную цель, а материальное средство.

Естественно, что людей, «отравленных ядом мещанского равнодушия» [77], несоизмеримо больше, чем аристократов духа из сахаровского меморандума. И, что еще страшней, «мещанское

равнодушие» проистекает из природы человека, а не общества, как считали все благородные утопии, начиная с Платона.

Сахаровская концепция в стандартном призыве «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» заменяла пролетариев на интеллигентов. Эта подмена разрушает фундамент коммунизма — равенство. Имущественное неравенство заменяется интеллектуальным.

Уничтожить это противоречие нельзя образованием, но можно воспитанием — если заменить науку религией, а интеллект совестью. Элитарная «диктатура интеллигенции», способной научно доказывать свою правоту, заменяется эгалитарной «диктатурой нравственности», в которой правота обретается верой.

Именно к этому пришел Солженицын, предложивший в начале 70-х альтернативу сахаровским «Размышлениям...» («Письмо вождям», «Жить не по лжи», «Образованщина»).

Полемика между этими идеологическими комплексами протекала на фоне политической жизни 60-х. Международные события как бы отражали внутрироссийские идеологические метания.

Можно сказать, что внешняя политика служила идейным полем сражения. Гражданская война шла и на чужой территории. Например, к исходу борьбы между абстракционистами и народом имела отношение и далекая Гавана. Награждение египтянина Насера золотой звездой Героя Советского Союза считалось происками российского антисемитизма. Убийство президента Кеннеди рассматривалось как частный случай возрождения мирового «сталинизма». Брежневская стагнация находила свой аналог в деятельности сенатора Маккарти [78].

Международные события, которые не насыщались советским содержанием, оставляли равнодушными.

Характерно, что, несмотря на бесконечную пропагандистскую кампанию в советской прессе, вьетнамская война прошла почти незамеченной. Среди героев анекдотов 60-х есть Кеннеди, Мао, Тито, Гомулка, Дубчек, Моше Даян, Насер, даже Неру («Джавахарлал Неру? — Не Неру, а Нюру»). Но нет Хо Ши Мина.

Любое международное событие в 60-е рассматривалось с точки зрения борьбы, условно говоря, «Ленина» со «Сталиным». Главную роль в этом процессе играл, конечно, Китай.

На всех этапах эскалации конфликта Пекина с Москвой Китай, с одной стороны, отражал мрачное советское прошлое, а с другой — подсказывал мрачный вариант советского будущего. Это делало Китай козырной картой в общественной борьбе 60-х. «Левые»» заклинали власти маоизмом, предостерегая от возрождения сталинизма. «Правые», шантажируя Кремль китайской угрозой, требовали консолидации партии и народа.

Для одних Мао был врагом идеологическим, для других — государственным. В конечном счете китайский вопрос решался при помощи тех же метафор. «Левые» считали, что спастись от Китая можно, только придав коммунизму «человеческое лицо». «Правые» видели выход в укреплении «империи».

Китай, а не Америка, становится главным врагом, коммунистическим антихристом. С Соединенными Штатами Россия соревновалась (даже кубинский кризис можно представить в виде опасной игры, вроде «русской рулетки»). Но победить Китай можно только у себя дома — ведь Мао есть объективированная проекция собственного зла. Сахаров, взваливая на свои привычные к этому грузу плечи комплекс Франкенштейна, писал, что китайская трагедия — результат «неполного и запоздалого характера борьбы со сталинизмом в СССР» [79].

Кривое зеркало Китая с болезненной точностью отражало худший вариант советского режима. Пекин действовал так, как поступала бы Москва, если б Сталин по-прежнему лежал в мавзолее.

Мао не поддержал кастровских барбудос, не одобрил политически мирного сосуществования, толкал Советский Союз к мировой войне во время кубинского кризиса, негодовал по поводу договора о нераспространении ядерного оружия, испытывал собственную атомную бомбу и, наконец, уничтожал интеллигенцию в культурной революции, ожесточенность которой привела к прямому военному столкновению на Даманском.

Китай был абсолютным злом — именно потому, что он извратил абсолютное добро коммунизма.

Образ желтых варваров азиатского муравейника (Евтушенко писал о «новых монголах... у которых в колчанах атомные бомбы») преобладал в сознании советского человека того времени, чувствовавшего и свою ответственность за пекинских хунвэйбинов. Ведь Китай был грозной карикатурой на Советский Союз. («Из чего можно заключить, что земля круглая? — Все помои, которые мы льем на запад, льются на нас с востока»). Даже комические обертоны китайской темы не скрывали предчувствия мирового тупика, к которому ведет конфронтация с Пекином («Сколько будет стоит бутылка водки в 2000 году? — Пять юаней»).

Но если в 60-е Россия с ужасом смотрела в правое зеркало, то было в это время у нее и левое — Чехословакия. Почти миллиардный полюс зла уравновешивался маленьким полюсом добра — Прагой.

Недолгая «пражская весна» демонстрировала другой гипотетический путь России, по которому она бы пошла, если б труп Сталина выносили из мавзолея с большей решительностью.

Сама интенсивность политической реальности ставила перед Кремлем дилемму: Прага или Пекин, Запад или Восток, культура или культурная революция.

Чехословакия казалась решающим доказательством возможности победы коммунизма, «ключом к прогрессивной перестройке государственной системы в интересах человечества» [80].

Спор о будущем России, о будущем коммунизма, о самой возможности его осуществления решался как семейное дело, внутри социалистического лагеря. Эта была идеологическая битва между добром и злом, выраженными в одинаковых марксистских терминах.

От правительства требовалось принять однозначное решение, но Кремль уклонился от него. Формой этого уклонения и стали танки в Праге.

Вместо того чтобы выбрать между китайской и чехословацкой моделями коммунизма, власти пошли на компромисс — сохранили статус-кво, заморозили существующее положение вещей. Жертвой этого компромисса стал коммунизм.

В апреле 68-го, подготавливая оккупацию Чехословакии, кандидат в члены политбюро В. Гришин выдвигает новый лозунг: «Наша партия свято выполняет наказ Ленина: добиваться максимума осуществимого в одной стране для продвижения и развития дела мировой социалистической революции» [81].

«Максимум осуществимого» стал минимумом возможного, 60-е кончились, когда метафора «коммунизм» заменилась метафорой «империя». Советская культура вернулась в свое имперское состояние.

Империя для России, конечно, не новое слово. Проще всего его было услышать на окраинах, среди инородцев, которых после войны становилось все больше.

С планетарной точки зрения, господствующей в сталинскую эпоху, мир строго делился на два лагеря. Но 60-е обнаружили уже собственную дискретность.

Империя, собранная Сталиным, нуждалась в новом идеологическом оправдании после того, как выяснилось, что ее единственной границей была колючая проволока.

Хрущев попытался представить империю прообразом всемирного государства. Грозного старшего брата, опекающего для их же пользы младшие народы, должна была заменить старая революционная концепция дружбы народов. Сталинская империя застыла в величественной неподвижности. Хрущевский интернационал был разомкнут для новых попутчиков.

Движение, которым определялась вся эпоха 60-х, влияло на судьбу каждого. Мобильность — императив времени — вела к

национальному хаосу, к отрыву от почвы, традиции, языка. Именно это и давало Хрущеву надежду на слияние многих народов в один — советский, в котором уже никто не сможет отличить старшего брата от младшего.

Хрущевская интернациональная утопия базировалась на «общем сознании общей судьбы» [82]. То есть прочность фундамента полностью зависела от идеологии, от того, верят ли народы Советского Союза в свою «общую судьбу». В конечном счете все это приводило к тому же кардинальному вопросу эпохи: будет ли нынешнее поколение жить при коммунизме?

Дружба народов должна была стать кладбищем всех наций.

Таким виделся мир из кремлевских окон. Весь он был как стройка Братской ГЭС, которая демонстрировала (особенно в поэме Евтушенко) мощь людей, объединенных «общей судьбой» вместо отсталых национальных традиций.

Однако картина советского общества решительно менялась, стоило лишь посмотреть на него под другим углом зрения — с окраины.

В национальной республике советский человек опять становился русским. Тут тема империи никогда не переставала быть актуальной. Хотя и для нерусских идея равенства народов часто бывала удобной. Поскольку дружбу и равенство следовало постоянно подтверждать, национальный кадр мог считать свое происхождение дополнительным преимуществом. Особенно если он был русским во всех отношениях, кроме паспортной графы.

Чукча Рытхэу и киргиз Айтматов могли служить визитной карточкой новой социалистической общности. Русские и нерусские одновременно, они были реализацией хрущевской мечты.

Конечно, и русский старший брат не забывал о своем месте в советском государстве, тайно и явно презирая «чучмеков» в чумах и чалмах. Дружба переходила от насмешливой терпимости к пылкой любви по мере продвижения с востока на запад — от эвенков к эстонцам. Добравшись до Прибалтики, интернационализм переходил в западничество.

В начале 60-х балтийские республики ощущались воротами в мир готики, джаза, кафе на площадях — воротами в Европу. Сибиряки иногда спрашивали, какая валюта в Таллинне. Столичные интеллигенты предпочитали прохладный Рижский залив всесоюзной здравнице Крыма. Писатели посылали сюда своих юных героев в поисках смысла жизни («Звездный билет» В. Аксенова). Поэты здесь почему-то переходили на английский («Друзья и враги, бывайте, гуд бай...» — «Осень в Сигулде» А. Вознесенского). И даже Иван Денисович Солженицына, далекий от споров западников с почвенниками, проникался лю-

бовью к прибалтам: «Эстонцев сколь Шухов ни видал — плохих людей ему не попадалось» [83].

С западной окраины России тема империи исподволь вползала в бодрые 60-е. Там русские ощущали, что быть русским немного стыдно. Там рождался комплекс вины перед малыми народами, комплекс, которому предстояло развернуться после 68-го года и распространиться на всю страну. Давид победил Голиафа, лишив его уверенности.

Идея коммунизма в перспективе содержала элемент стабильности, неподвижности. Хотя 60-е жили вектором, направленным в будущее, само будущее было ограничено своей идеальностью. В осуществленной утопии нечему было меняться. По этому поводу неутомимый Ефремов писал, что коммунизм приведет к «всепланетной стабилизации условий жизни человечества» [84]. По сути — это выход из истории, конец мира. Последняя из всех возможных общественно-экономических формаций завершает эволюцию от амебы до коммунара.

Чем решительнее власти сопротивлялись инерции 60-х, тем привлекательней казалась эта будущая «всепланетная стабильность».

В 1969 году А. Альмарик писал: «Режим не хочет ни «реставрировать сталинизм», ни «преследовать представителей интеллигенции», ни «оказывать братскую помощь» тем, кто ее не просит. ... Режим не нападает, а обороняется. Его цель: пусть все будет, как было. Пожалуй, это самая гуманная цель, которую ставил режим за последние полстолетия, но в то же время и наименее увлекательная» [85].

Таким образом, коммунизм вырождался в империю просто потому, что это была единственная, уже готовая форма. Оказалось, что не нужно ждать, пока раскрутится вся завещанная классиками марксизма-ленинизма спираль формаций. Достаточно ничего не предпринимать, достаточно отказаться от телеологической политики, достаточно заменить стратегию тактикой — и жизнь выльется в натуральные, стабильные формы.

Империя появилась сама по себе, как только из советского государства изъяли идеалистический вектор. Новая редакция Программы КПСС, принятая в 1969 году, уже не вспоминала о хрущевских пророчествах насчет «нынешнего поколения».

Контрреволюция, замаскированная вязкой партийной демагогией, должна была произойти плавно и незаметно. Но на советскую культуру она оказала ошеломляющее действие.

Все 60-е годы коммунизм мог служить объектом издевательств. Его называли самым коротким анекдотом. В него не верил никто, кроме Хрущева. Его не было и не могло быть. Но

только когда и партия сочла коммунизм ненужным, стало ясно, какую роль играл этот идеал в советском обществе. «После 21 августа 1968 г. целое поколение, сформировавшееся в СССР после войны, осознало, что живет не в коммунистическом государстве, т. е. державе, пусть ошибающейся, пусть преступной, но все-таки творческой, экспериментирующей и создающей новые общественные модели для всех народов Земли, а просто в агрессивной империи, содействовать которой в ее замыслах бывает для человека выгодно, но всегда и во всех случаях аморально» [86].

Оказалось, что не верить в коммунизм можно, но жить без этого «неверия» нельзя. Вернее, можно — но по-другому.

Советская культура пережила шок. Она вынуждена была пересматривать свои ценности, приспосабливая их к новой модели советского человека. Переворот от идеала гражданина к реальности подданного требовал других этических и эстетических норм.

Интеллигенция оказалась в плену империи. Чтобы сохранить себя, она должна была отказаться от участия в имперских делах, перебраться на окраину. Отныне ее место было в подвале истопника, в ссыльном поселке, в будке сторожа, в пригородном бараке, наконец, в эмиграции. Огромная империя пожирала малые народы, и ее собственная интеллигенция была одним из них.

Исследователь советского фольклора вправе удивляться: почему в России так часто рассказывают про армянское радио и Рабиновича? Почему анекдоты любят комментировать жизнь с такой периферийной точки зрения? Ведь не Иван, а Абрам тот герой, с которым обычно солидаризуется рассказчик.

Юдофильство советской интеллигенции 60-х — всего лишь частный случай самоидентификации со слабым, а не сильным, с малым, а не большим. Чувство, о котором писал даже крайний патриот Г. Шиманов — «русских презирают все» [87], — вынуждает отказаться от привилегий старшего брата в российской империи. А это означает — быть на стороне жертв империи, прорваться через границу государства, чтобы не разделять вину за его преступления. Стать вне родины, чтобы не быть ею поглощенной.

В это тяжелое время Г. Померанц писал: «Духовно все современные интеллигенты принадлежат диаспоре» [88]. Это все тот же союз аристократов духа, о котором писал Сахаров в своих «Размышлениях». С тех пор как империя раздавила «светлое будущее», духовная «диаспора» естественным образом оказалась вне национальной плоскости.

(Кстати, для того, чтобы вернуть интеллигенции моральное право быть русской, потребовалось саму русскую нацию представить малым народом. При помощи демографических выкладок, картин ужасающей нищеты, сравнения уровня жизни русских с жителями национальных окраин Солженицын и его последователи доказывали, что собственно Россия и русский народ и есть главные жертвы империи).

Советская культура в своем новом качестве искала аналогий с другими имперскими культурами. Но советская империя — последняя. Ее ближайшая по времени предшественница — Британия — не имела с Россией ничего общего. Миф о джентльмене-колонизаторе, даже в тропиках меняющем рубашку к обеду, принадлежит англосаксонскому кругу народов. Киплингово «бремя белого человека» в России становилось бременем варварства, которое империя несла Европе.

Советской культуре был ближе опыт Австро-Венгрии. И не случайно Кафка и Гашек на русской почве становились авторами популярных моделей восприятия имперской действительности.

Абсурдный мир кафкианских коридоров власти неожиданно освобождал от ответственности. В этом сумрачном мире империя растворялась в сюрреалистической дымке. Власть отчуждалась от личности, да и вообще не имела отношения к человеческой деятельности.

Империя была воплощением зла, но зла абсурдного, то есть неумышленного, поскольку к нему неприменима проблема цели. Популярный в конце 60-х каламбур «Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью»[89] отражал представление об империи как о фатальной необходимости. Пассивный залог — «мы рождены» — обнаруживал зловещую сущность предопределения. Но — и облегчал груз личной ответственности.

Гениальный Швейк развивал тему имперского абсурда в другом направлении: государству он противопоставлял буквальность. Утрированная верноподданность, отказ трактовать лозунг в переносном, расширительном значении, простодушная лояльность, ставшая ироническим принципом,— весь этот «швейковский» комплекс использовался в самых конкретных ситуациях. Например, в борьбе евреев за эмиграцию. Или — в литературе («Чонкин» В. Войновича).

Характерно, что аналогии советской империи искали на окраинах другой, хотя существовала старинная концепция «Третьего Рима», которая навязывала России преемственность самой знаменитой из империй — Римской.

Дело в том, что Третьим Римом Москва казалась лишь со

стороны. Так, в 67-м году Яан Каплинский пишет стихотворение, ставшее «подпольным гимном Эстонии»[90]. В нем поэт, отождествляя свой народ с завоеванными Цезарем галлами, использует пышную римскую риторику:

И сказал Верцингеторикс: Цезарь!
Ты отнял землю, на которой мы жили,
Но ты не сможешь отнять ту землю,
В которой нас похоронят.
. . . . . .
Месть растет, как дубы растут,
Ты сам разбросал эти желуди,
И царство твое пройдет,
И дороги, мощеные плитами,
Зарастут одичалой пшеницей.
Козы будут пастись на Форуме,
И рука моего народа
Направит на Вечный город
Грубо кованный меч вандалов![91]

В аллегорических строчках Каплинского Россия одевается в римский наряд. Но принять Красную площадь за Форум можно было только, глядя из Таллинна. В российской «римской империи» не было самого Рима.

Римляне жили с сознанием исторического величия. Римский миф был непреложным основанием экспансии. Территориальное расширение означало распространение Рима во всем мире. В сущности, это была не агрессия, а защита порядка от хаоса.

Когда на монетах эпохи Августа писали «мир во всем мире», надпись оборачивалась двусмысленной тавтологией: Рим и был миром. Римский миф воплотился в империи, пусть даже как реминисценция далекого прошлого. Рим не оставлял внешних альтернатив, чем и воспользовалось христианство, предложив альтернативу внутреннюю.

Но советская империя явилась как раз результатом разрушения мифа, оправдывающего ее существование. Оставшись без утопии, Москва перестала быть Римом. Без вектора в будущее, который заменял Советскому Союзу римский вектор в прошлое, империя превращалась в двухмерную географическую абстракцию, расползающуюся по планете.

Казалось, ничто не может остановить распространение России во времени и пространстве («С кем граничит СССР? — С кем хочет, с тем и граничит»). Но масштабы империи придавали ей не величие, а безнадежность. Идеологическая бессодер-

жательность советского государства лишала его центра. Вся империя состояла из одних окраин. Поэтому в новой российской культуре нет Вергилия, но есть Овидий — Бродский. Имперская тема нашла своего певца, но и поэт нашел себя в ней.

Печальная интонация молодого Бродского — романтика, геолога, даже ссыльного — не должна вводить в заблуждение. Его ранние знаменитые «Пилигримы» (этот гимн богеме стал популярной песней бардов) бредут по земле с ясной и четкой целью:

И быть над землей закатам.
И быть над землей рассветам.
Удобрить ее солдатам.
Одобрить ее поэтам [92].

Перелом, наступивший в конце 60-х, в корне изменил и интонацию Бродского. По свидетельству современника: «Коммунизм начал свое шествие с мощных стихов: «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма» — а завершился через 120 лет стихами Иосифа Бродского:

Генерал, ералаш перерос в бардак.
.....
Никогда до сих пор, полагаю так,
Не был загажен алтарь Минервы [93].

В процитированном стихотворении есть и такие строки:

И сюда нас, думаю, завела
не стратегия даже, но жажда братства.

Бродский, конечно, не обманывается насчет природы этой «братской любви», саркастически снижая ее следующим двустишием:

лучше в чужие встревать дела,
коли в своих нам не разобраться [94].

И все же многое в его последующем творчестве вытекает из названия стихотворения и сборника — «Конец прекрасной эпохи» (1969).

Не автор, а сама эпоха назвала себя «прекрасной». Однако конец ее наступил только тогда, когда эпоха отказалась от хвастливого эпитета.

«Конец прекрасной эпохи» изменил само качество времени и пространства. Не это ли предсказывал Булгаков? История

остановилась — «этот край недвижим», а пространство вышло из Эвклидовых аксиом в геометрию Лобачевского, где, как известно, пересекаются параллельные прямые, где замкнутый мир ограничен внешней сферой:

И не то что бы здесь Лобачевского твердо блюдут,
но раздвинутый мир должен где-то сужаться, и тут —
тот конец перспективы [95].

«Остановка» становится вечной, а «пустыня» — бесконечной. И уже все равно, где стоять и куда идти. Движение и покой равно иллюзорны. Мир отрицательной бесконечности есть всего лишь бесконечный тупик, на окраине которого живет изгнанник Бродский.

Не зря он, уроженец самого имперского из российских городов, стал писать «письма с Понта» еще задолго до эмиграции.

Изгнание из реального времени и пространства привело к тому, что Бродский присочинил России античность. Его античная поза не историческая аллегория, а сознательное отождествление с римским восприятием империи как конца истории: время не вектор, а точка, пространства же нет вовсе. Миросозерцание «римского» Бродского — всегда взгляд из провинции, с края ойкумены, из места, географические и культурные координаты которого несущественны.

В стихах Бродского не может происходить ничего важного. Поэт занят лишь фиксацией мгновений, единственная ценность которых — их уникальность:

Остановись мгновенье! Ты не столь
прекрасно, сколько ты неповторимо [96].

Восприятие единичного, неповторимого впечатления — последний бунт личности против инерции имперского шаблона.

При этом послания Бродского не имеют адресата. Как и его римский предшественник Овидий, Бродский знает, что

...слагать стихи, никому не читая,—
То же, что миму плясать мерную пляску во тьме [97].

Но стихи Бродского и не требуют читателя, слушателя, ответа. Они — способ организации личного, противопоставленного имперскому, хронотопа. Мерное и искусное разворачивание текста, его звуковая и смысловая иерархичность, структурность — вот преграда бесконечной аморфности растекшегося без-идейного, бес-смысленного государства. Бродский, на окраине Рим-

ской империи, лишенной Рима, защищается от хаоса порядком — стихами:

Для переживших великий блеф
Жизнь оставляет клочок бумаги [98].

Империя как метафора, нашедшая свое выражение в поэзии Бродского, трансформировала советскую культуру.

Главной темой стала проблема неучастия, обоснование отказа от оценки действительности.

В сахаровской концепции мира самым страшным врагом было равнодушие: «Каждый честный и думающий человек, не отравленный ядом мещанского равнодушия, стремится к тому, чтобы развитие шло по «лучшему» варианту» [99]. (Афоризм Бруно Ясенского «Бойтесь равнодушных» был среди излюбленных в публицистике тех лет). Но после превращения «коммунизма» в «империю» сама вера в возможность найти «лучший вариант» начала казаться преступной.

Нравственно выжить означало отмежеваться от государства, ставшего империей. Не улучшать ее, а разойтись с ней.

Пушкинский образ государства-корабля, о котором он тревожно писал «Плывет. Куда ж нам плыть?», находит у Бродского окончательное и жуткое развитие:

Империя похожа на трирему
в канале, для триремы слишком узком [100].

В этом застывшем состоянии традиционный герой русской литературы — маленький человек — превратился в единственного. Рухнули надежды классиков вырастить из него большого человека. Огромную империю населяли маленькие люди. Это приводило к парадоксу, о котором писал Амальрик: «Народ без религии и морали... верит в собственную национальную силу, которую должны бояться другие народы, и руководствуется сознанием силы своего режима, которую боится он сам» [101].

Разрешение этого противоречия искали в национализме — вернуть Советскому Союзу русское обличие, отказаться от универсальной империи ради национального государства («Цели великой империи и нравственного здоровья народа несовместимы» — А. Солженицын) [102].

В культуре поэтом нового русского национализма стал Владимир Высоцкий. Герой его песен противопоставляет империи свое обнаженное и болезненное национальное сознание. Высоцкий, заменивший к концу 60-х Евтушенко на посту комментатора эпохи, открывает тему гипертрофированного русизма. Антитезой обезличенной, стандартизированной империи становится специфически русская душа, которую Высоцкий описывает как сочетающую экстремальные крайности.

Карамазовское противоречие между безднами добра и зла создает источник движения, прекращает дурную застылость жизни. В поэзии Высоцкого есть верх и низ, рай и ад, беспредельные нравственные взлеты и падения — но нет середины, нормы.

Бунт маленького человека, подданного империи, заключается в реализации полярности своей натуры. Причем эта полярность выражает суть национального характера.

Между аристократическим — «классическим» — отчаянием Бродского и «мятежом черни» Высоцкого стоит автор прозаической поэмы «Москва — Петушки» (1969) Венедикт Ерофеев. Его произведение сочетает в себе сугубо русского, почти фольклорного героя Высоцкого с самодостаточной языковой стихией поэзии Бродского.

«Москва — Петушки» — новый «Сатирикон» [103]. Но «Сатирикон» Ерофеева принадлежит уже постхристианской эпохе.

Герой «Москва — Петушки» тоже обитает на окраине империи (Веничка никогда не видел Кремля). Но его окраина одухотворена надеждой. Движение из Москвы в Петушки не просто механическое перемещение, это — бегство из империи.

Устраняясь из размеренного течения жизни, которое на самом деле есть не течение, а стояние, живя иллюзорной алкогольной действительностью, Веничка проповедует спасение через недеяние: «Всеобщее малодушие» — да ведь это спасение ото всех бед, это панацея, это предикат величайшего совершенства!» [104]

По Ерофееву, история не прекратилась, не стала точкой Бродского, она сохранила вектор, но вектор, направленный внутрь личности.

Веничка, пожалуй, самый свободный герой новейшей русской литературы. Исключивший себя из империи, люмпен и алкоголик, он не обременяет душу ответственностью за происходящее в ней. Достигнув дна империи, он ищет выход вне ее. Отсюда, от нуля социальной жизни, начинается новая утопия, облаченная Ерофеевым в пародию на христианскую мистерию. Черты ее туманны и неясны, но эта загадочная книга освещена проблесками своеобразной амбивалентной надежды. Может быть — конец как начало?

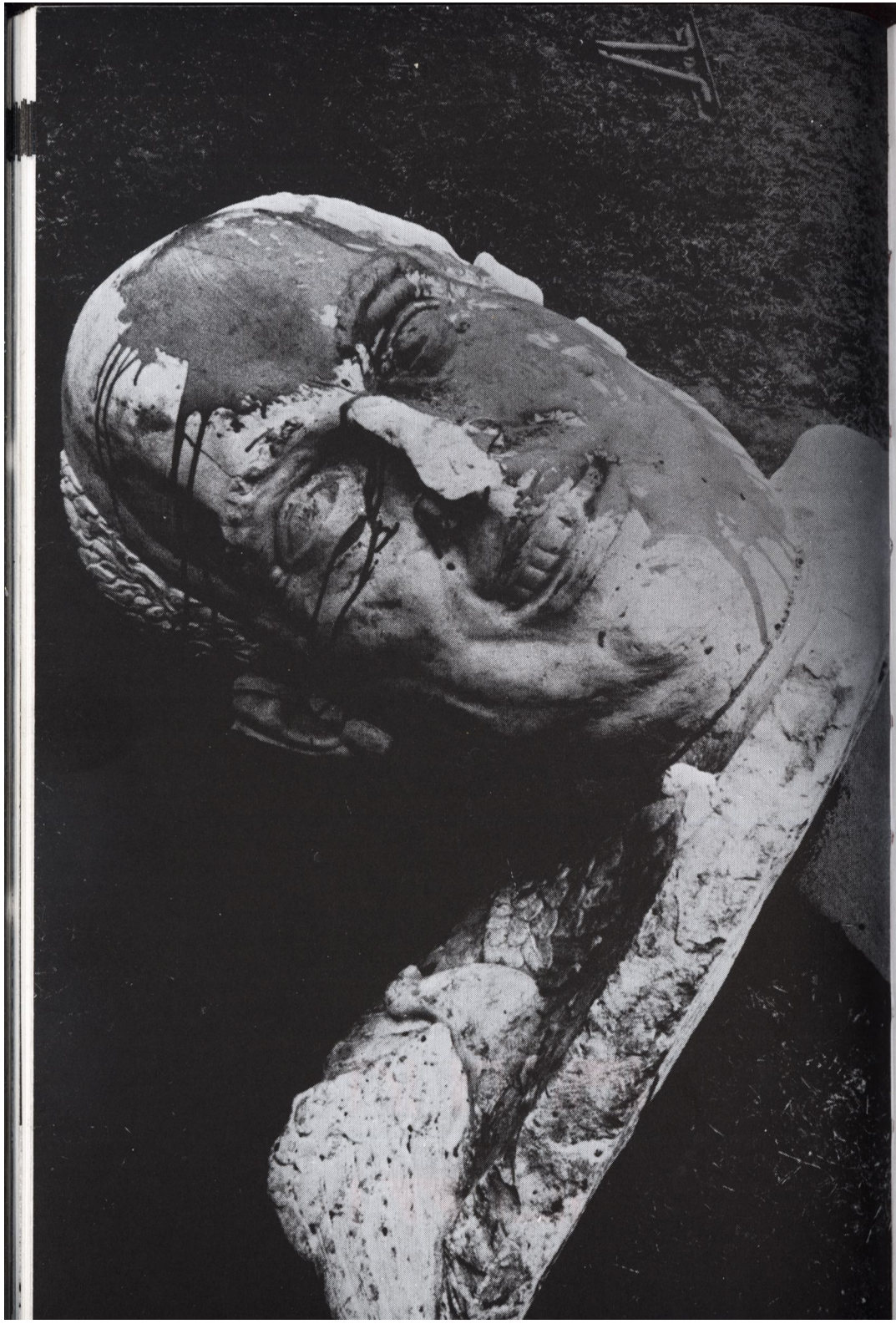
К концу 60-х подлинная русская культура так далеко отошла от государства, что существовала только в своей катакомбной ипостаси. На поверхности имперская тема развивалась по своим вечным законам.

Исчезнувший коммунизм старательно заменяли его казенными символами. Гремели юбилейные торжества (от 50-летия

советской власти до 50-летия советского цирка). Бывший поэт-модернист откликался на оккупацию Праги: «И правда есть интернационала, я выше никаких не знаю правд»[105]. Советские альпинисты увенчали пик Коммунизма, который раньше носил имя Сталина — бюстом Ленина. И ироническим итогом коммунистической утопии сиял огнями над Москвой ресторан Останкинской телебашни. Назывался ресторан — «Седьмое небо».



Народ без религии и морали... верит в собственную национальную силу, которую должны бояться другие народы, и руководствуется сознанием силы своего режима, которую боится он сам.



РУИНЫ УТОПИИ

4

ЕВРЕИ

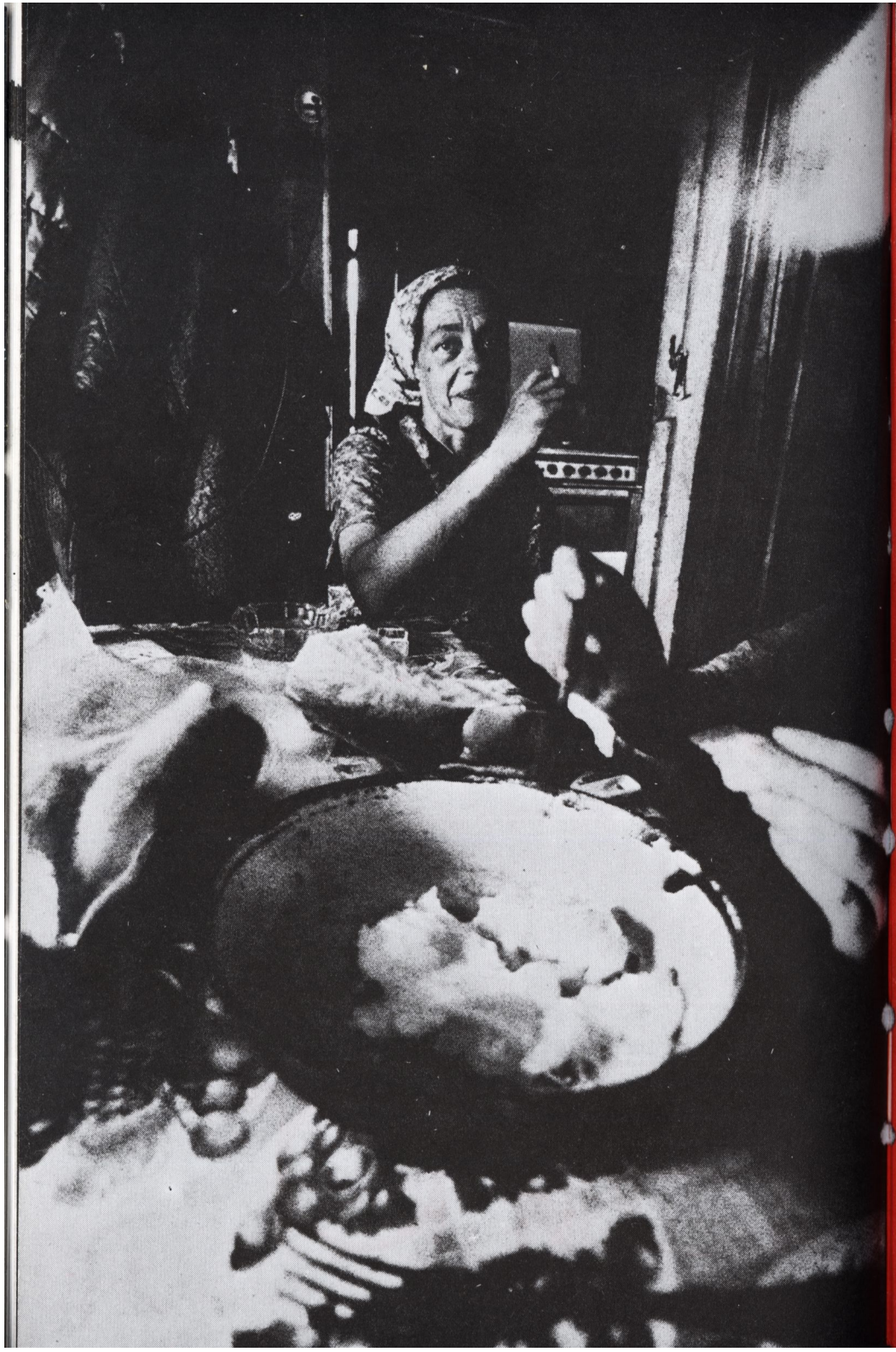
ПОСЛЕДНЯЯ ТАЙНА

КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ

ДРАГА

20 ЛЕТ СПУСТЯ

ЭПИЛОГ



ЕВРЕИ

ПОСЛЕДНЯЯ ТАЙНА

Евреи были чуть ли не главной тайной Советского Союза. Может быть, только половую жизнь скрывали с еще большим усердием. И то, и другое могло существовать только в сфере стыдливого умолчания, только в виде эвфемизмов.

Конечно, из словарей не вычеркивали слова «еврей» и «влагалище». Но общественный этикет делал немыслимым публичное обсуждение таких вещей. И тайна не делалась менее запретной от того, что о ней говорили все и всегда. Здравый смысл и приличия указывают — где, когда и с кем можно обсуждать половой акт или иудейское происхождение[1].

Если правдоискательский пафос 60-х так и не привел к сексуальной революции, то отношение к евреям он поменял кардинально. Однако из всех тайн советского общества эта оказалась едва ли не самой болезненной и опасной. Прежде всего потому, что призрачное, негласное, эвфемическое существование евреев было удобно всем — и правительству, и народу, и семитам, и антисемитам. Объяснить этот феномен может двойственное положение советского еврея.

Ему в России плохо. Недоверие правительства выражается в общеизвестных проявлениях государственного антисемитизма. Примеры бытового антисемитизма не менее общеизвестны. К тому же быть евреем несколько стыдно, поскольку это означает жить в нецензурной, анекдотической атмосфере.

Не следует ли из этого, что советский еврей хотел бы родиться неевреем? Вряд ли.

Пытаясь при малейшей возможности скрыть свою национальность, он защищает право быть им только тогда, когда он этого хочет. Он желает сам выбирать — где, когда и с кем быть евреем.

Этой нации в России сопутствует сложный комплекс мифов. И уже этот основополагающий факт создает ауру экстравагантности. Умные, богатые, хитрые, энергичные, сплоченные, но главное — другие. Евреи — это те, кто заставляет всех остальных определить свое отношение к ним.

Тайна, окружающая евреев в советском обществе — лишь внешнее проявление той тайны, которая скрывается в них самих. (И здесь можно продолжить аналогию с сексом, неприличие которого отражает глубочайшую загадку рождения).

Каждый еврей ощущает себя участником тайного союза, ордена, партии. Скрывая свое происхождение от посторонних, он с радостью раскрывает его среди своих. И тогда любое проявление национальной общности — фамилия, брелок-могендовид, два слова на идиш — пароль, позволяющий прикоснуться к заманчивому инобытию.

Нормальному, то есть лояльному советскому еврею было удобно существовать в двух ипостасях — тайной и явной. И ему

не мешали вынужденные противоречия такой жизни. Его, как и никого в России, не смущало различие между официальным и неофициальным обиходом. Только еврею не надо осваивать самостоятельное мышление частной жизни — его дает сам факт рождения.

Тайна евреев позволяла им быть как все и одновременно — другими. До тех пор пока общество соглашалось замалчивать их существование, оно создавало искусственную, но реально действующую модель отношений.

Евреи страдали от антисемитизма — труднее поступить в институт, попасть на хорошую работу, можно нарваться на оскорбление. Но — и пользовались особым статусом как представители загадочной и даже престижной национальности. В интеллигентной компании, например, считалось, что еврей заведомо эрудированнее, остроумнее, трезвее и радикальнее остальных.

Искусство быть советским евреем заключалось в том, чтобы умело пользоваться двойственностью ситуации, все время играя на разных сторонах «семитского мифа». В обыденной жизни это означало сменить ветхозаветное имя Авраам на Аркадий, записаться в паспорте украинцем, говорить без акцента, но вспоминать о своей национальности каждый раз, когда надо сдавать экзамен преподавателю-еврею, покупать дефицитный товар у директора-еврея и танцевать фрейлахс на еврейской свадьбе.

К этому стоит добавить, что евреи в России были единственными людьми, которых нельзя уличить в антисемитизме — только они могли с легкой душой называть соплеменников жидами.

Таким образом, очевидные плюсы тайного еврейства в немалой степени компенсировали столь же очевидные минусы.

Особое — двойственное — положение евреев способствовало тому, что они играли яркую роль в обществе. Само общество склонно было объяснять эту роль сионистским заговором и темным иудейским гением. Это придавало еврейской тайне мистический оттенок.

После сталинского антисемитского террора (характерно, что одним из самых пугающих аспектов борьбы с космополитизмом было раскрытие псевдонимов, что обнаруживало, «проявляло» роль евреев в СССР) в стране установился социальный этикет, требовавший замалчивания еврейского вопроса.

Однако это негласное соглашение подверглось испытанию с самого начала 60-х. Стремление к правде не могло обойти и тайны евреев.

В общем ряду разоблачений эта тема была лишь одной из многих. Но именно она произвела сенсацию, автором которой был, конечно, Евтушенко.

После публикации «Бабьего яра»[2] поэт получил 30 000 восторженных писем. Трудно поверить, что всеобщий восторг вызвало содержание и форма стихотворения. Вероятно, более важным было само название проблемы. Открытое признание российского антисемитизма пробивало брешь в союзе народа и правительства, делившими ответственность за национальные предрассудки.

Феноменальный успех «Бабьего яра» основывался на точно выбранной предпосылке — невиданном геноциде. Замалчивание евреев после всех страданий, ими перенесенных, превращалось в преступление. Русские антисемиты приравнивались к фашистам.

Волна еврейской темы («Бабий яр» А. Кузнецова, статьи В. Некрасова, стихи Б. Слуцкого) по сути вела лишь к тому, что советское общество должно признать и увековечить особые страдания, выпавшие на долю этого народа.

Однако при этом приходилось вслух говорить о евреях. Это неизбежно втягивало страну в вечный диалог о их сущности. Сами евреи, жившие до сих пор в эвфемической дымке, становились нацией героев. Ведь во время войны один лишь факт происхождения обрекал их на жертвенную судьбу. Уже это давало им право на национальную самобытность.

Но именно против этого боролись власти, пытаясь, пусть формально, противопоставить еврейской общности индивидуальный подход. То есть видеть в еврее всего лишь советского гражданина.

В конечном счете полемика сводилась все к тому же вопросу: есть ли евреи в СССР? И если есть, то кто они?

Тема геноцида, так мощно поддержанная во всем мире, вызвала изменение отношения к себе и у самих евреев. Одно дело идентифицировать себя с народом, «защищавшим страну в Ташкенте», и совсем другое — с повстанцами из Варшавского гетто. Героизм противопоставлялся антисемитизму. И еврейский самиздат начался с переводов (1961) популярного романа Л. Юриса «Эксодус», чья мелодраматическая стилистика на целое десятилетие определила характер так называемого еврейского национального возрождения.

Тогда, в начале 60-х, речь шла не об эмиграции, а о праве евреев гордиться своими подвигами. К традиционным занятиям — ученые, музыканты, бизнесмены — прибавились необычные: солдаты, борцы, герои.

Как всегда в России, проводниками новых идей служили книги. Так, большое значение имело собрание сочинений Л. Фейхтвангера, вышедшее в эти годы. Фейхтвангер открыл новому поколению советского еврейства образ великого иудея, в одиночку противостоявшего одичанию окружающего мира. Талантливый, терпимый и гуманный герой Фейхтвангера решал конфликт между широтой своего космополитического ума и долгом перед соплеменниками.

Этой же проблемой занялись и советские евреи. Началась борьба за статус самостоятельной нации.

Путь из тайного существования в явное лежал через «справедливую процентную норму». Статистика стала опасным инструментом. Например, в 1963 году впервые выяснилось, что 108 Героев Советского Союза были евреями[3]. Это выводило их на четвертое место в стране по мужеству. По числу научных работников они занимали третье место. По количеству казненных за экономические преступления — первое. (Показатели — в абсолютных цифрах).

Процентная норма казалась удобным орудием в борьбе за самоидентификацию[4]. Но она же приводила к двусмысленной ситуации. С одной стороны, статистика показывала, что евреи играют непропорционально важную роль в стране. С другой стороны, они претендовали на те же права, что и другие народы.

Поскольку решающим фактором, определяющим национальность, считалось признание своего языка (идиш) родным, то евреи боролись за ту же культурную автономию, которой пользовались буряты, якуты и кабардинцы.

Получалось, что процентная норма низводит положение евреев до уровня окраинных меньшинств. Это, конечно, не устраивало их самих, но не мешало сравнивать количество книг, вышедших на идиш и по-якутски.

На самом деле статистические выкладки служили лишь тактическим целям. Евреи давали понять властям, что они не хуже бурят. Что они реально существующий народ, и с этим надо считаться.

Однако эта тактика приводила к другой реакции: «Ключевые должности в русском государстве имеют право занимать русские люди... Это и есть антисемитизм,— сказала Вера Федоровна (Панова.— Авт.).— Ключевые должности в русском государстве имеют право занимать достойные люди»[5].

Борьба за национальную самоидентификацию, начатая в 60-е первыми активистами движения, наткнулась на все то же противоречие: евреи хотели быть как все, оставаясь при этом другими.

Разрешить противоречие мог только ответ на вопрос, далеко выходивший за рамки конкретной полемики с властью. Вопрос этот — кто такие евреи?

К середине 60-х острота этой вечной проблемы еще так не ощущалась. Евреи — либералы, диссиденты, охранители — в

первую очередь были советскими гражданами. И вместе со всеми они делили ответственность за будущее страны.

Собственно, и проблема правильной процентной нормы была частью общей борьбы за правду — скорее вопрос принципа, чем реальной необходимости. Евреи боролись за общий идеал равенства и справедливости, по-прежнему провозглашаемый советскими лозунгами.

На практике это означало указывать государству на противоречие между указанным идеалом и действительностью. («Так, большинство советских евреев особенно возмущено государственным антисемитизмом вовсе не потому, что они его жертвы и очень от него страдают, а потому, что он противоречит громко провозглашенному интернационализму» [6].

Однако был один фактор, который выделял евреев — Израиль. Он был как бы запасной родиной.

До Шестидневной войны Израиль оставался все тем же героическим символом, что Бабий Яр или Варшавское гетто. С той разницей, что на Ближнем Востоке евреи побеждали.

Если Суэцкая война 1956 года прошла для советских евреев практически бесследно, то война 1967 года стала переломом. События, происшедшие в Советском Союзе между двумя израильскими войнами, и были 60-ми. Бурный социальный опыт этой эпохи подготовил евреев к ответу на вопрос, кто они такие.

Шестидневная война совпала с кризисом общественного движения в России. Становилось очевидным, что с властью может бороться только организованная оппозиция. Гражданская война из всеобщего противостояния стала делом профессионалов-диссидентов. Делом смертельно опасным и, казалось, безнадежным.

И тут ближневосточные события предоставили еврейству СССР возможность отождествить себя с победоносными израильтянами. Хотя советские евреи и не стояли перед столь экстремальным выбором, их проблема также формулировалась в терминах выживания как самостоятельного народа.

Внутренний конфликт между евреями и советской властью стал решаться на международной арене. Победа Израиля подсказала возможность эмиграции. Воодушевление всемирного еврейства уничтожало нерушимость советских границ. Российские евреи в борьбе за свою автономию перешли государственные рубежи.

Но произошло это не раньше, чем советская реальность исчерпала свои потенции в строительстве утопии. Только обнаружив, что борьба за вечные идеалы сводится к отдельным тактическим операциям, евреи согласились осуществлять утопию за пределами Советского Союза.

Именно поэтому, если страна сочла разгром Пражской весны концом 60-х, то для евреев эта эпоха закончилась позже — в Израиле, Америке, Новой Зеландии. В эмиграции.

Шестидневная война завершила процесс «проявления» евреев в советском обществе. Энтузиазм, вызванный израильскими победами, сделал антисемитизм неактуальным. Напротив, евреи вошли в моду, что отозвалось волной анекдотов. Рассказывали, например, что Насер применил кутузовскую тактику: заманил врага в глубь Египта и ждал зимы. Даже в этой шутке видно, как народ признал евреев своими.

Соотношение сил воюющих сторон напоминало о Давиде и Голиафе. Даже в советских газетах сквозило удивление, вызванное новыми курьезами процентной нормы: «Оккупировать Египет физически неосуществимая затея для израильских экстремистов: население Израиля в 10 раз меньше, чем ОАР» [7], Уверенности здесь не чувствовалось.

Отблески победы оживили все еврейское в стране. Заполнились синагогальные дворы в праздник Симхат-Тора, появились брошюрки издательства «Алия», узкая карта Израиля украсила квартиры [8].

Но все эти декоративные меры мало помогали главному — ответу на вопрос «кто такие советские евреи?»

Ответ был необходим активистам алии, чтобы добиться от правительства разрешения на эмиграцию. Нужен он был и правительству, чтобы это разрешение дать.

После наивных споров о количестве школ в Биробиджане и частоте выпуска журнала «Советиш геймланд» стало очевидным, что проблему придется решать на уровне метафизических обобщений.

Единственный разумный аргумент в пользу эмиграции состоял в том, чтобы доказать принципиальное единство всех евреев в мире, в том числе и советских.

Евреи пытались апеллировать к иудаизму. Поспешно совершались хупы, вешались мезузы, вводился кошер. Но светский характер советских евреев был настолько очевидным, что скороспелый иудаизм не мог обмануть ни власть, ни их самих.

Гораздо успешнее была попытка доказать свою несовместимость с государством. Разрыв активистов алии с диссидентами, в сущности, служил доказательством нелояльности евреев к России. Они исключали себя из системы, вместо того чтобы ее менять. Хотели уехать не в Израиль, а из России. Эдуард Кузнецов: «Осознав себя евреем, не ощущая в себе ни склонности к властвованию, ни любви к безропотному подчинению, не питая надежд на радикальную демократизацию исконно репрессивного

режима в обозримом будущем, считая себя ответственным за все мерзости, ею совершаемые, я решил покинуть пределы СССР. Бороться с советской властью я считаю не столько невозможным, сколько ненужным, так как она вполне отвечает сердечным вожделениям значительной — но, увы, не лучшей — части населения»[9].

Кузнецов утверждает, что, осознав себя евреем, он перестал быть советским гражданином (в лагере он сделал соответствующее заявление). Этим он как бы подтвердил исключительное право евреев на свободу. В том числе и на свободу от решения проблем России, свободу быть ей чужими.

Евреи изъяли себя из системы на том основании, что ценности советского государства несовместимы с их национальным характером. Размежевание с Россией потребовало определения сути этого характера, то есть той же самой самоидентификации.

Этой проблемой занялся еврейский самиздат, достигший к середине 70-х своего расцвета в журнале «Евреи в СССР». Несмотря на бурную полемику, к которой вскоре подключились и эмигрантские издания, найти универсальное определение евреям никому не удалось. Зато в процессе поисков авторы самиздата создали специфическую модель еврея.

В начале 60-х интернационалистское общество вполне удовлетворялось определением Эренбурга: «Я — еврей, пока будет существовать на свете хотя бы один антисемит»[10]. По этой же причине, кстати, объявил себя евреем и Евтушенко: «Я всем антисемитам, как еврей»[11].

Негативный оттенок — от противного — сквозит и в идеологии зрелых шестидесятников: «Демократическое движение начиналось с евреев... Они искали справедливости для других и освобождения от еврейских комплексов для себя»[12].

Но эпохе борьбы за эмиграцию нужны были идеалы позитивные. Что же делает евреев евреями?

А. Воронель в лучшей книге еврейского самиздата «Трепет иудейских забот» дает целый ряд определений: «Традиционное, сохраняемое в семьях уважение к образованности, любовь к учению, пиетет к мудрецам и книжникам, по-видимому, объединяет евреев сильнее, чем общий язык и взгляды на жизнь»[13]. По отношению к русскому народу евреи выступают как «нонконформистский и подвижный элемент». Еврейская система ценностей «необычайно близка к нашей общечеловеческой или, выражаясь осторожнее,— к системе ценностей, характерной для нашей европейской гуманистической цивилизации»[14].

Определение сиониста Воронеля дополняет его оппонент: «Тяга к абстрактной, общечеловеческой гуманности, это стремление

стать на сторону слабых и угнетенных, этот космополитизм, преодолевающий и стирающий все национальные различия, и составляет самую сущность современного еврея, сущность, не зависящую от его взглядов и убеждений — религиозных и политических»[15].

Легко заметить, что поиск того исключительного, что определяет евреев как нацию, приводит к общечеловеческому идеалу. Описывая идеального еврея, деятели еврейского национального возрождения описали идеального человека. Ничего специально еврейского в нем не было. Можно даже обнаружить источник, который послужил им прототипом. Это — русский интеллигент.

Вот что пишет один из самых активных сионистов Илья Рубин о себе и о своих товарищах, защищавших в начале 70-х право на еврейскую уникальность: «Наша секта наделена всеми необходимыми признаками тайных еретических сект: гонимостью, твердой убежденностью в своем высшем предназначении, особым жаргоном... специфическим, только ей присущим бытом — уютным, обшарпанным и печальным. Лишь названия ей еще не придумано — хотя многие из нас в судорожных попытках самоидентификации чаще всего употребляют два эрзац-имени — «еврей» и «российский интеллигент». Думаю, что второе ближе к нашей сущности...»[16]

После этих слов уже не удивляет признание другого сиониста: «Русский язык — это и есть для меня единственное отечество»[17]. И не покажется странным, что журнал «Евреи в СССР» с увлечением вводил в самиздат неизданную Цветаеву.

Оказалось, что идеалы 60-х, возродившие утопическую фигуру русского интеллигента, отнюдь не исчезли из воображения советских евреев вместе с декларативным отказом от участия в российских делах.

Сионизм стал только новой формой прежней мечты. Израиль в представлении русской алии мог дать идее новый шанс. Не зря А. Воронель переворачивает тезис «Москва — новый Иерусалим», пытаясь превратить Иерусалим в идеальную Москву: «Я уверен, что для русских евреев, для которых приоритет творческой жизни перед материальной остался жизненным принципом, а не предметом обсуждения в гостиных, именно Израиль (и только он) остался страной обетованной»[18].

Так советскую алию возглавили не русские евреи, а русские интеллигенты, перенесшие за границу решение задач, поставленных 60-ми.

Советское правительство согласилось признать тезис об исключительности евреев и их непригодности в социалистическом государстве. Но самим себе евреи этот тезис не доказали.

Разочаровавшись в России, они увозили ее с собой. Утопия меняла лишь адрес, но сохранила признаки своего российского происхождения: веру в возможность осуществления царства Божьего на земле; веру в творческий коллектив свободных людей, одухотворяющих вселенную радостным трудом; веру в равенство, братство и счастье — для всех и навсегда. И под каким бы скепсисом, иронией, цинизмом ни скрывался этот идеал, именно его, путано и неясно, постулировали идеологи алии.

Поэтому для советских евреев 60-е закончились только в эмиграции, когда выяснилась непримиримость их идеала к свободному обществу, когда стало ясно, что «реальная свобода делает нашу жизнь совершенно индивидуальной» [19].

Только на Западе советская история окончательно слилась с мировой, растворившей в себе последние иллюзии шестидесятников [20].

Эмиграция была логическим завершением 60-х. Путь, пройденный обществом за эти годы, неизбежно вел к потере уникальности советского образа жизни. Брешь в государственной границе — естественное следствие этого процесса.

Как ни мала была сама эмиграция, она помогала России возвращаться к исторической реальности. Развеяв миф о Западе, она разрушает и миф об исключительности России — уже тем, что позволяет их сравнивать.

Что касается советских евреев, то, раскрыв тайну своего существования, они обрекли себя на проблему выбора.

Присоединившись, хотя бы теоретически, к остальному человечеству, советские евреи вынуждены решать более существенные, чем вопрос о национальной самоидентификации, проблемы — личности, свободы, цивилизации.

Впрочем, и тут евреи не представляют исключения.

НА СОИСКАНИЕ ЛЕНИНСКОЙ



Мстислав Ростропович и Бенджамин Бриттен во время репетиции.
Фото А. Конькова (ТА

«ГАГАРИН ВИОЛОНЧЕЛИ»

В начале нынешнего музыкального сезона даже видавшая виды музыкальная Москва была удивлена большой афишей с длинным списком имен известных композиторов и их произ… дений. Тридцать шесть … фоний, концертов, вар… для виолончели … созданны… за …

…ростропович… …Ленинградской… …ступления… …совершил … по США, по… …ьковском фе…

…правда, с… …полнительская рабо… …и целым… …красно совмещалась с … …ами студентам и аспи… …ров.

ТУФЛИ ПРИЗРАКЕ

ТРАГЕ… …ОБМАНУТЫХ

ГРЕЦИ

Разочаровавшись в России, они увозили ее с собой. Утопия меняла лишь географический адрес, но сохранила все признаки своего российского происхождения.



...І ЗА МИР, НО ЕСЛИ НАМ ГРОЗЯТ...

...оветские люди отвечают:

...и сильны. Мы сможем дать отпор любому агрессору. Мы поддерживаем меро... ...яти...

... правительства, направленные на укрепление оборонной мощи Родины"



МИССИЯ МИРА

Братиславскому школьнику Андрею очень нравится шле... ...фироваться с советским воин...

Виктор МАЕВСКИЙ

Бурны... дн... Праг...



КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ ПРАГА

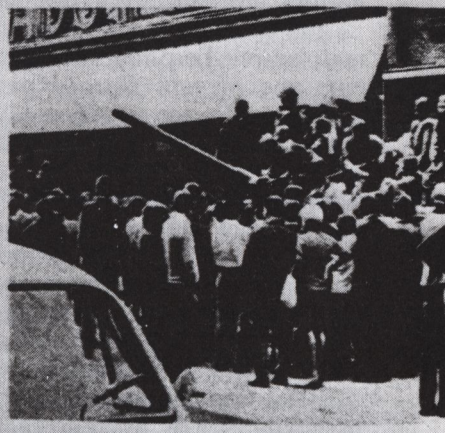
Фото автора, В. Кругликова («Правда»), В. Соболева и А. Стучкина (ТАСС).



...ьшинства.

...ста. Он ...

...набережной Влтавы.



Дискуссия у танка.

Я ...много лет не был в Пра... ...вот в начале авгу... ...беспокоила журна... ...листская судьба снова ...заняла меня в этот дре... ...ний город на Влтаве ...нового пражского аэродрома. ...ночных кварталах, по простран... ...Ленина, мы выехали в центр ...Праги. Вена мимушвше со... ...своим немецким ...архитектурой и вслу... ...шались в жизнь этого города. ...Изменилось было, как его лихора...

...За два десятилетия, минувшие ...после того, как трудящиеся Чехо... ...взяли власть в свои ру... ...замкнув круг прошлых славный путь ...больших успехов в стро... ...социализма. Конечно, ...ошибки. Конечно, ...партия трудящихся взяла ...на себя ...ответственность за ...допущенные ...ошибки, ...направленные на искажение ...ленинских принципов ...руководства ...страной. Решения ...Пленума ЦК КПЧ ...открыли ...путь ...борьбе ...против ...культа личности, ...за ...восстановление ...ленинских норм ...партийной и ...государственной ...жизни, ...за ...дальнейшее ...развитие ...чехословацкого ...общества по ...пути с ...социализмом, начали ...мутить воду.

...События последних месяцев со... ...ким я ...давать читателей, я ...вряд ли ...нужно ...подробно ...рассказывать о ...них. В Праге мне ...посчастливилось ...под ...названием «А-резюме» № 11 за ...наступающий ...год. Редакция ...поручила ...по-немецки ...узнать, что ...думают на ...Западе о ...происходящем в ...Чехословакии, и ...опубликовала ...ответ, ...полученный от ...газеты «Интернэшнл ...Геральд ...Трибюн». ...Это ...газета ...американских ...миллионеров с ...мировым ...удовольствием ...констатировала: «В ...Чехословакии ...продолжается ...очень ...сильная ...либерализация ...режима и ...атмосфера, ...наполненная ...надеждой, ...гордостью, ...спокойствием. ...Можно ...сказать, что ...атмосфера ...эта ...во многом ...напоминает ...ситуацию в ...России в ...марте 1917 г., ...или в Польше ...и Венгрии в ...октябре 1956 г. ...Тот, кто ...знает ...историю ...России, ...Польши и ...Венгрии, ...знает, ...что ...значит ...история

Двадцать первое августа одна тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года выпало на среду.

Потом даже этой случайности придавали какое-то значение: «А день, какой был день тогда? Ах да, среда...»,— пел Высоцкий о своем, но переглядывались понимающие автора слушатели.

Задним числом все, что печаталось в газетах от 21 августа 1968-го, казалось символичным.

Синоптики обещали для Москвы переменную облачность, но в западных районах СССР — ближе к границе — тучи сгущались. Вторая программа Центрального телевидения демонстрировала фильм «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Институт марксизма-ленинизма рапортовал о завершении работы над полным собранием сочинений В. И. Ленина. «Литературная газета» опубликовала отрывок из романа Н. Задорнова под названием «Конец вольницы».

И еще — в этот день советские войска оккупировали Чехословакию.

21 августа 1968 года — года, который Организация Объединенных Наций посвятила правам человека, а геофизики объявили годом активного Солнца, в Советском Союзе досрочно закончились шестидесятые и начались — никакие.

На самом-то деле 60-е еще продолжались. Еще выходил «Новый мир» Твардовского, еще подписывались письма протеста, еще предстояли демонстрации, еще никто не покидал навсегда Россию. Но все это была уже инерция разогнавшейся истории, которая неслась, как курица с отрубленной головой.

История, конечно, не мерится днями, но она немыслима без каких-то судьбоносных календарных границ. Только в отчетливых хронологических рамках, становящихся потом днями национальных праздников или днями национального позора, история оказывается доступной наблюдению в качестве отдельных эпох — от дня основания Рима до дня его падения, 4 июля, 14 июля, 7 ноября, 21 августа.

Без этой даты 60-е растворились бы в постепенном наступлении безвременья. Эпоха осталась бы без трагического финала.

Чем больше лет проходило с этого дня, тем решительней он превращался в окончательную точку 60-х. Разгром «пражской весны» стал настоящей трагедией для России, но тот факт, что кризис коммунизма наступил в один конкретный день, давал и некоторое облегчение — 21 августа лишало сомнений. История решала за человека.

Вторжение в Чехословакию давало повод окончательно размежеваться с советской властью, как тогда говорили — прозреть.

Узнав, что «войска Советского Союза и воинские части четырех стран — членов Варшавского договора перешли границы Чехословакии,— вспоминает один из главных идеологов «пражской весны» Зденек Млинарж,— я почувствовал шок, подобный пережитому во время автомобильной катастрофы... Я физически чувствовал, как кончается моя жизнь коммуниста. Все оказалось вдруг лишенным смысла... всего за несколько минут мир стал неузнаваемым» [21].

Такой же удар пережили очень многие в России. Правильность социалистического пути можно было доказывать и дальше, но акт отречения стал внутренней потребностью, эмоциональной реакцией на исторический шок.

Символическая насыщенность этого события объясняется тем, что сама «пражская весна» была символом.

Чехословацкий эксперимент ощущался, да и был на самом деле, кульминацией 60-х. «Пражская весна» развивала концепцию советских либералов. Дубчек, проще говоря, сделал то, чего ждали от Хрущева.

При этом идеи «пражской весны» целиком лежали в русле коммунизма. Пожалуй, впервые лозунги стали означать то, что они гласили [22].

В 68-м Чехословакия сделалась уникальной страной, потому что действительно — социалистической. Партия и народ в самом деле стали едиными — 75% населения безоговорочно поддерживало политику КПЧ [23]. По числу коммунистов на 1000 человек Чехословакия занимала первое место в мире [24]. Чтобы окончательно уничтожить «пражскую весну», потребовалось исключить из КПЧ 500 000 ее членов, что составляло треть партии [25].

В 68-м свобода в Чехословакии маршировала под непривычным флагом — красным. Как с удивлением писала одна австрийская газета: «Если смелый чехословацкий эксперимент доведут до благополучного конца, Западу будет брошен вызов более опасный, чем все прежние угрозы коммунизма. Западу будет противостоять дух, а не политика» [26]. И как с восторгом писал левый итальянский журнал «Джорно»: «Если все будет осуществлено, то Чехословакия станет самой свободной страной в мире» [27].

Чехословацкий коммунизм в принципе оставался тем же, чем он был прежде. Те же люди и те же идеи управляли обществом. И сам Дубчек вышел из недр того же ненавистного аппарата, что и свергнутый им Новотный, с отставки которого (21 марта) ведет свой отсчет «пражская весна».

Не успела заработать новая экономика, сконструированная Ота Шиком. Мало изменилась партийная риторика, международная политика, отношения с другими социалистическими странами. Изменилось только одно — народу была дана свобода выбирать, и он выбрал социализм. «Эти месяцы стали «часом

правды»... они продемонстрировали готовность народа принять социализм» [28].

Единственной свободой, которой успела добиться «пражская весна», была свобода слова, но и ее хватило.

Метафизическая цена слова оказалась выше любого реального действия. Коммунизм, будучи в основе своей литературной утопией, осуществлялся не в делах, а в словах. Когда слово стало свободным, произошла яркая вспышка веры и надежды. Коммунизм обзавелся человеческим лицом, когда дал лицу — личности — высказаться.

До сих пор марксизм обрекал социализм на победу в силу исторической необходимости. Но «пражская весна» уничтожила унизительную беспомощность личности перед эволюцией социально-экономических формаций. Отменив цензуру, партия, по сути, вернула человека к основополагающим духовным ценностям западной цивилизации — к свободе выбора. Не история, не абстрактные социальные законы, не классы, не массы, а личность — суверенная и уникальная — решала свою судьбу.

Об этом сказала программа КПЧ, которая вместе со всем народом стала вновь обретать человеческий язык: «Сегодня, когда стираются классовые различия, главной мерой оценки положения людей в обществе становится вклад человека в общественное развитие... Социализм... должен давать для применения личности больше, чем дает любая буржуазная демократия» [29].

Собственно, и эти слова были лишь вариантом тезиса из «Манифеста коммунистической партии», который определял социализм как «ассоциацию, в которой свободное развитие каждого является условием свободного развития всех». Но смысл «пражской весны» как раз заключался в том, чтобы наделить слова смыслом: «Путь к обновлению общественной жизни был открыт потому, что действительность вновь обрела язык» [30].

Если в 60-е в Советском Союзе понимали коммунизм в переносном смысле, то в Чехословакии его трактовали буквально.

Реабилитация слова оказалась настолько мощным оружием, что позволяла деятелям «пражской весны» гордо заявлять: «Опыт ЧССР оказал влияние на весь мир, здесь произошло возрождение человека, некий культурный ренессанс» [31].

Концепция коммунизма с человеческим лицом должна была примирить свободу личности с тоталитарной поэтической утопией. Социализм в Чехословакии не менял своей глубинной сущности, но теперь он становился продуктом свободного, осознанного, демократического выбора. Что касается партии, то, как говорил Дубчек, «коммунисты будут... сохранять свое руководящее положение в такой степени, в какой они сумеют его добиться и удержать» [32].

История не позволила Дубчеку проверить — сумеет ли партия стать тем, чем он хотел ее видеть. Проблемы КПЧ стали уже «пражской весны», которая, «начавшись с попытки провести политическую реформу, переросла во всенародное демократическое движение... стала делом надполитическим, делом нравственности и человечности» [33].

Оторванная от реальности страна жила в эйфории духовной революции, принявшей обличие коммунистической. «Пражская весна» возродила подлинный культ личности.

Ирония истории, которая так часто меняла смысл слов по Орвеллу, иногда работает и в другую сторону. Если сочетание «культ личности», став сакральной формулой хрущевской партийной риторики, превратилось в устойчивый эвфемизм для обозначения рабства, то чехословацкая революция, призванная вернуть первичное содержание извращенным понятиям, реабилитировала и эти зловещие слова.

Для этого оказалось достаточным распространить понятие личности с конкретного Сталина на абстрактную индивидуальность, с одного на всех, заменить единственное число — множественным, личность на личности.

С точки зрения русской грамматики, разницы никакой. С точки зрения политики, разница стоила всему коммунистическому миру очень дорого.

В 68-м в Чехословакии народ шумно и весело отмечал победу поэзии над прозой, недолгий симбиоз мечты с действительностью.

«Новые надежды создали в стране праздничную обстановку — во имя лучшего завтра, которое, собственно, уже наступило, народ был готов великодушно простить власти старые кривды» [34].

На самом деле «завтра» пришло на советских танках. И, может быть, в этом «пражской весне» повезло. События разворачивались именно так, чтобы трагический финал превратил «пражскую весну» в героический пример противостояния свободной личности тупой, нерасчлененной на индивидуумы массе. Коммунизм с человеческим лицом раздавили танки, у которых лица нет вовсе.

Интервенция придала социальному эксперименту новое качество. Он стал как бы законченным произведением искусства, шедевром, который в большей степени относится к культуре, чем к истории.

«Счастливый союз культуры, творчества и жизни породил «небывалую красоту центрально-европейских восстаний» [35],— писал Милан Кундера, рассматривая оккупацию своей родины в эстетических терминах.

Такая точка зрения оказалась возможной потому, что вторжение советских войск перенесло конфликт в Чехословакии из сферы политики в сферу культуры. 21 августа проблемы и Дубчека, и КПЧ, и социальных реформ уступили место фундаментальному конфликту — между цивилизацией и варварством.

До этого дня в Чехословакии, как и в СССР, решался вопрос о возможности построения коммунизма. Но после этого дня единственной проблемой стала возможность выживания цивилизации, культуры, свободной личности — в противостоянии тоталитаризму.

Чехословакия, как во времена монголо-татар, стала ощущаться последней опорой Запада перед натиском Востока. Истинная кульминация «пражской весны» началась тогда, когда весна кончилась — в день вторжения.

Принимая решение об интервенции, советское правительство руководствовалось имперскими соображениями, которые сводились к брежневской формуле — «что наше, то наше», «наши солдаты дошли до Эльбы; а потому сейчас там наша, советская граница»[36].

Право Советского Союза на оккупацию Чехословакии основывалось на пролитой в войну крови. Как объясняли советские газеты читателям, 150 000 русских солдат лежат в земле Чехословакии. Границы России выложены из их скелетов. Их смерть купила право на агрессию.

Этот аргумент не имел ничего общего с идеологической полемикой, потому что не претендовал на справедливость. «Чешский вопрос» решили танки, потому что идеи оказались бессильны.

Интервенция для России стала грандиозным историческим поражением. Возвращаясь к имперскому языку внеидеологической силы, Советский Союз терял свое вожделенное место в западной цивилизации. Поход на Запад отбрасывал Россию на Восток.

По сути, брежневская доктрина защищала границы советских завоеваний в Европе. («Мы не вмешиваемся в семейный спор коммунистов»[37], — сказал сенатор Джеральд Форд). Но на самом деле решался традиционный вопрос русского сознания о границах между Европой и Азией. Рушились все надежды шестидесятников на мирное объединение, на конвергенцию, на государство без границ — Россия опять оказывалась за ойкуменой цивилизации.

Советских оккупантов встречали не ревизионисты и контрреволюционеры, как обещала «Правда». Их не ждали ожесточенные сражения, которые могли бы растворить горечь конфликта в пролитой крови. Чехословакия отказалась говорить

на имперском языке, не выдвинув кровожадного, но понятного лозунга — «Родина или смерть». Единственным оружием оккупированного народа стала культура. На улицах Праги разыгрывалось сражение, в котором западная цивилизация защищалась своими средствами — утонченным языком литературы, искусства, философии.

Реакция Чехословакии на оккупацию поражает своей стихийной символической продуманностью. Обе стороны, казалось, послушно следовали специально продуманному сценарию.

Советские солдаты, заняв Карлов университет, пускают на растопку старинные фолианты. Танки обстреливают здание Национального музея[38]. Радиостанция оккупантов «Влтава» говорит по-чешски с ошибками[39]. Во время ареста члены ЦК КПЧ читают историю Древней Греции[40].

Вступив на землю Европы, русские оказываются на чужой территории — и, чтобы у них не оставалось в этом сомнений, пражане устраивают особую антидемонстрацию. В полдень улицы Праги полностью опустели. Оккупанты остались одни в городе, безмолвие которого нарушали только бессмысленные выстрелы — стрелять было не в кого[41]. Так Прага цитировала сюрреалистическое кино Бергмана, чья «Земляничная поляна» уже успела восхитить советских интеллектуалов.

«Пражская весна» вообще сопротивлялась насилию тонко, остроумно, не впадая в мелодраматизм, которого, казалось, требовала ситуация.

Директор пражского ресторана «Москва» поменял в вывеске две буквы, и ресторан стал называться «Морава». Случайно обвалившийся мост немедленно назвали «Мостом советско-чехословацкой дружбы». Бронзовому Яну Гусу милосердно надели повязку на глаза. Группа уголовников из Остравы прислала в газету письмо с обещанием воздержаться от преступлений, чтобы не отвлекать милицию в трудную минуту[42].

Но главное — «пражская весна» продолжала говорить. Именно в дни оккупации свобода слова пережила апофеоз. Работало подпольное радио и телевидение. Выходили газеты и журналы, причем, торопясь насладиться последней вспышкой свободы, еженедельники и ежемесячники превращались в ежедневные издания[43].

Но когда не хватало и прессы, в ход шли граффити: «Русский цирк в городе. Зверей не кормить!», «Пролетарии всех стран, соединяйтесь — а не то мы убьем вас», «Чем больше танк, тем меньше мозг», «Какое государство самое нейтральное в мире? Чехословакия. Она не вмешивается даже в свои собственные

дела», «Если у нас такие братья, то лучше бы мать-Россия сделала аборт», «Слон не может растоптать иголку»[44].

Русских встретила в Праге не столько ненависть, сколько ирония, сарказм, презрение. В конце концов, они пришли в страну, давшую миру Швейка. В августе 68-го не Муций Сцевола, не Жанна Д'Арк, не Александр Матросов, а бравый солдат Йозеф Швейк служил нации примером[45].

Вот что писали тогда об исторической роли Швейка: «У чехов всегда был выбор только между большим и меньшим злом. Этому народу не свойствен мессианский комплекс: гоняться за танками с метлой — не соответствует нашему представлению о героизме. Так что не случайно именно у нас родился Швейк»[46].

Кстати, после самосожжения Яна Палаха чехи, отдав должное подвигу, с горечью заметили: «Прощай, Йозеф Швейк»[47]. Героическая смерть Палаха превращала трагикомедию просто в трагедию. Тем не менее и Палах умер не за родину, а за свободу. В предсмертном письме он требовал отмены цензуры.

«Пражская весна» не могла победить[48]. Но погибая, она погребла под своими руинами надежды 60-х. Для России это была Пиррова победа: за доктрину Брежнева она расплатилась своей интеллигенцией, годами апатии и застоя.

Как бы тяжело ни обстояли дела в Советском Союзе к концу 60-х, российская интеллигенция оставалась патриотической. Она, как всегда, присягала на верность народу.

Но урок Праги заставил усомниться в самой сущности этой присяги. Если в Чехословакии интервенция объединила интеллигенцию и народ, то в Советском Союзе — разъединила их.

Вторжение в Чехословакию прекращало бурную полемику 60-х тем, что упрощало позиции спорящих сторон. Общественно-политические дискуссии завершились войной, а значит и аргументы оценивались по законам военного времени. Что с того, что танкам не по кому было стрелять, что единственным врагом советской армии оказался неуловимый противник — западная культура? Само обращение к языку грубой силы подразумевало введение и во внутриполитическую ситуацию военной терминологии: поскольку война уже идет, преступно спорить — справедлива ли она. Нужно защищать отечество.

И действительно, карательная акция против «пражской весны» с готовностью рассматривалась как продолжение другой войны — Великой Отечественной. Вот когда сказались бесконечные салюты в дни Победы.

Раз есть война, есть и враги. На передовой воюют, а не дискутируют. А все, кто сомневается в этой батальной логике,— предатели. Для них — трибунал народного гнева.

Когда рижский студент Илья Рипс поджег себя в знак протеста против оккупации Чехословакии, пламя погасили прохожие. Но только подоспевшая милиция спасла Рипса от самосуда толпы[49].

Прага поставила советскую интеллигенцию перед тяжелым выбором: родина или совесть. Ведь армия делится на дивизии и полки, а не на плохих и хороших. В глазах всего мира советские танки представляли советский народ, и ничего с этим сделать было нельзя.

До вторжения интеллигенция полемизировала с правительством. После вторжения ее аргументы были бессмысленными. Как писал по этому поводу поэт В. Фирсов: «Иди за нами. Дело наше превыше всякой правоты»[50].

«Пражской весне» повезло: она не родила своих палачей, а пала жертвой иноземного варварства. Но что делать советской интеллигенции, которая была частью этого варварства и которая видела в «пражской весне» осуществление своих надежд?

Единственным выходом представлялся отказ от соучастия. 25 августа 1968 года на Красную площадь вышли семь человек, чтобы, как писала участница демонстрации Н. Горбаневская, «показать, что не все граждане страны согласны с насилием, которое творится от имени народа»[51].

Впоследствии говорили, что «семеро демонстрантов, безусловно, спасли честь советского народа»[52]. Однако существенно, что участники демонстрации, в отличие от оккупационной армии, выступали не от лица народа, а только от своего собственного имени. На суде Л. Богораз сказала: «Для меня это не вопрос пользы, а вопрос моей личной ответственности»[53].

Участники акции, которую с некоторой долей иронии назвали «самосожжением», спасли свою честь, а не честь народа. И в этом сказался урок «пражской весны», провозгласившей культ личности, свободной от соображений исторической правоты.

Интервенция изменила ситуацию в Советском Союзе тем, что требовала от каждого немедленного выбора между личностью и коллективом. Конфронтация «мы» и «я» не оставляла больше возможности компромисса. Родина стала откровенно преступной, и не признать этого означало разделить ответственность за преступление.

Демонстрация на Красной площади дала мучеников идеи личной ответственности, но не решила проблемы, как жить дальше.

Еще в марте 68-го, за четыре месяца до вторжения, вера в возможность общего дела, исправляющего «плохих» и улучшающего «хороших», была прокламирована одним из самых

последовательных шестидесятников — Василием Аксеновым. Его «Затоваренная бочкотара» — умный и тонкий гимн 60-м. В этой повести последний раз выразился оптимистический пафос эпохи.

«Бочкотара» во многом перекликалась с «пражской весной». Аксенов, как Дубчек, хотел заставить работать лозунги, вернуть банальному штампу первоначальное содержание. Все персонажи его повести говорят цитатами из передовиц. Но ведь и документы КПЧ используют знакомые партийные формулы. Дело в другом. Герои Аксенова нашли применение красивым, но бессмысленным словам потому, что их — таких разных — сплотило мощное чувство причастности к благородному делу.

В Праге оно называлось коммунизмом с человеческим лицом, у Аксенова — перевозкой затоваренной бочкотары. Но сокрушительная авторская ирония не должна затмевать внутренней сущности этой повести — веры и надежды.

Человек — добр. И если ему не мешать, если ему объяснить, он свободно и осознанно выберет путь к добру, путь, указанный тем «Хорошим Человеком» с «циркулем и рейсшиной» [54], который в разных обличиях является в сновидениях героям «Бочкотары».

«Хорошего Человека» раздавили танки на улицах Праги. И если чехи могли искать утешение в том, что танки были чужими, то Аксенов, вместе со всеми шестидесятниками, не мог не знать, что среди танкистов есть и читатели его повести.

После 21-августа «Бочкотара» с ее просветительским идеалом рассыпалась на глазах. Коллектив предал личность, заменив коллективную ответственность на индивидуальную. Потеряв мечту об идеале, человек остался в экзистенциальном одиночестве. Ему, и только ему, предстояло решать, что есть добро и зло. Свобода выбора — это бремя ответственности.

Когда-то Джойс писал: «Мне говорят «умри за Ирландию». А я говорю: «Пусть Ирландия умрет за меня».

Осознать преступность своей родины, чтобы возвыситься над ней, взвалить на весы совести правду одного против лжи всех — это было страшным испытанием для советской интеллигенции. Испытанием, которое одних шестидесятников привело в тюрьму, других — в эмиграцию, третьих — к молчанию, четвертых — конечно, самых многочисленных — к привычному компромиссу двоемыслия.

Но идеал, раздавленный советскими танками в Праге, вызывает болезненную ностальгию по тому человеческому лицу, которое — единственное — могло оправдать веру молодости.

Вторжение советских войск должно было уничтожить коммунистическую утопию. Вернувшись к имперскому мироощущению, Россия предала собственные идеалы. Об этом чехам с простодушным цинизмом сказал сам Брежнев: «Вы рассчитываете на коммунистическое движение Западной Европы, но оно уже пятьдесят лет никого не волнует» [55]. Лозунги про «мировую революцию», «пролетариев всех стран» и «нынешнее поколение» забыли за ненадобностью.

Однако насилие над Чехословакией было учинено не идеологией. Танки послало государство, превратившее утопическую идеологию в имперскую практику.

Но в Праге именно благодаря танкам коммунизм получил еще один шанс — сохранить человеческое лицо, а с ним и надежду на возрождение.

8 сентября 1968 года Фридрих Дюрренматт произнес характерную для той эпохи речь, в которой подвел исторический итог чехословацкой трагедии: «Коммунист — это почетное имя, а не бранная кличка, и пражские коммунисты доказали это... Люди, которые раньше кричали: «Лучше мертвым, чем красным», кричат сейчас: «Дубчек! Свобода!». В Чехословакии человеческая свобода в ее борьбе за справедливый мир проиграла битву. Битву, но не войну...» [56]

Танки в Праге не поколебали уверенность Дюрренматта в том, что «коммунизм — это предложение разумного устройства мира, предложение изменить мир на разумной основе» [57]. И противоречия между реальностью и идеалом его не смущали.

Сопротивление советской оккупации парадоксальным образом отождествляло коммунизм с культурой. Милан Кундера вспоминает об августе 68-го: «Лицом к лицу с вечностью русской ночи я пережил в Праге насильственный конец западной культуры именно так, как это представляли на заре современной эпохи, опирающейся на индивидуум и его разум, на плюрализм мышления и на терпимость. В маленькой стране я испытал конец Запада» [58].

Если разгром «пражской весны» означает уничтожение Запада, то получается, что истинный Запад, как «счастливый союз культуры, творчества и жизни», как родина «мыслящего и сомневающегося «я» и характеризующегося культурным творчеством как выражением единого и неповторимого «я» [59],— и есть чехословацкий коммунизм с человеческим лицом. Получается, что между тоталитарным имперским Востоком и предавшим ради комфорта собственную культуру Западом, оставалась одна «пражская весна» с ее культом личности и верой в возможность «разумного устройства мира».

В этом логическом построении отразилось противопоставление культуры и бытия, искусственной культуры и естественной аморфности, абстрактной идеи и реальной жизни.

РУИНЫ УТОПИИ

Чехословацкий эксперимент был очередной попыткой воплотить идеальную концепцию в живое бытие. Но «пражская весна» погибла не под грузом внутренних противоречий — их она просто не успела накопить,— а в результате вмешательства грубой, идеологической силы.

Утопия не исчезла, а просто опять переместилась в сферу идей, гипотез, теорий — в будущее.

ЗАЯВЛЕНИЕ

ТАСС

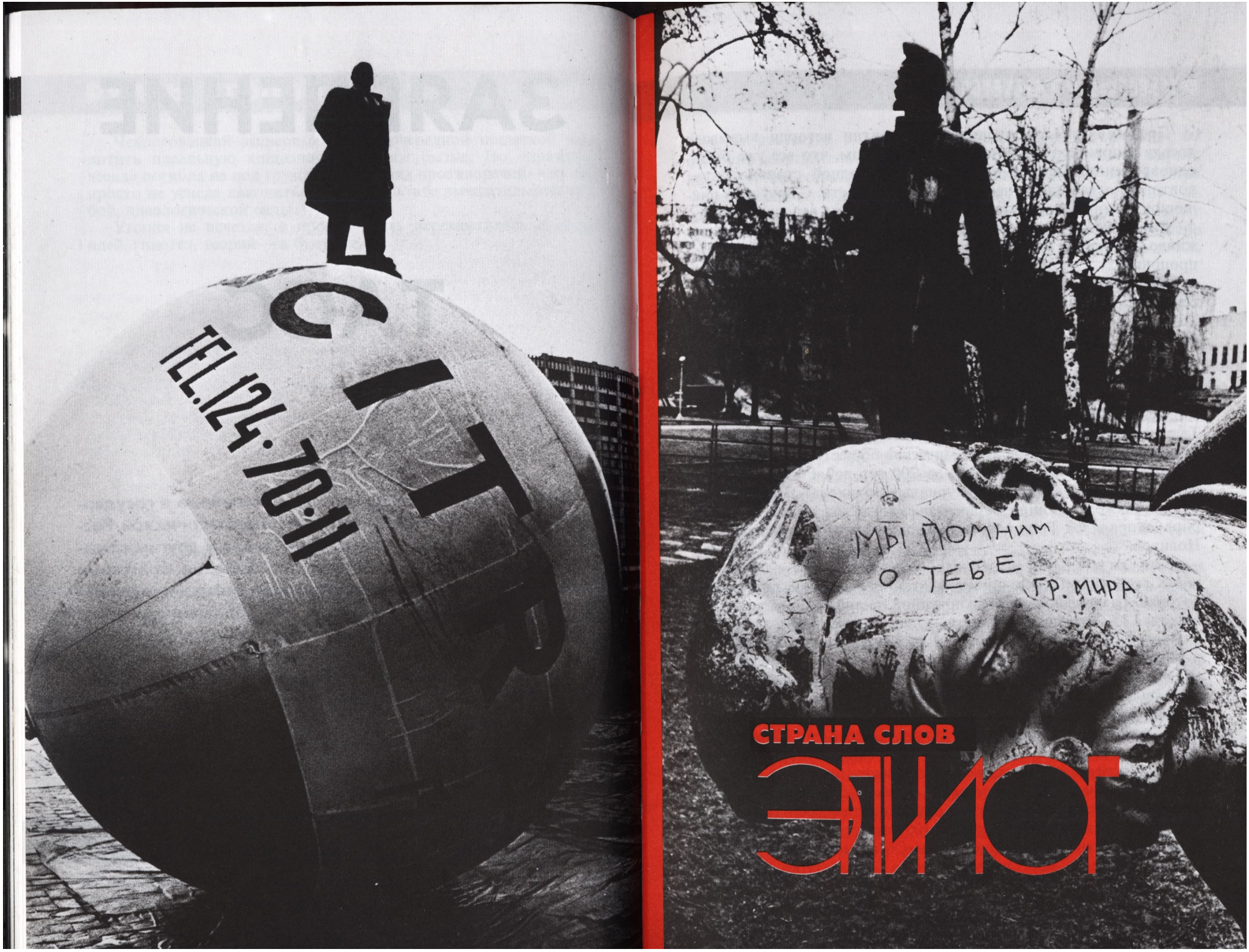
ТАСС уполномочен заявить, что партийные и государственные деятели Чехословацкой Социалистической Республики обратились к Советскому Союзу и другим союзным государствам с просьбой об оказании братскому чехословацкому народу неотложной помощи, включая помощь вооруженными силами. Это обращение вызвано угрозой, которая возникла существующему в Чехословакии социалистическому строю и установленной конституцией государственности со стороны контрреволюционных сил, вступивших в сговор с враждебными социализму внешними силами.

События в Чехословакии и вокруг нее были неоднократно предметом обмена мнениями руководителей бра[illegible]ических стран, включая руководите[illegible] страны едины в том, что под[illegible] [illegible] общим [illegible] [illegible]гом всех социалистических государств. Эта их общая позиция была торжественно провозглашена и в Братиславском заявлении.

Дальнейшее обострение обстановки в Чехословакии

ПРАГА ИЛИ I

21 августа 1968 года закончились 60-е.



СТРАНА СЛОВ

ЭПИОГ

Представление о циклическом развитии истории вызывает досаду и приносит облегчение. Мысль о том, что все уже было, одновременно унижает и возвышает. С одной стороны, идея повторяемости лишает настоящее уникальности. С другой — цикличность напоминает о причастности к вечным основам бытия.

Даже беглый взгляд на развитие российского общества услужливо предлагает аналогии — 60-е прошлого века, 60-е века позапрошлого...

«Особенно восхищало то, что... уже не водили к пытке и не ссылали в Сибирь за каждое нескромное слово»[60]. О каких 60-х это сказано? Похоже о любых. Из 60-х XIX столетия Добролюбов писал о 60-х XVIII, но мог иметь в виду и 60-е XX.

Либеральные реформы Екатерины воодушевляли общественность не меньше хрущевских перемен, вызывая благодарный восторг творческой интеллигенции: «И знать, и мыслить позволяешь. И о себе не запрещаешь. Быль и небыль говорить»[61]. Та оттепель тоже шла широким фронтом, рационализируя сельское хозяйство (Вольное экономическое общество) и выдумывая жанр сатирических объявлений за 200 лет до «Рогов и копыт» из «Литературной газеты» (журналы Новикова). И после оттепели также наступило безвременье, когда на десять лет в Сибирь отправился Радищев, и в Шлиссельбургскую крепость — Новиков.

Еще разительнее параллели соседних веков — 60-е XIX и XX столетий. Герцен пишет о «той письменной литературе, которая развилась с необыкновенной силой ... после смерти Николая I. Это первые опыты... после тридцатилетнего молчания»[62]. Здесь достаточно заменить одно имя собственное — и можно переносить свидетельство на сто лет вперед. «Современник» Некрасова — «Новый мир» Твардовского. Славянофильский «День» — русофильская «Молодая гвардия». Расцвет юмористики со «Свистком» и Козьмой Прутковым — юмор как доминанта стиля с клубом «Двенадцать стульев» и Евгением Сазоновым. В «Новом мире» господствовала эстетика Чернышевского («Прекрасное — есть жизнь»), и основной задачей искусства в 60-е XIX и 60-е XX признавалось служение обществу. Для усиления хронологической мистики: с разницей ровно в 100 лет появились две программные статьи — Чернышевского «Об искренности в критике» и Померанцева «Об искренности в литературе». Главным

врагом искусства и там и тут объявлялись риторика и лакировка действительности. Общество обоих периодов возлагало надежды на естественные науки в применении к социальным проблемам, и сеченовские «Рефлексы головного мозга» читались, как детектив, как через столетие публикации о генетике и кибернетике. Распространение народничества и торжество деревенской прозы ознаменовали следующие этапы — 70-е XIX и XX веков.

Раскачивание маятника общественного развития — от оживления к застою, от прогресса к реакции, от свободы к тирании — происходит, разумеется, не только по вековой амплитуде. Внутри этих грандиозных размахов множатся и дробятся более мелкие, более частые колебания.

Опора на аналогии в прошлом нужна для того, чтобы всматриваться в будущее. Всматриваться в будущее означает не столько его предвидеть, сколько — с достоинством и готовностью встречать. То, что началось в Советском Союзе в середине 80-х, ошеломило мир. Но ведь ровно за 30 лет до горбачевского XXVII съезда начался хрущевский XX. Дальнейших совпадений столько, что один перечень их составил бы краткий курс истории. И чем их больше — в виде прямых заимствований или столь же прямых опровержений — тем яснее, как много тенденций и идей возникло и начало развитие в 60-е.

Дело даже не в самих идеях, а в их носителях, кажущихся с временной дистанции юными и незрелыми. Множество ярких и массовых движений 60-х — вроде покорения космоса и Сибири, революционно-гитарной романтики, беззаветной веры в чудотворность науки — были мифами. Или, снижая жанр,— заблуждениями. Но они возникли и существовали, и важно понять — кто породил их. «Юность чиста уже потому, что она — юность. Может быть, в этих, столь ранних порывах безумия заключается именно эта жажда порядка и это искание истины, и кто же виноват, что некоторые современные молодые люди видят эту истину и этот порядок в таких глупеньких и смешных вещах, что не понимаешь даже, как могли они им поверить!».[63]

Поверить в любые «глупенькие» вещи можно, если вера и знание слиты воедино. На уровне личности это — одержимость, иллюзия, идея фикс. На уровне общества — миф.

Мифотворчество как идеологическое самообслуживание общества.

Этим общечеловеческим талантом советский человек наделен в особой степени. Первой причиной тому — специфический характер русской культуры, отождествляющей себя с искусством. Культура социальная и материальная выводилась за скобки, внутри которых привольно и ущербно развивалась культура духовная. Отсутствие парламента и унитаза не унижало человека, знакомого с Достоевским и Бердяевым. Среди искусств во все времена господствовала литература. Литературоцентристская русская культура дала миру не только мастеров слова — от Пушкина до Бродского, не только учителей жизни — от Толстого до Солженицына, не только шедевры словесности — от «Героя нашего времени» до «Москва-Петушки», но и уникального читателя всего этого грандиозного потока слов, составляющего жизнь.

Советская власть, упразднив частную собственность и гражданское поприще — уже не силой традиции, а просто силой,— по сути декретировала слово как единственный способ существования.

Исключительность 60-х как раз в том, что слово было произнесено вслух. И произнес его человек, отличающийся от других людей, населявших и населяющих планету.

До 60-х говорить ему не давали: он должен был расти и становиться тем, кем стал, попутно ведя борьбу с многообразными врагами: контрреволюцией, разрухой, крестьянством, интеллигенцией, фашистами, космополитами, империалистами. Кроме того, за него и от его имени долго говорило одно конкретное лицо — в основном, по радио. Но с этого лица сорвали маску «выразителя чаяний и надежд», чаяния вырвались наружу. Советский человек заговорил сам.

Оказалось, что говорит он охотно, горячо и на разные темы. 60-е поражали многоголосьем, и нужно было молчание 70-х и новое оживление 80-х, чтобы с расстояния четверти века расслышать единую тональность в этом хоре. При явном разнобое голосов отчетливо ощущается, что все они принадлежат в конечном счете одному человеку — советскому.

Этот человек выражает себя в слове, искренне и убежденно, верит в слово, любит слово, ненавидит слово, для него нет ничего дороже разговора и ничего святее текста.

Можно исповедовать разные веры, можно восхищаться Маяковским и Фетом, изучать Герцена или Чаадаева, зачитываться

Распутиным или Аксеновым, но антиподы сходятся на одном и том же поле — белом поле страницы.

Когда мы рассуждаем о великом противостоянии Обломова и Штольца, которые будто бы олицетворяют Восток и Запад в российской судьбе, мы часто забываем, что все-таки главное — не то, что один ничего не делает, а другой делает много: главное — что оба они об этом говорят. Говорят долго и исступленно — и только в этих жарких молитвах разным богам существуют для нас и Обломов, и Штольц.

Ранние 60-е были, конечно, Штольцем — энергичным, легким, уверенным. Поздние задумались о чудесной обломовской рефлексии, подметив в ней несуетность и склонность к идеализму. Однако это противоречие не имеет ничего общего с антитезой «дело — слово». Не столько социальные законы сменились, сколько культурные коды: космос — природа, коллектив — народ, будущее — прошлое, дорога — дом, правда — истина...

Еще до революции будущая власть обозначила свою главную силу в традиционно российском виде оружия — языке. Андрей Синявский тонко отмечает ключевые слова: «большевик» («...Это значит: больше. А «больше» — это всегда хорошо. Чем больше — тем лучше»). «Советская власть» («Слово-то больно хорошее и со смыслом: «совет» — «свет» — «светлый» — «свой» — «свойский» — «свояк» — «советский». То есть — наш, то есть — добрый») [64]. Этим пропагандистски гениальным неологизмам принадлежит заслуга в завоевании страны — во всяком случае, куда больше, чем шашке Буденного. Виктор Шкловский оставил замечательное свидетельство этой силы: «Рассказывали, что англичане уже высадили в Баку стада обезьян, обученных всем правилам военного строя. Рассказывали, что этих обезьян нельзя распропагандировать, что идут они в атаки без страха, что они победят большевиков» [65]. Миф, возникший уже в самом начале советской власти — ее непобедимость, сокрушить которую может лишь нечто, не использующее членораздельной речи. (Музыка?)

Напрямую из культа слова вытекают те следствия, которые делают советского человека исключительным событием XX века. Прежде всего — это установки на коллективизм и превосходство духовного над материальным.

Работать, делать дело — возможно и в одиночку, но для слова

обязателен слушатель, читатель, собеседник. То есть коллектив единомышленников (или противников, что одно и то же, только с обратным знаком).

Под бесконечными языковыми наслоениями затерялся изначальный смысл простых понятий, и для советского человека никогда радиоприемник не был изделием электронной промышленности, а куртка — промышленности текстильной. Все это были символы, имевшие словесное выражение с непременной оценочной характеристикой. Что передает радио — «Маяк» или «Голос Америки»? Что на куртке — комсомольский значок или заморская обезьяна (может быть, та самая, из Шкловского)? «За» или «против»?

Собственно, и само качество человека определялось словом. В советском обществе выросли невиданные специалисты языковой стихии — словесные профессионалы без профессии. Процветали высокие жанры трепа, застолья, беседы по душам, художественно осложненные разговорным российским пьянством. На этой богатой почве возрос выдающийся советский анекдот.

В 60-е поэты были вождями, а вождь — поэтом. Тогда специфика советского человека выразилась самым полным, самым ярким образом.

По сути дела, все явления 60-х связаны с событиями — успехом или неудачей — в сфере слова. Пока Программа КПСС трактовалась как литературное произведение, она служила козырем в попытках социальных преобразований — но с исчезновением поэтической атмосферы проступила ее нелепая буквальность. Кубинская метафора так и не вышла из сферы тропов. Хемингуэевский подтекст смоделировал этикет поведения — но, рекомендуя «как жить», умалчивал «зачем». Коллективный юмор трансформировался в индивидуальную иронию. Диссидентство оказалось в кризисе, заговорив с властью на одном языке — но, вместе с журнальной полемикой, сформулировало общественное мнение. Не предназначенное к пониманию слово богемы вывело ее за пределы главных сражений времени и тем позволило уцелеть. Стилевые поиски Солженицына и тексты писателей-деревенщиков наметили духовное развитие общества после разгрома 68-го.

Когда практические люди Запада (или просто западной ориентации) говорят, что Советский Союз — страна слов, а не дела,

мы сталкиваемся с типичной классификационной ошибкой. Так же неверно упрекать слона в том, что он такой большой, а не летает. В советском обществе слово — и есть дело.

Российские близнецы Обломов и Штольц — не антагонисты, а разные инструменты одного оркестра, в котором кларнет не хуже и не лучше альта, и оба предназначены для услаждения слуха, а не для забивания гвоздей.

80-е обозначили отличие от 60-х повышенной реалистичностью, трезвостью, практицизмом.

Однако призыв к «светлому будущему» и «искренности» ничуть не хуже лозунга о «гласности» и «перестройке». Важно другое: степень слышимости идеологического слова. В конце 60-х оно стало неразличимым, превратившись в рокот — вроде отдаленной канонады салюта. Перестали функционировать плодотворные идеи — которые в советском обществе представляют собой не импульсы к действию, а внятные словесные формулы. В таком контексте застой означает умолчание, стагнация — безмолвие.

80-е снова заговорили. Слова оказались иногда теми же, что в 60-е, иногда — иными. Но главное — они были. И в них — жизнь.

Вопрос о том, каким путем пойдет советское общество дальше — выходит за рамки авторской компетенции и этой книги.

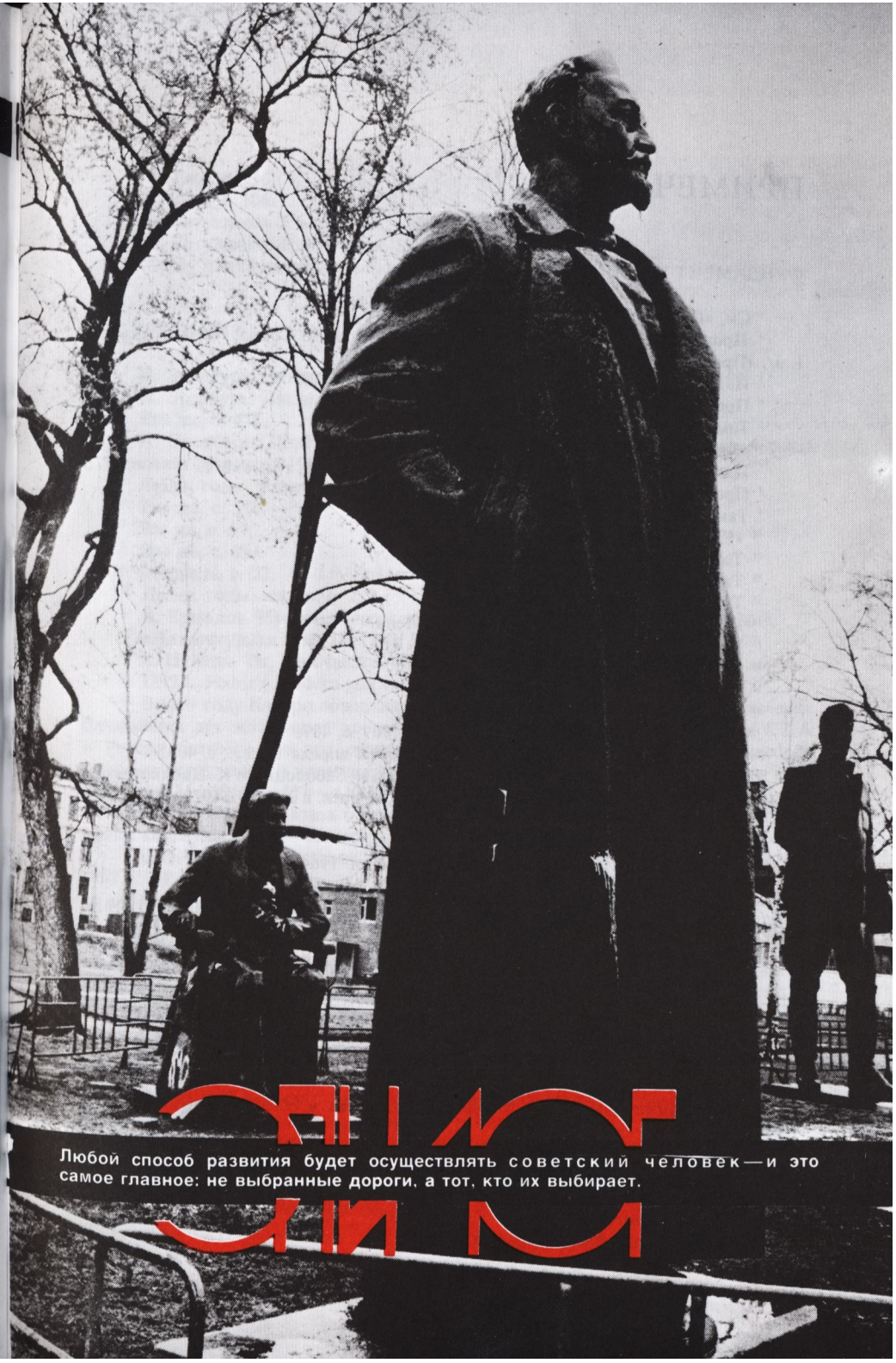
Но любой способ развития будет осуществлять советский человек — и это самое главное: не выбранные дороги, а тот, кто их выбирает.

Феномен советского человека необходимо всегда держать «в уме», как в арифметике. Подобно любому явлению, адекватно советский человек может быть описан только в рамках его системы.

В 60-е годы советский человек и его образ жизни проявились наиболее полно и внятно, показав все, на что способны. Советский человек произнес множество слов — заложив идейное многообразие будущего развития.

Мифотворчество 60-х может выглядеть наивностью подростка, торопливо тасующего перспективы и идеалы. Но такие порывы, заблуждения, поиски — складываются в процессе роста, и никому не дано прожить зрелость прежде юности. Потому авторы тешат себя надеждой, что их выкладки и наблюдения не окажутся бесполезны.

«...Понадобятся подобные „Записки“... и дадут материал — были бы искренни, несмотря даже на всю их хаотичность и случайность... Уцелеют, по крайней мере, хоть некоторые верные черты, чтоб гадать по ним, что могло таиться в душе иного подростка тогдашнего смутного времени» [66].



ПРИМЕЧАНИЯ

ФУНДАМЕНТ УТОПИИ

[1] См. «Правда, 30 июля 1961 г.
[2] Программа Коммунистической партии Советского Союза, Часть вторая, V, I, в/. «Правда», 30 июля 1961 г.
[3] И. Ефремов. Туманность Андромеды. М., 1984, с. 5.
[4] Программа КПСС, Введение.
[5] Там же, Часть вторая, VII.
[6] «Крокодил», 1961, № 24.
[7] Цит. по: В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 1, с. 271.
[8] Программа КПСС, Часть вторая, II, д/.
[9] Там же, Часть вторая, V, I, в/.
[10] «Юность», 1961. № 9.
[11] Там же. Автор — Э. Иодковский.
[12] Там же. Автор — Евг. Наврот.
[13] Там же. Автор — Вяч. Молодяков.
[14] «Крокодил», 1961, № 25. Автор — Л. Ленч.
[15] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 22, с. 117.
[16] М. Ребров. Космонавты. М., 1977, с. 9.
[17] Там же, с. 43.
[18] Там же, с. 23.
[19] Е. Евтушенко. Идут белые снеги... М., 1969, с. 409.
[20] Цит. по: The New York Times Book Review, 7 апреля 1985 г., с. 409.
[21] В. Хлебников. Я и Россия. Цит. по письму Н. Заболоцкого К. Циолковскому от 18 января 1932 г. В кн. Н. Заболоцкий. Избр. произв. в 2 тт. М., 1972, т. 2, с. 237.
[22] Е. Евтушенко. Идут белые снеги..., с. 124.
[23] Там же, с. 90.
[24] Е. Евтушенко. Наследники Сталина. Лондон. 1964, с. 94.
[25] Е. Евтушенко. Собрание сочинений в 3 тт. М., 1983, т. 1, с. 284.
[26] Цит. по ст.: Л. Аннинский. Заметки о молодой поэзии. «Знамя», 1961, № 9.
[27] Е. Евтушенко. Идут белые снеги... с. 236.
[28] Е. Евтушенко. Наследники Сталина, с. 106.
[29] «Правда», 21 октября 1962 г.
[30] «Юность», 1963, № 9, с. 57.
[31] Е. Евтушенко. Нежность. М., 1962, с. 48.
[32] «Литературная газета», 19 сентября 1961 г.
[33] «Литература и жизнь», 23 сентября 1961 г.
[34] Цитируем по памяти.
[35] Эпиграмма напечатана в журнале «Юность» в 60-е годы. Цитируем по памяти.
[36] Е. Евтушенко. Автобиография. London, 1963, с. 40.
[37] Античные риторики. М., 1978, с. 17—18.
[38] Е. Евтушенко. Идут белые снеги... с. 209.
[39] Античные риторики, с. 149.
[40] Е. Евтушенко. Автобиография, с. 11.
[41] Там же, с. 136.
[42] Там же, с. 106.
[43] Е. Евтушенко. Яблоко. М., 1960, с. 47.
[44] Е. Евтушенко. Взмах руки. М., 1962, с. 231.
[45] БСЭ, Третье издание, т. 9, с. 30.

ИНТЕРВЕНЦИЯ

[1] И. Эренбург. Оттепель. Собр. соч. в 9 тт., М., 1962—67, т. 6, сс. 59, 11.
[2] И. Эренбург. Люди, годы, жизнь. Собр. соч. в 9 тт., т. 8, с. 112.
[3] Там же, с. 478.
[4] И. Эренбург. Долг памяти (выступление по московскому радио в связи с 70-летием 26 января 1961). Цит. по: «Мосты», 1966, № 12.
[5] Люди, годы, жизнь, с. 174.
[6] Там же, с. 528.
[7] Там же, с. 89.
[8] Там же, с. 351.
[9] Оттепель, с. 52.
[10] Люди, годы, жизнь, с. 228.
[11] В. Ермилов. Необходимость спора. «Литературная газета», 1963, № 3.
[12] «Литературная газета», 1963, № 5.
[13] А. Нуйкин. Ты, я и счастье. «Сибирские огни», 1963, № 1, с. 112.
[14] USSR. Fodor's modern guides, Inc. New York, 1984, p. 56.
[15] В 1959 году Кастро объединял в отрицании обе сверхдержавы: «...В течение ближайших лет жизненный уровень кубинцев превысит уровень жизни в США и России, потому что эти страны значительную часть своих экономических ресурсов вкладывают в производство вооружения».— Фидель Кастро. Речи и выступления. М., 1960, с. 111—112.
[16] «А что можно сказать о тех, кто в провокационных целях приклеивает нам ярлык коммунистов?» — Там же, с. 146.
[17] Цит. по: В. Рабинович. С гиппанцами в Новый Йорк и Гавану. М., 1967, с. 31.
[18] Кастро, с. 113. (Речь от 17 февраля 1959 г.).
[19] М. Шатров. Большевики. В кн.: М. Шатров. 18-й год. Пьесы. М., 1974, сс. 164, 162, 165.
[20] Эммануил Райс. Максимилиан Волошин и его время. В кн.: Максимилиан Волошин. Стихотворения и поэмы в 2 тт. Париж, 1982, т. I, с. LXXXIV. Вступительная статья Э. Райса датирована 1965 годом.
[21] Джон Рид. Десять дней, которые потрясли мир. М., 1968, с. 315—316.
[23] «...Безайс взялся как-то читать «Преступление и наказание» Достоевского. Дочитав до конца, он удивился.
— Боже мой,— сказал он,— сколько разговоров всего только из-за одной старухи».— Виктор Кин. По ту сторону. Чита, 1957, с. 15.
[23] В этом смысле характерно бесстрастное высказывание девочки у Платонова: «Плохих людей всех убивать, а то хороших очень мало».— А. Платонов. Котлован. Анн Арбор (США), 1973, с 64.
[24] См. Алехо Карпентьер. Мы искали и нашли себя. Художественная публицистика. М., 1984.

[25] Выражение Андре Бретона. Там же, с. 16.

[26] Цит. по: Рабинович, с. 37.

[27] Тимур Гайдар. Из Гаваны по телефону. М., 1967, с. 82.

[28] «У нас привыкли преподносить абстрактную географию. (Теперь) удалось написать географию, которая не отделена от крестьянина, не отделена от человека... Нам рассказывали о вершинах гор, существующих в природе, но не о болотах, образовавшихся в обществе» — Кастро, с. 244 (Речь на юбилее Спелеологического общества).

[29] Эусебио Мухаль — профсоюзный лидер при Батисте. «Нужно уничтожить в рядах рабочего класса малейшие следы мухализма. Мухализм нужно уничтожить в корне».— Кастро, с. 231.

[30] Евг. Евтушенко. Гавана, мне не спится, а тебе? В кн.: Евг. Евтушенко. Нежность. М., 1962, с. 127.

[31] Хемингуэевский герой. Там же, с. 141.

[32] Рид, с. 349.

[33] Партизан Железняк. Слова М. Голодного, музыка М. Блантера. В кн.: Песенник. М., 1951, с. 87.

[34] Максимилиан Волошин. Россия. В кн.: Волошин, с. 350—351, 348.

[35] Мигель де Сервантес Сааведра. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. Часть первая. М., 1955, с. 508.

[36] Карпентьер, с. 153.

[37] Выражение Рубена Дарио, характеризующее массу, противостоящую художнику. Цит. по: Карпентьер, с. 27.

[38] Примечательно признание Волошина в «Автобиографии»: «...Я почувствовал себя очень приспособленным к условиям революционного бытия и действия. Принципы коммунистической экономики как нельзя лучше соответствовали моему отвращению к зарплате и купле-продаже».— Волошин, с. CXI.

[39] «Каждое из сколько-нибудь значительных гностических и иных учений, обладающих целостным мировоззрением, имеет свою физиономию, свою особую, ему одному свойственную атмосферу, благодаря которой даже посторонние часто узнают его приверженцев или помещения, в которых проходят их собрания. Так, например, многие из нас узнают по одному лишь внешнему виду квакеров, буддистов, масонов или психоаналитиков — потому что долгое общение с каким-либо учением и на самом деле накладывает на человека свойственный ему отпечаток — в наружности, жестах, словах, поведении. До последней войны (Второй мировой), когда коммунизм еще был идеалом, имевшим искренних, даже фанатических сторонников, а не был лишь путем к устройству легкой карьеры, как теперь,— и коммунистов часто можно было распознать по внешнему виду».— Райс. В кн.: Волошин, с. LXXIII.

[40] Гѐрберт Уэллс. Россия во мгле. М., 1958, с. 74.

[41] Рид, с. 499.

[42] Кастро, с. 477.

[43] В первые годы Кубинской революции военная помощь исходила не напрямую от СССР, а от Чехословакии. «Парень, просияв, ткнул меня пальцем в галстук: — Чеко! ...В те дни меня не раз принимали за чеха. За чеха меня принимали отчасти потому, что для кубинцев «Правда» легко превращалась в Прагу, а главное — советских людей в апреле 1961 года на Кубе было еще немного».— Гайдар, с. 24, 26.

[44] «Все парадное и сановное, / революция, побори! ...Напыщенность или скука — / Тоже контрреволюционеры!» — Революция и пачанга. Евтушенко, с. 133.

[45] «...Кабинет Фиделя завален абстрактными картинами, и это нисколько не мешает ему быть коммунистом». — К. Померанцев. Во что верит советская молодежь? «Новый журнал», 1965, № 78.

[46] «Барбудос читают Маркса. / Он тоже барбудо!» — Деды-Морозы в Гаване. Евтушенко, с. 163.

[47] М. Горький. Собр. соч. в 30 тт., т. 5, с. 488.

[49] Е. Евтушенко. Три минуты правды. «Комсомольская правда», 21 ноября 1962 г.

[50] В начале 60-х часть советской молодежи осваивала Америку, не пересекая государственную границу, — так называемые «штатники»: «В те времена, о которых идет речь, две пуговки на концах воротника и, желательно, еще одна сзади, на шее, значили очень много. Эти пуговички, обязательно перламутровые, обязательно с вдавленной серединой и обязательно с четырьмя дырочками в своей неопределенности мечты о прекрасной стране моста Голден-Гейт в Сан-Франциско и Эмпайер-Стейт билдинга, Дэйва Брубека и Майлса Дэвиса, Фрэнка Синатры и Эллы Фицджеральд, автомобиля «Студебекер» и жевательной резинки «Риглиз», Скотта Фицджеральда». Б. Хургин. Ностальгическая сага. «Новое русское слово», 10 ноября 1985 г.

[51] Лицом к лицу с Америкой. М., 1959, с. 25.

[52] См. «Огонек», № 21, 1961.

[53] Э. Хемингуэй. Фиеста (И восходит солнце). Собр. соч. в 4 тт., т. 1, М., 1968, с. 500.

[54] Там же, с. 574.

[55] Книга о вкусной и здоровой пище. М., 1953, с. 7.

[56] Фиеста, с. 569.

[57] Вот как выглядит этот странный этикет в изображении очень чуткого к хемингуэевскому стилю советского писателя Валерия Попова: «Пришли с ним в какую-то компанию. Физики гениальные, режиссеры. Полно народу, и все босиком. Огромная квартира, много дверей, и все занимались тем, что одновременно в них появлялись. Мотают головами, говорят: «А мы тут дурак-и, — ничего не знаем!» — В. Попов. Две поездки в Москву. М., 1985, с. 203.

[58] Фиеста, с 522.

[59] М. Горький. На дне: В кн. М. Горький. Избранное. М., 1970, с. 77.

[60] Фиеста, с. 528.

[61] Там же, с. 107.

[62] Э. Хемингуэй. Иметь и не иметь. Собр. соч. в 4 тт., т. 2, с. 632.

[63] М. Бахтин. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1972, с. 274.

[64] Фиеста, с. 623.

[65] Там же, с. 613.

[66] Отзыв советского литературоведа П. Палиевского. Цит. по кн.: Р. Орлова. Хемингуэй в России. Анн Арбор (США), 1985, с. 65.

[67] Там же, с. 67. Отзыв писательницы И. Варламовой.

В ПОИСКАХ ГЕРОЕВ

[1] Цит. по кн.: И. Магидович, В. Магидович. Очерки по истории географических открытий. М., 1983, т. 2, с. 245.

[2] Цит. по кн.: Р. Хеннинг. Неведомые земли. М., 1961, т. 2, с. 23.
[3] См. Вопросы истории Сибири. В. 2, Томск, 1965.
[4] Марк Твен. Собр. соч. в 12 тт. М., 1960, т. 7, с. 145.
[5] Е. Евтушенко. Братская ГЭС. «Юность», 1965, № 4, с. 47.
[6] Программа КПСС, Часть вторая, I, 1. «Правда», 30 июля 1961.
[7] См. «Сибирские огни», 1963, № 1.
[8] «Литературная газета», 5 ноября 1967 г.
[9] А. Солженицын. Письмо вождям Советского Союза. Париж, 1974, с. 25.
[10] Программа КПСС, Часть вторая.
[11] См. Л. Даниленко. Огни в устье Илима. «Сибирские огни», 1963, № 1.
[12] А. Чехов. Полн. собр. соч. и писем в 30 тт., т. 14—15, М., 1978, с. 35.
[13] См. цит. ст. Л. Даниленко.
[14] См. «Вопросы экономики», декабрь 1964 г.
[15] Н. Некрасов. Большое енисейское ожерелье. «Литературная газета», 5 ноября 1967 г.
[16] Цит. по памяти.
[17] «Правда», 9 мая 1945 г.
[18] «Правда», 10 мая 1945 г.
[19] Там же.
[20] Там же.
[21] «Правда», 14 мая 1945 г.
[22] «Правда», 9 мая 1945 г.
[23] Д. Бедный. День салютов. «Правда», 20 января 1945 г.
[24] М. Шолохов. Судьба человека. Собр. соч. в 8 тт., т. 8, М., 1959, с. 53.
[25] К. Симонов. Живые и мертвые. М., 1960, с. 64.
[26] Там же, с. 438.
[27] М. Туровская. Баллада о солдате. «Новый мир», 1961, № 4, с. 249.
[28] «Правда», 22 июня 1961 г.
[29] Там же.
[30] Б. Слуцкий. Как убивали мою бабку. В кн.: Б. Слуцкий. Избранное. М., 1980, с. 95.
[31] М. Туровская, с. 247.
[32] Э. М. Ремарк. На Западном фронте без перемен. М., 1959, с. 23.
[33] Там же.
[34] А. Твардовский. Теркин на том свете. «Новый мир», 1969, № 8, с. 18.
[35] В. Севрюк. Правда о великой войне. «Правда», 17 апреля 1966 г.
[36] Ю. Друнина. По улице Горького. «Юность», 1961, № 5, с. 14.
[37] В. Быков. Третья ракета. М., 1963, с. 132.
[38] А. Твардовский, с. 39.
[39] А. Вознесенский. Неизвестный — реквием в двух шагах с эпилогом. В кн.: А. Вознесенский. Ахиллесово сердце. М., 1966, с. 11.
[40] А. Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ. Париж, 1974, т. 2, с. 173.
[41] Цит. по: БСЭ, Третье издание, т. 5, с. 284.
[42] Б. Слуцкий, с. 135.
[43] Э. М. Ремарк, с. 19.
[44] Там же, с. 28.
[45] Вл. Владин. О том, как писать об ученых вообще и о молодых физиках в частности. В кн.: Физики продолжают шутить. М., 1968, с. 308. Если учесть, что первый вариант этой книги, вышедший в 1966 году, назывался «Физики шутят», то заголовок второго издания приобретает характер манифеста. Характерно, что составитель обоих сборников — доктор физических наук В. Турчин — стал впоследствии одним из самых активных и видных советских диссидентов.
[46] «Огонек», 1964, № 51.
[47] «Огонек», 1964, № 16.
[48] «Огонек», 1963, № 38.
[49] К. Померанцев. Во что верит советская молодежь? «Новый журнал», 1965, № 78. В этой подборке писем из Советского Союза, напечатанной в эмигрантском журнале, миф о науке отражен с особой силой: «По-настоящему свободным человеком может быть только ученый... Эволюция нашего строя будет зависеть от науки, от тех открытий, которые будут еще сделаны и которые безусловно приблизят нас к Западу». Не удивительно, что публикатор комментирует эти высказывания, прибегая к религиозной терминологии: «Не веря в Бога, разуверившись в коммунизме, советский человек перенес свою веру и любовь на науку».
[50] См. А. Стругацкий, Б. Стругацкий. Страна багровых туч. М., 1960.
[51] А. Стругацкий, Б. Стругацкий. Трудно быть богом. Понедельник начинается в субботу. Библиотека современной фантастики, т. 7, М., 1966, с. 307—308.
[52] Z. Medvedev. Soviet science. New York, 1978, p. 130.
[53] Там же, с. 108.
[54] Там же, с. 134.
[55] Воспоминания эмигрантского литератора Израиля Шамира: «Новосибирский академгородок был удивительнейшим местом в 60-е годы, где было полно свободы, и борьбы, и белок, и любви к поэзии... Я попал в Городок из близлежащего Новосибирска в 1962 году. Расстояние между ними было 30 километров и сто световых лет. Анклав настоящего коммунистического светлого будущего, Городок, мечта братьев Стругацких и их поклонников... Технократия и кибернетика безумствовали в те годы. Народ был уверен, что скоро ЭВМ превзойдут науку управления, а тогда станут ненужными толстозадые завкадрами, преды и секи. Надо было только найти алгоритм, запастись памятью и настроить машину на достижение всеобщего блага. Гос и парткадры должны были смотреть на это с разинутыми ртами и почесывать в затылке, как мужик за сохой при виде работающего трактора.

При всем этом мысли высказывались самые вольные. Гордо говорили в Городке: две горячих точки на планете — Вьетнам и Городок. Самиздат циркулировал по Городку невозбранно и в массовых количествах... Естественно, всем хотелось смотреть в будущее в надежде славы и добра. Казалось, что сведенный с пути Сталина бронепоезд социализма снова оказался на рельсах, и сейчас будет уже дуть вперед без остановок вплоть до высадки на Марсе. Лозунг был «Свобода явочным порядком», то есть — будем свободными, тогда и будет свобода».— Цитируется по рукописи, любезно предоставленной авторам К. Кузьминским.

МАРШ ЭНТУЗИАСТОВ

[1] Товарищ. Записная книжка пионера на 1961/62 учебный год. М., 1961, с. 74.
[2] К. Чуковский. От двух до пяти. М., 1955, с. 112. Там же можно найти и такие высказывания: «Когда у нас день, в Америке ночь.— Так им и надо, буржуям!» (с. 111), «Что это за собака? — Немецкая овчарка.— Она сдалась в плен, да?» (с. 113).
[3] Товарищ, с. 124.

[4] Там же, с. 85.
[5] Там же, с. 84—85.
[6] См. Л. Лагин. Старик Хоттабыч. М., 1963. Первая публикация в 1938 г.
[7] Товарищ, с. 146.
[8] Там же, с. 47.
[9] Ж. Верн. Собр. соч. в 12 тт., т. 5, М., 1956, с. 182.
[10] Там же.
[11] См. Г. Адамов. Тайна двух океанов. М., 1959. Первая публикация в 1939 г.
[12] Г. Мартынов. 220 дней на звездолете. Л., 1955, с. 40. Забытый теперь писатель Г. Мартынов был очень популярен в начале 60-х. Особым успехом пользовался его роман «Каллисто» (1957), в котором американский шпион пытается взорвать корабль пришельцев, приземлившихся на территории СССР.
[13] Там же, с. 13.
[14] Там же, с. 215.
[15] Там же, с. 142.
[16] Г. Гуревич. Прохождение Немезиды. М., 1961, с. 18.
[17] Н. Носов. Витя Малеев в школе и дома. В кн.: Н. Носов. Избранное. М., 1961, с. 231. Это произведение впервые вышло в свет в 1951 году и получило Сталинскую премию в 1952 г. Но и в начале 60-х оно считалось шедевром детской литературы, о чем говорит инсценировка «Вити Малеева» 1963 года. В. Катаев в предисловии к однотомнику Носова писал: «У Носова не просто мальчики, у него советские мальчики, маленькие граждане нашей великой страны» (с. 7).
[18] Там же, с. 117.
[19] С. Бархударов, С. Крючков. Учебник русского языка, ч. II, М., 1966, с. 13.
[20] С. Бархударов, С. Крючков. Учебник русского языка, ч. I, М., 1961, с. 133.
[21] Изюм. Горький. Калач.
[22] Н. Носов, сс. 122, 137, 140. К таким же афоризмам относятся и высказывания — «Нам адвокаты не нужны», «ты сам себя задерживаешь», «а если все в окно начнут прыгать» и т. д.
[23] К. Чуковский, с. 113.
[24] Подробно о стилевых принципах в советском обществе в кн.: В. Паперный. Культура-Два. Анн Арбор (США), 1984.
[25] Юрий Кукин. Понимаешь, это странно, очень странно... В кн.: Песни русских бардов. Париж, 1977, т. I, с. 45.
[26] На языке философов-романтиков это именовалось «интеллектуальной интуицией» (И. Г. Фихте. В кн.: Антология мировой философии в 4 тт., М., 1971, т. 3, с. 221) или «поэтическим проницанием» (В. Ф. Одоевский. Русские ночи. Л., 1975, с. 182).
[27] И. Дубровина. Романтика. «Вопросы литературы», 1964, № 11, с. 5.
[28] И. Ефремов. Туманность Андромеды. М., 1984, с. 273.
[29] Александр Гёнкин. И скромняги, и пижоны... Песни, т. 4, с. 109—110.
[30] Туристская песня. Слова А. Пришельца, музыка М. Иорданского. В кн.: Песенник. М., 1951, с. 171.
[31] А. Меньшутин, А. Синявский. За поэтическую активность. «Новый мир», 1961, № 1, с. 224.
[32] Иосиф Бродский. Стихотворения и поэмы. Вашингтон — Нью-Йорк, 1965, с. 35.
[33] Справедливости ради надо отметить, что Бродский ушел в геологи не по велению сердца, а — что еще более характерно для тех лет — по инерции, «как все»:

«— В этом году у нас три экспедиции: Кольский, Зауралье и Магадан. Куда бы вы хотели?
— Абсолютно без разницы, — хмыкнул Иосиф и схватился за подбородок.
— Вот как! А что вам больше нравится — картирование или поиски и разведка полезных ископа...
— Один черт, — перебил Бродский, — лишь бы вон отсюда!
— Может, гамма-каротаж? — не сдавался начальник.
— Хоть — гамма, хоть — дельта, — не имеет значения, — парировал Бродский». — Бородский — геолог: В кн.: Людмила Штерн. По месту жительства. Нью-Йорк, 1980, с. 55—56.
[34] Бродский, с. 66 —67.
[35] Песни, т. 2, с. 103, 10, 112, 104.
[36] Ефремов, с. 160.
[37] Юрий Кукин. Горы, далекие горы, туманные горы... Песни, т. 2, с. 64.
[38] Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий. Стажеры. Второе нашествие марсиан. М., 1968, с. 182.
[39] См. Анатолий Гладилин. История одной компании. «Юность», 1965, № 8.
[40] Непомерность обвинения в адрес мещан соответствовала непомерности их запросов: «Единственное, в чем он мог упрекнуть советскую власть — это в том, что она не могла сию же минуту обеспечить Вохмякова особняком с зимней оранжереей и плавательным бассейном». — В. Титов. Путешествие в «рай» и обратно. «Крокодил», 1961, № 35.
[41] Стругацкие, с. 16. В романе «Стажеры» изложена версия об импортном происхождении мещанства: «Пока открыты границы, мещанство во всех видах будет течь через эти границы. Как бы вам не захлебнуться в нем...» (с. 167).
[42] Михаил Анчаров. Однажды я пел на высокой эстраде... Песни, т. 2, с. 71.
[43] Михаил Шатров. Лошадь Пржевальского. М., 1975, с. 14. Стройотрядовцы в пьесе Шатрова за проступки караются бездельем по методу Макаренко: « — Во всем мире во все времена наказывали работой, а в отряде — наоборот. И никто не поверит, что мы мучались с тобой из-за этого». (с. 75).
[44] Александр Блок. О романтизме. Собр. соч. в 6 тт. М., 1971, т. 5, с. 481.
[45] Юрий Визбор. Штили выметая облаками... Песни, т. 2, с. 116.
[46] Василий Аксенов. Коллеги. «Юность», 1960, № 6, 7.
[47] Василий Аксенов, Звездный билет. «Юность», 1961, № 6, 7.
[48] Евг. Евтушенко. Нигилист. Yevtushenko Poems. Bilingual Edition, New York, 1966, p. 20.
[49] Прощание. Слова М. Исаковского, музыка Дм. Покресс. Песенник, с. 77.
[50] Евг. Евтушенко. Нежность. М., 1962, с. 32.
[51] Булат Окуджава. Стихотворения. М., 1984, с. 12.
[52] В поисках радости. В кн.: В. Розов. Мои шестидесятые. Пьесы и статьи. М., 1969. По пьесе в 1961 году был снят фильм «Шумный день».
[53] Дж. Г. Байрон. Паломничество Чайльд-Гарольда. Дон-Жуан. М., 1972, с. 317.
[54] Прощание, с. 77.
[55] Геологи. Слова С. Гребенникова и Н. Добронравова, музыка А. Пахмутовой. Русские советские песни. М., 1977, с. 607.
[56] Сергей Есенин. Сыпь, гармоника. Скука... Скука... Собр. соч. в 5 тт., М., 1966, т. 2, с. 123.
[57] Юрий Кукин. Песни, т. 2, с. 107, 62, т. 1, с. 35.

[58] Евг. Евтушенко. Нежность, с. 98.

[59] Илья Суслов. Песни, нашедшие своих авторов. «Юность», 1963, № 11, с. 94.

[60] И. Дзержинский. С рекламы ли надо начинать? (Дискуссия «Молодость, песня, гитара»). «Литературная газета», 24 апреля 1965 г.

[61] Суслов, с. 94.

[62] Песня — единая и многоликая. «Неделя», 1966, № 1.

[63] Булат Окуджава. Веселый барабанщик. М., 1964, с. 45.

[64] Булат Окуджава. Март великодушный. М., 1967, с. 110, 118, 133, 76.

[65] Окуджава. Стихотворения, с. 29. Именно эта сторона творчества Окуджавы — воспевание «неправильной» любви — вызывала острую ярость критики. Его песни называли «кабацкими», утверждалось, что «о какой-либо требовательности поэта к самому себе говорить не представляется возможным». Все сводилось к сакраментальному: «И куда он зовет? Никуда». — И. Лисочкин. О цене «шумного успеха». «Комсомольская правда», 5 декабря 1961 г. — Примечательно, что буквально за две недели до этой статьи аналогичные обвинения были предъявлены Василию Аксенову. На карикатуре был изображен дикарь из популярной кинокомедии «Человек ниоткуда» рядом с бородатым юнцом, державшим под мышкой роман «Звездный билет». Между ними шел диалог: «Вы откуда? — Ниоткуда. А вы куда? — Никуда». — «Крокодил», 1962, № 4.

[66] Евг. Евтушенко. Яблоко. М., 1962, с. 87.

[67] Стругацкие, с. 126.

[68] В. Аксенов. Звездный билет. № 7, с. 47.

[69] Там же, с. 46.

[70] «Юность», 1961, № 1, с. 86. В статье Ю. Щербакова привычная терминология романтизма сочетается с прозой жизни: «Юноши и девушки выбрали бы трудную профессию эпидемиолога и пошли бы в жизнь как в бой — распутывать трудные клубки желтух. И пусть докажут мне, что это не романтично». (с. 90).

[71] Л. Айзерман. Всегда ли в жизни есть место подвигам? «Юность», 1967, № 8, с. 80—82. Автор проводит обзор 372 сочинений московских школьников.

[72] «Разве изысканное мастерство художественной сварки Бориса Шпаковского, «высший пилотаж», дерзновенная артистическая удаль машиниста крана-трубоукладчика, будничный ежедневный труд строителей... — разве это не подлинный героизм?» — Феликс Кузнецов. Новые люди. «Юность», 1961, № 1, с. 80.

[73] Новелла Матвеева. Душа вещей. М., 1966, с. 135.

[75] Александр Городницкий. Песни, т. 1, с. 66.

[76] Павел Коган. Бригантина. В кн.: Советские поэты, павшие на Великой Отечественной войне. М.—Л., 1965, с. 281—282. Погибший в 24 года поэт Коган был одним из героев 60-х, с его романтическим кредо «Я с детства не любил овал! Я с детства угол рисовал!» (с. 278). Мало кто из его поклонников обращал внимание на то, что признанный гимн романтиков — «Бригантина» — был написал в 1937 году.

[77] Василий Аксенов. Затоваренная бочкотара. «Юность», 1968, № 3, с. 47.

[78] Там же, с. 51.

[79] Эстетика поведения. Сост. и ред. В. И. Толстых. М., 1965, с. 5, 7.

[80] Василий Аксенов. Коллеги. В кн.: В. Аксенов. Жаль, что вас не было с нами. М., 1969, с. 64.

[81] «Огонек», 1964, № 6.

[82] Череповецкие моржи. «Огонек», 1965, № 1.

[83] Андрей Вознесенский. Сибирские бани. В кн.: Ахиллесово сердце. М., 1966, с. 148. Тема деревенской бани вдохновляла в те годы многих: см. например, репродукцию широко известной картины А. Пластова «Весна» — «Юность», 1963, № 1.

[84] Василий Аксенов. Апельсины из Марокко. «Юность», 1963, № 1, с. 13.

[85] Коллеги, сс. 66—67, 70.

[86] «Огонек», 1965, № 43.

[87] Л. Ефремова. И модно, и красиво. В кн.: Эстетика поведения, с. 89. Там же: «Хорошие носки и начищенные ботинки — один из важных признаков культуры...» (Ефремова, с. 98).

[88] «Огонек», 1965, № 43.

[89] Анатолий Гладилин. История одной компании, с. 35.

[90] «Огонек», 1968, № 10. Речь идет о манекенщице Миле Романовской, выступавшей на ЭКСПО-67, и стюардессе Лилии Строковой, выигравшей в Монреале конкурс красоты 15 авиакомпаний.

[91] «Огонек», 1966, № 1.

[92] Т. Астрова, А. Кошелев, Б. Нешумов. Дело ваших рук. «Юность», 1963, № 2, с. 89. Остальные вещи в комнате тоже не менее броских цветов: «...Небольшие и яркие предметы. Более уместны веселые тона: цвета — оранжевый, желтый, красный...» — Там же, с. 85—86.

[93] «Огонек», 1965, № 25. Репортаж из ленинградского ресторана «Нева».

[94] Осенняя Москва. Музыка Н. Пескова, слова И. Суслова. Цит. по: «Театр», 1964, № 5, с. 85.

[95] «Пролеткино», 1925, № 1.

[96] С. Смоляницкий. Продолжение следует... «Искусство кино», 1969, № 1, с. 43.

[97] Эльдар Рязанов. Грустное лицо комедии. М., 1977, с. 106. Именно эксцентрика привлекла внимание к первым шагам Театра на Таганке — исключительно важного культурного явления 60-х.

[98] Юлия Друнина. «Юность», 1971, № 5.

[99] Р. Фраерман. Человек рядом с тобой. «Юность», 1963, № 3, с. 90.

[100] И. Ефремов. Туманность Андромеды, с. 312.

[101] Рязанов, сс. 108, 122, 160.

[102] Коллеги, № 7, с. 181.

[103] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. I, М., 1955, с. 418.

[104] М. Шатров. 18-й год. Пьесы. М., 1974, сс. 28, 64, 145.

[105] Е. Драбкина. В кадре — улыбка... «Искусство кино», 1968, № 4, сс. 9, 12, 13.

[106] «Правда», 18 октября 1961 г.

[107] Про инцидент с ботинком рассказал А. Аджубей — «Правда», 28 октября 1961 г.

[108] «Неделя», 8—14 марта 1964 г.

[109] Ср. у Достоевского: «— Ты-то безбожник? Нет, ты — не безбожник,— степенно ответил старик... ты — человек веселый.— А кто веселый, тот уж не безбожник? — иронически заметил доктор.— Это в своем роде — мысль,— заметил Версилов, но совсем не смеясь».— Ф. М. Достоевский. Подросток. Собр. соч. в 10 тт., т. 8, М., 1957, с. 411—412.

[110] Кинокомедия «Семь нянек», 1962 г., реж. Ролан Быков.

[111] Карикатуры из журнала «Огонек»: 1961, № 42; 1962, № 10, 1964, № 33.

[112] А. Сурков. Неаполитанские мелодии. «Огонек», 1961, № 9.

[113] «Огонек», 1962, № 5.
[114] Юлиан Семенов. Товарищ по палатке. «Юность», 1963, № 5, с. 7.
[115] Коллеги, № 6, с. 88.
[116] А. Гладилин. Первый день Нового года. «Юность», 1963, № 2, с. 35.
[117] Заголовки и подписи — из журнала «Огонек»: 1962, № 16; 1962, № 42; 1967, № 11, 1968, № 14; 1967, № 8. Молодежная периодика была еще менее умеренной, о чем писал сатирик тех лет: «Мне порядочно надоел псевдомолодежный словарь нашей газеты, ее постоянное бесплодное бодрячество. Мне надоели все эти задумки вместо замыслов, живинки вместо живости, веселинки вместо веселья и даже глубинки вместо глубины».— Фазиль Искандер. Созвездие Козлотура. Цит. по кн.: Ф. Искандер. Время счастливых находок. М., 1973, с. 311.
[118] В. Ардов. Аркадий Райкин. «Театр», 1965, № 11, с. 83.
[119] Майя Каганская. Наследники Толстоевского, или Шестидесятые годы. «Время и мы», 1977, № 16. В статье показана роль цитаты, особенно цитаты из Ильфа и Петрова, в 60-е. О важности творчества этих писателей для 60-х см. также: М. Чудакова, А. Чудаков. Современная повесть и юмор. «Новый мир», 1967, № 7.
[120] «...Роман так насыщен цитатами, что порой кажется, они выпадают кристалликами, как в перенасыщенном растворе».— З. Паперный. Агрессивное невежество. «Юность», 1965, № 12, с. 83. Речь идет об одном из самых одиозных романов тех лет — «Тля» Ивана Шевцова.
[121] В. Аксенов. Апельсины из Марокко, с. 30. Оригинальная цитата — слова Остапа Бендера из «Золотого теленка».
[122] В 60-е большое распространение получили дискуссии о досуге. См. например, публицистические выступления под характерными заголовками: Н. Долинина. Так почему же скучно Людмиле? «Юность», 1963, № 2, с. 83 и Л. Бондаренко. Отдохнем, и хорошо отдохнем. «Юность», 1963, № 6, с. 95.
[123] В Псковском пединституте старшекурсники пригласили первокурсников на «студенческие крестины». Проверяют на сообразительность: годятся ли для КВН? — «Огонек», 1964, № 46.
[124] Диалог из фильма «Июльский дождь», 1966 г., реж. Марлен Хуциев: «— Что-то я устал, Лена. Я понял, почему. Все время приходится острить.— Что-что? — Острить. Это очень утомительно.— А вы не острите.— Невозможно. Это уже поневоле, как привычка».— Цит. по: Ан. Гребнев, М. Хуциев. Июльский дождь. Киносценарий. «Искусство кино», 1966, № 3, с. 127.
[125] Бродский, с. 68.

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

[1] См. В. Померанцев. Об искренности в литературе. «Новый мир», 1953, № 12.
[2] Заключительное слово тов. Н. С. Хрущева на XXII съезде КПСС 27 октября 1961 года. «Правда», 29 октября 1961 г.
[3] Речь тов. А. Т. Твардовского. «Правда», 31 октября 1961 г.
[4] Речь тов. В. А. Кочетова. «Правда», 31 октября 1961 г.
[5] Этот список приводит В. Лакшин в очерке «Солженицын, Твардовский и «Новый мир». В кн.: Двадцатый век. Избранные материалы из самиздатного журнала «XX-й век», т. 2, Лондон, 1977, с. 210—211.
[6] Там же, с. 201—202.
[7] А. Синявский. Памфлет или пасквиль? «Новый мир», 1964, № 12, с. 229.
[8] Заключительное слово Хрущева.
[9] Речь Твардовского.
[10] В. Лакшин. «Мудрецы» Островского — в истории и на сцене. «Новый мир», 1969, № 12, с. 240.
[11] См. Программа КПСС. «Правда» от 30 июля 1961 г.
[12] От искусства ждали слишком многого: «Без искусства и общей культуры государство теряет способность к самокритике, принимается поощрять ошибочные тенденции, начинает ежесекундно порождать лицемеров и подонков, развивает в гражданах потребность и самонадеянность». — А. и Б. Стругацкие. Трудно быть богом. М., 1966, с. 125.
[13] А. Солженицын. Бодался теленок с дубом. ИМКА-Пресс, Париж, 1975, с. 488.
[14] Lev Loseff. On the Beneficience of Censorship: Aesopian Language in Russian Literature, Munich, 1984. (Цит. по русскому оригиналу, любезно предоставленному автором, с. V).
[15] В. Лакшин. Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита». «Новый мир», 1968, № 6, с. 290.
[16] См. В. Войнович. Путем взаимной переписки. Париж, 1979 (повесть написана в 60-е годы).
[17] L. Loseff, с. 230.
[18] М. Альтшуллер, Е. Дрыжакова. Путь отречения. Тенафлай (США), 1985, с. 11.
[19] Е. Маркин. Белый бакен. «Новый мир», 1971, № 10, с. 96—98.
[20] М. Палкин. Вопросы литературы. Пособие для поступающих в вузы. Минск, 1971, с. 153.
[21] А. Терц. Что такое социалистический реализм? В кн.: Фантастический мир Абрама Терца. Париж, 1967, с. 433.
[22] Там же, с. 525.
[23] Пример белинковской иронии: «При всем этом в произведении О. Форш не все написано великолепно и не каждая строка поражает воображение читателя». К этому абзацу автор дает одну из своих знаменитых сносок: «М. Марич, коснувшаяся в «романе из эпохи декабристов» «Северное сияние» Южного общества, не продолжает список, начатый Ю. Тыняновым и О. Форш, так как ее роман повествует главным образом о том, что «кромсать шуршащий шелк, лионский бархат, тафту, кисею и тюль, делать из разноцветных лент банты и пышные «шу», собирать кружева и из всего этого создавать красивые наряду куда интереснее, чем воспитывать избалованную, капризную Адель». Ни к северному, ни к южному декабризму, ни к другим этапам и пунктам русского освободительного движения, ни к художественное литературе «все это» прямого отношения не имеет». — А. Белинков. Юрий Тынянов. М., 1965, изд. второе (!), с. 150.
[24] Там же, с. 201.
[25] Там же, с. 59. Естественный вопрос, который вызывает это утверждение — было бы этой литературы больше и была бы она более великой, если бы с ней не боролись.
[26] Там же, с 96.

[27] А. Белинков. Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша. Мадрид, 1976.

[28] В. Ленин. Полн. собр. соч. 5-е изд.; т. 18, с. 123.

[29] В. Кардин. Легенды и факты. «Новый мир», 1966, № 2.

[30] См. напр., А. Бирман. Суть реформы. «Новый мир», 1968, № 12.

[31] Впрочем, к середине 60-х даже Твардовский обнаружил тенденцию к отходу от собственной программы. Так, он написал тонкую и глубокую статью о творчестве Бунина, в которой, среди прочего, говорилось: «Мы долго придавали мастерству письма лишь второстепенное значение...» — А. Твардовский. О Бунине. «Новый мир», 1965, № 7, с. 228.

[32] В. Эфроимсон. Родословная альтруизма. «Новый мир», 1971, № 10, с. 194.

[33] Авторы посвятили отдельную работу проблеме влияния творчества М. Булгакова на советское общество. См.: П. Вайль, А. Генис. Булгаковский переворот. «Континент», № 47, 1986.

[34] В 1969 году, например, в «Новом мире» появилась рецензия В. Савина «Проблемы и перспективы социалистической демократии», в которой осторожно предлагалось вернуть процедуре выборов реальный смысл, введя несколько кандидатов на каждую должность. («Новый мир», 1969, № 5, с. 264—269).

[35] В. Лакшин. Солженицын, Твардовский и «Новый мир», с. 201.

[36] Венедикт Ерофеев. Вальпургиева ночь, или Шаги командора. «Континент», № 45, 1985, с. 114.

[37] Синявский и Даниэль на скамье подсудимых. Нью-Йорк, 1966, с. 41.

[38] Л. Алексеева. История инакомыслия в СССР. Бенсон (США), 1984, с. 245.

[39] Андрей Амальрик. Записки диссидента. Анн Арбор (США), 1982, с. 56.

[40] Там же, с. 40.

[41] «Днем рождения правозащитного движения можно считать 5 декабря 1965 г., когда в Москве на Пушкинской площади состоялась первая демонстрация под правозащитными лозунгами... «Требуем гласности суда над Синявским и Даниэлем!» и «Уважайте Советскую Конституцию!» — История инакомыслия, с. 240, 251.

[42] Владимир Буковский. И возвращается ветер... Нью-Йорк, 1978, с. 267.

[43] Петро Григоренко. В подполье можно встретить только крыс... Нью-Йорк, 1981, с. 455.

[44] Буковский, с. 240.

[45] В. Альбрехт. Как быть свидетелем. Париж, 1981.

[46] Там же.

[47] Амальрик, с. 38.

[48] Дина Каминская. Записки адвоката. Нью-Йорк, 1984, с. 166.

[49] Там же, с. 302.

[50] Раиса Орлова. Воспоминания о непрошедшем времени. Анн Арбор (США), 1984, с. 195.

[51] Григоренко, с. 489—490.

[52] Там же, с. 633.

[53] Буковский, с. 92.

[54] Там же, с. 231.

[55] Ф. М. Достоевский. Бесы. Собр. соч. в 10 тт., т. 7, М., 1957, с. 258.

[56] См. Виктор Красин. Суд. Нью-Йорк, 1983, с. 66.

[57] «Помню, как-то... сказала мужу: «Знаешь, они, конечно, очень достойные и мужественные люди, но когда я подумала, что вдруг случится так, что они окажутся у власти — мне этого не захотелось». — Каминская, с. 196.

[58] Красин, с. 41.

[59] См. Григоренко, с. 625.

[60] Амальрик, с. 37.

[61] Достоевский, с. 451.

[62] «...При слове «организация», да еще «тайная», в глазах у твоего собеседника загорался радостный огонек, и сразу было видно, что он, как и ты, давно ждет грузовика с автоматами».— Буковский, с. 100.

[63] Там же, с. 248—249.

[64] Григоренко, с. 523.

[65] Там же, с. 620—621.

[66] «Итак, я к лету 1963-го года проделал идейно-теоретическую работу и укрепился в мысли, что с руководством КПСС надо вступать в борьбу...» — Там же, с. 498.

[67] Цит. по: Буковский, с. 131. Автор стихов — Ю. Галансков.

[68] Николай Вильямс. Из поэмы «Гниповская ночь». «Семь дней», № 42, 1984, с. 21.

[69] Цит. по: Амальрик, с. 65.

[70] Синявский и Даниэль, с. 78.

[71] Там же, с. 86.

[72] Э. Неизвестный. Говорит Неизвестный. «Посев», Франкфурт, 1984, с. 11.

[73] 17 декабря 1962 года во время встречи правительства с творческой интеллигенцией, с которой началась официальная кампания против «абстракционистов», Хрущев показал пальцем на Солженицына и сказал: «Вот идет современный Лев Толстой». (Устное сообщение Э. Неизвестного).

[74] Ф. Решетников. Тайны абстракционизма. «Огонек», 1962, № 16.

[75] «Кубинское абстрактное искусство помогает кубинской революции».— Цит. по кн.: P. Johnson. Khruschev and the Arts. The M.I.T. Press, 1965, p. 122.

[76] 8 марта 1963 года Хрущев произнес речь, в которой описал свои впечатления от прогулки в зимнем лесу: «Только посмотрите на эти ели, на снежинки, блестящие в лучах солнца! Как прекрасно все это! И теперь модернисты, абстракционисты хотят нарисовать эти ели вверх ногами!». Там же, с. 172.

[77] Цит. по кн.: И. Бродский. Стихотворения и поэмы. Вашингтон, 1965, с. 6.

[78] Э. Неизвестный, с. 29.

[79] Цит. по: К. Кузьминский. Антология новейшей русской поэзии. США, 1980, т. 2а, с. 439.

[80] Ю. Мамлеев. Шатуны. Цит. по рукописи.

[81] Антология, т. 4а, с. 501.

[82] Там же, т. 2а, сс. 39, 97, без нумерации.

[83] На Манежной выставке Хрущев говорил: «Был я шахтером — не понимал, был я политработником — не понимал, был я тем — не понимал. Ну вот сейчас я глава партии и премьер и все не понимаю? Для кого же вы работаете?» — Э. Неизвестный, с. 13.

[84] Речь Хрущева от 8 марта 1963 г., цит. по кн.: P. Johnson, с. 177.

[85] Д. Дар. Антология, т. 2а, с. 439.

[86] Об особой роли детской литературы в современной советской культуре см.: Lev Loseff.

[87] См. журнал «Гнозис», Нью-Йорк.

[88] Антология, т. 2а, с. 393.

[89] В. Иванов. Метафизический синтетизм. Аполлон — 77, Париж, 1977, с. 240.

[90] А. Терц. Что такое социалистический реализм?, с. 442.
[91] И. Эккерман. Разговоры с Гёте. М., 1981, с. 443.
[92] Л. Лифшиц (Лосев). Тулупы мы. Антология, т. 1, с. 143—144.

ВЛАСТЬ МАСС

[1] Впервые Советский Союз принял участие в Олимпийских играх в 1952 году в Хельсинки: там в неофициальном зачете команды СССР и США набрали равное количество очков. В 1956 году в Мельбурне советская команда опередила американскую.
[2] Ал. Яковлев. «Белая пружина». «Юность», 1961, № 4, с. 108.
[3] Спортивный марш. Сл. В. Лебедева-Кумача, муз, И. Дунаевского. В кн.: Спортивные песни. Минск, 1979, с. 4.
[4] Михаил Пархомов. Игра начинается с центра. «Юность», 1962, № 2, с. 24.
[5] Там же, с. 9.
[6] Анатолий Гладилин. Дым в глаза. «Юность», 1959, № 12, с. 49.
[7] В. Брумель. Цена одного сантиметра. «Юность», 1963, № 4, с. 109.
[8] Юрий Власов. Катавасия. «Юность», 1962, № 3, с. 52—53.
[9] Брумель, там же.
[10] Вот как тренер описывает подготовку футбольной сборной к важному матчу: «Всей командой мы побывали в музее в Прадо, где любовались картинами Гойи, Веласкеса, Мурильо, Эль Греко... Побывали на концерте народных песен и танцев. Короче говоря, мы делали все...» — Андрей Старостин. «Почему?» — спрашивает болельщик... «Юность», 1964, № 8, с. 107. Тем не менее, сборная СССР проиграла финальный матч чемпионата Европы сборной Испании — 1:2.
[11] Цит. по: Римма Жукова. «Иду красивый...», в кн.: Эстетика поведения. М., 1965, с. 160.
[12] Там же. с. 168.
[13] Илья Авербах. Право на чудо. «Юность», 1962, № 2, с. 108.
[14] Вик. Васильев. ...И медные трубы. «Юность», 1961, № 8, с. 105.
[15] Евг. Рубин. О победах прошлых и будущих. «Юность», 1963, № 12, с. 105.
[16] Примечателен ряд, в который помещались имена спортивных кумиров: «Шаляпин русского футбола, / Гагарин шайбы на Руси!» — Евг. Евтушенко. Идут белые снеги... М., 1969, с. 409. Это сказано о Боброве — звезде предыдущей эпохи, когда подобные сравнения были бы немыслимы.
[17] Футбольное. В кн.: Андрей Вознесенский. Ахиллесово сердце. М., 1966, с. 178. Высоцкий цит. по: Песни русских бардов. Париж, 1977, т. 3, с. 1.
[18] Мартын Мержанов. XVIII Олимпийские. «Юность», 1964, № 10, с. 104.
[19] Лариса Латынина. Моя гимнастика. «Юность», 1964, № 7, с. 106.
[20] Наташа Кучинская. Моя гимнастика. «Юность», 1966, № 4, с. 109.
[21] «Полпуда грации». Рассказывают Людмила Белоусова и Олег Протопопов. «Юность», 1966, № 1, с. 109.
[22] Жукова, с. 156.
[23] Песня В. Высоцкого. Цит. по: Песни русских бардов, т. 1, с. 26.
[24] Игорь Акимов. Мысль и мяч. «Юность», 1967, № 6, с. 107. Виктор Маслов — тренер киевского «Динамо», лучший в те годы футбольной команды СССР.
[25] Олег Спасский. Комсорг сборной. «Юность», 1968, № 10, с. 104. Приведены слова борца вольного стиля Александра Иваницкого, чемпиона мира.

[26] «Огонек», 1962, № 42.
[27] «Огонек», 1964, № 47.
[28] Песни русских бардов, т. 2, с. 7.
[29] Из устного рассказа очевидца — Евгения Рубина, который присутствовал на чемпионате мира 1969 года в Стокгольме в качестве корреспондента еженедельника «Футбол — Хоккей»: «Перед матчем СССР — Чехословакия ко мне подошел бледный комментатор Николай Озеров и показал блокнот: ему только что по телефону из Москвы продиктовали слова, которые нельзя произносить во время репортажа, — «атака», «оборона», «схватка», «тактика», «поражение», «победа» и так далее. Короче — все военизированная терминология. Озеров-то справился, а СССР проиграл с разницей в одну шайбу. Капитан чехов Йозеф Голонка подъехал к советской сборной, взял клюшку наперевес, как автомат, и «расстрелял» игроков. На трибунах пели, плакали, целовались, молились. Даже чехословацкий тренер Владимир Костка, вполне лояльный партиец, сказал на пресс-конференции, что результат игры выходит далеко за рамки спортивной победы. Потом так вышло, что я летел в одном самолете с чешской сборной и видел, что творилось в Праге: на всем летном поле, сколько хватало глаз, не было ни клочка свободной земли — думаю, сотни тысяч пришли встречать».

В самом Советском Союзе победа Чехословакии тоже произвела сильное впечатление: авторы были свидетелями того, как по улицам ходили группы молодежи с криками: «Тут вам танки не помогут!» — многих из них задержала милиция.
[30] Эту фразу придумал Анри Барбюс. Интересно, что за чеканными формулами власти — вроде Кремля или флота — приходилось обращаться к иностранцам.
[31] См. «Правда», 31 октября 1961 г.
[32] Там же.
[33] «Ленин нигде не говорил об идейных ошибках Сталина — не потому, что их не было. Они были. Но сравнительно с кардинальным фактом нравственной непригодности это не имело значения». — Г. Померанц. Нравственный облик исторической личности. В кн.: Неопубликованное. Выходные данные в книге отсутствуют, с. 220.Эта статья была подготовлена по материалам Г. Померанца в Институте философии 3 декабря 1965 г.
[34] Н. Колчинская. Что вы дарите? В кн.: Эстетика поведения. М., 1965, с. 208. Далее Ленин сравнивается со Сталиным: «Как это непохоже на те времена, когда существовал целый музей подарков... И все это было адресовано одному человеку...» — Там же, с. 209.
[35] Необычный заказ. Воспоминания портного Г. Косолапова. «Огонек», 1962, № 17.
[36] В поэме Е. Евтушенко «Братская ГЭС» на 28 последних страницах имя Ленина упоминается 47 раз. — См. «Юность», 1965, № 4.
[37] «Я не знаю, как это сделать, / Но товарищи из ЦК, / Уберите Ленина с денег, / Так цена его высока», — Цит. по кн.: Вопросы языка современной русской литературы. М., 1971, с. 409.
[38] «Юность», 1963, № 4.
[39] «Огонек», 1965, № 4.
[40] «Каждый... искренне и убежденно скажет: более красивого человека я не знаю. Это — Ленин». — С. Коненков. Красота человека. В кн.: Эстетика поведения, с. 13.
[41] «...Сталин груб был и невнимателен был, значит... Он такой сухой даже, если не грубый, так сухой, корявый человек». — Никита Хрущев. Воспоминания. Избранные отрывки. Сост. В. Чалидзе. Нью-Йорк, 1982, с. 212.

[42] Рой Медведев. Хрущев. Бенсон (США), 1986, с. 46.

[43] Смута в сознании отражалась в языковой путанице: в 1961 году переименовали города, носящие имя Сталина, но как быть с историческими понятиями, вроде Сталинградской битвы, твердо решено не было. Отсюда: «Ты волгоградский мальчишка, сын Сталинграда», «Огонь Сталинграда не померкнет, пока на волгоградской земле живет хотя бы один человек». — «Огонек», 1968, № 5.

[44] Хрущев, с. 263.

[45] Там же, см. с. 133—134.

[46] Медведев, с. 248.

[47] «Огонек», 1962, № 46.

[48] «Огонек», 1963, № 8.

[49] Недозволенный смех, т. 2. Сост. А. Лиф. Лос-Анджелес, 1970, с. 40.

[50] «В результате семилетки (59—65) годовая продукция с/х выросла вместо плановых 34 млрд. руб. всего на 5 млрд. Прирост поголовья крупного рогатого скота стал вдвое меньше, чем в предыдущую пятилетку. Свиней, птиц и овец стало меньше в абсолютных цифрах». — В. Чунтулов. Экономическая история СССР. М., 1969, с. 395.

[51] Николо Макиавелли. Государь. В кн. Избранные сочинения. М., 1982, с. 345.

[52] См. М. Восленский. Номенклатура. Лондон, 1984, с. 338, 352.

[53] «Однажды во время прогулки Хрущев пригласил Тито в «Кафе-мороженое» недалеко от Центрального телеграфа. Угостившись мороженым и кофе, Хрущев, однако, не смог расплатиться: он не взял с собой денег. Пришлось обратиться к работнику охраны, ...и занять у него десять рублей». — Медведев, с. 143. Там же (с. 145) — о том, как Хрущев и Никсон беседовали с отдыхающими на берегу Москвы-реки, причем Хрущев неизменно спрашивал президента США: «Ну что, похожи эти люди на рабов коммунизма?»

[54] См. Восленский, с. 341.

[55] Наблюдения итальянского журналиста Д. Бертоли: «Низенькие, толстые, одетые причудливейшим образом в широченнейших брюках и пиджаках, ...они ходили всегда вместе, внимательно следя за тем, чтобы не обогнать друг друга». — Цит. по: Медведев, с. 99.

[56] Эмрис Хьюз. Визит Макмиллана в Советский Союз. М., 1959, с. 82.

[57] Лицом к лицу с Америкой. Рассказ о поездке Н. С. Хрущева в США. М., 1960, с. 140.

[58] «Сталин всю свою жизнь... убеждал нас в том, что мы негодные люди, что мы не можем устоять против сил империализма, что при первом контакте мы не сможем достойно представлять и защищать свою Родину...» — Хрущев, с. 177.

[59] См. Лицом к лицу с Америкой, с. 172, 173, 176.

[60] Беседа Н. С. Хрущева по американскому телевидению. «Правда», 11 октября 1960 г.

[61] Хрущев, с. 184.

[62] Н. Лесков. Левша. Собр. соч. в 11 тт., М., 1958, т. 7, с. 26, 27, 29—30.

[63] Лицом к лицу с Америкой, с. 333.

[64] См. Хрущев, с. 162.

[65] Макиавелли, с. 353, 357.

[66] Хрущев, с. 258.

[67] См. Эрнст Неизвестный. Говорит Неизвестный. Франкфурт, 1984, с. 14; и Медведев, с. 226.

[68] См. «Правда», 11 октября 1960 г.

[69] «Я в жизни, пожалуй, не встречался с человеком более некультурным. Одновременно я чувствовал в нем биологическую мощь и психобиологическую хватку».— Неизвестный, с. 16.

[70] См. Edward Crankshaw. Khrushchev: A Career. New York, 1966, p. 256.

[71] См. Медведев, сс. 246, 247.

[72] Выступление Н. С. Хрущева на дневном заседании Генеральной ассамблеи ООН. «Правда», 15 октября 1960 г.

[73] Там же.

[74] См. Заключительное слово Н. С. Хрущева на XXII съезде КПСС. «Правда», 29 октября 1961 г.

[75] «— У нас в некоторых районах, жители которых никогда не видели, например, верблюда, возникает большое скопление народа, если верблюд появляется. Всем хочется его посмотреть, а кое-кто желает и за хвост подергать... Здесь собрался цвет капиталистического Нью-Йорка. И вдруг среди столь избранной публики... появляется коммунист. Понятно, что возникает желание посмотреть на него, а если у него окажется хвост, то и подергать за него».— Лицом к лицу с Америкой, с. 59.

[76] Там же, с. 170.

[77] Цит. по кн.: Роберт Кайзер. Россия: власть и народ. Анн Арбор (США), 1976, с. 248.

[78] Большая Советская Энциклопедия, т. 24, I. М., 1976, с. 25.

[79] Ел. Бауман. Испытание временем. «Искусство кино», 1966, № 1, с. 46.

[80] Л. Лерман. Залом на реке. «Огонек», 1963, № 40.

[81] «Огонек», 1962, № 33.

[82] «Огонек», 1965, № 11.

[83] Репортаж «В Тайде — смогли!» «Огонек», 1963, № 39.

[84] «Огонек», 1965, № 34.

[85] «Огонек», 1968, № 2.

[86] Стихи Александра Прокофьева. «Огонек», 1967, № 46.

[87] Стихи Ю. Панкратова и Х. Хабарова. «Огонек», 1965, № 24.

[88] Писатель Михаил Алексеев проявил нечастую в то время готовность признать себя Востоком, чтобы подчеркнуть после полета Гагарина победу над Америкой: «Восток, а не Запад, гражданин Союза ССР, а не Соединенных Штатов, черт возьми!» — «Огонек», 1961, № 16.

[89] Характерное изображение впервые появившегося в повествовании персонажа: «Он сидел на стуле, небрежно положив ногу на ногу, выставив напоказ пестрые носки, с которых насмешливо улыбались обезьяньи морды» — В. Ватис. Служба милицейская. «Огонек», 1962, № 23.

[90] «Спрашиваю: почему мы можем допустить, чтобы на территории Ленинграда велась организованная и продуманная пропаганда чуждых нам (да и вообще человеку) архитектурных стилей, и боимся хоть на одну тысячную долю популяризировать древнее русское искусство?» — Владимир Солоухин. Письма из Русского музея. В кн.: В. Солоухин. Славянская тетрадь. М., 1972, с. 149—150. (Впервые «Письма из русского музея» были напечатаны в 1966 году.)

[91] Там же, с. 118.

[92] «Огонек», 1965, № 15.

[93] В этом отношении показательна дискуссия о западном кино и его вредном влиянии на советское общество, которая развернулась в 1968 году в «Огоньке». Участники дискуссии подчеркивали прямую связь кинофильмов вроде «Фантома-

са», «Великолепной семерки», «Ограбления почтового поезда» с преступностью. «Они очень опасны, эти фильмы: они показывают, как надо убить, замести следы и скрыться» (В. Кенджаева, Таджикская ССР — № 32). «Мой сосед — второклассник. Посмотрев «Фантомас», он постоянно старается «убить» кого-нибудь из-за угла игрушечным пистолетом» (Т. Коган, Чимкент — № 32). «Выявилась зависимость между противоправным поведением подростков и вредным влиянием на них кинофильмов... После просмотра картины «Под черной маской» группа учащихся Карагандинского техникума, закрыв лицо шарфами — как герои фильма! — в один вечер совершили семь ограблений» — Б. Викторов, зам. министра охраны общественного порядка СССР — № 32). Дискуссия выявила и другую отрицательную сторону западного кино — пропаганду нравственной распущенности. «В постели сцены доводят почти до... всего. Попробуй девушка после такой «науки» соблюдать честь и гордость!» (№ 43). «Короткие до безобразия юбки, кричащего цвета платья, снопы начесов на голове, тоже неподобного цвета. Почему мы во многом подражаем кому-то, забывая свое, русское, национальное? Пишу, лежа на больничной койке» (В. Ф. Каверина, Майкоп — № 32). В подведении итогов дискуссии сообщается, что ряд фильмов снят с проката, в том числе: американские «Великолепная семерка» и «Семь невест для семи братьев», французский «Бабетта идет на войну», итальянские «Вчера, сегодня, завтра» и «Рокко и его братья». Рекомендуются к просмотру: «Софья Перовская», «Верность матери», «Ленин в Польше» и др. (№ 43).

[94] В этом перечне требует пояснения имя Паскутти. Это итальянский футболист, во время международного матча ударивший по лицу советского защитника Дубинского. Такой поступок в сочетании с подходящей в русском звучании фамилией сделал Паскутти «единицей подлости», по выражению одного из сатириков, и объектом народного возмущения.

[95] А. Поперечный. Красуха. «Огонек», 1962, № 20.

[96] «Заехал недавно в Суздаль банкир Ротшильд.— Вы по золоту ходите!» — «Огонек», 1965, № 46.

[97] Владимир Солоухин. Третья охота. М., 1968, с. 70.

[98] Там же, с. 47.

[99] См. рассказ «Одни». Василий Шукшин. Сельские жители. М., 1963. сс. 134—141.

[100] Там же, с. 110.

[101] Напоминания о реальности подобных героев встречались в тогдашней периодике: М. Я. Монзалевская из Калуги делает картины из хлопка — «Весна в Крыму», «Шторм на море» («Огонек», 1968, № 6); Иван Миронович Бойко из деревни Яремча ездит на построенном им самим деревянном велосипеде («Огонек», 1966, № 28).

[102] Шукшин, с. 91.

[103] Цит. по: Борис Парамонов. Славянофильство. «Грани», № 135, 1985, с. 204.

[104] Там же.

[105] Николай Бердяев. Русская идея. Париж, 1971, с. 6.

[106] Н. О. Лосский. Характер русского народа. Франкфурт, 1957, с. 138.

[107] Ф. М. Достоевский. Бесы. Собр. соч. в 10 тт., т. 7, М., 1957, с. 187.

[108] Там же, с. 263.

[109] См. главу настоящей книги «Перевернутый айсберг. Америка».

[110] Бердяев, с. 255.

[1] Александр Солженицын. Раковый корпус. Собрание сочинений. Вермонт-Париж, 1978, т. 4, с. 200. Далее ссылки на это издание: Соч. Вермонт.

[2] «Один день Ивана Денисовича» — № 11, 1962; «Матренин двор» и «Случай на станции Кречетовка» — № 1, 1963; «Для пользы дела» — № 7, 1963; «Захар-Калита» — № 1, 1966.

[3] Критик — Н. Ульянов в нью-йоркской газете «Новое русское слово». См. Жорж Нива. Солженицын. Лондон, OPI, 1984, с. 57.

[4] Пьеса «Олень и шалашовка» (в первоначальном варианте — «Республика труда») в декабре 1962 г. была принята театром «Современник», но не поставлена. Пьеса «Свет, который в тебе» («Свеча на ветру») рассматривалась, по свидетельству Солженицына (Соч. Вермонт, 1981, т. 8, с. 592), Московским театром Ленинского комсомола, Вахтанговским театром, Ленинградским театром комедии.

[5] В. Лакшин. Писатель, читатель, критик. Статья вторая. «Новый мир», 1966, № 8, с. 222.

[6] Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Париж, ИМКА-Пресс, 1980, т. 2, с. 472.

[7] Н. Решетовская. В споре со временем. Москва, АПН, с. 192.

[8] А. Солженицын. Бодался теленок с дубом. Париж, ИМКА-Пресс, 1975, с. 72.

[9] Один день Ивана Денисовича. «Новый мир», 1962, № 11, с. 74.

[10] В. Лакшин. Иван Денисович, его друзья и недруги. «Новый мир», 1964, № 1, с. 234.

[11] Раковый корпус, с. 393.

[12] См. В. Лакшин. Иван Денисович, его друзья и недруги, с. 245.

[13] Матренин двор. Соч. Вермонт, 1978, т. 3, с. 142.

[14] Григорий Померанц. Сон о справедливом возмездии. «Синтаксис», 1980, № 6, с. 86.

[15] Теленок, с. 16.

[16] Матренин двор, с. 151.

[17] Там же, с. 129.

[18] Слова В. Лакшина — «Новый мир», 1964, № 1, с. 245.

[19] Соч. Вермонт, 1978, т. 3, с. 328.

[20] Для пользы дела. «Новый мир», 1963, № 7, с. 87. Примечательно, что эти слова своего персонажа Солженицын произнес в разговоре с секретарем ЦК КПСС П. Демичевым — см. Теленок, с. 107.

[21] Теленок, с. 164, 231, 408.

[22] Там же, с. 43, 13.

[23] Там же, с. 314, 279.

[24] Там же, с. 126, 163.

[25] См. В. Лакшин. Солженицын, Твардовский и «Новый мир». В кн.: Двадцатый век. Избранные материалы из самиздатского журнала «XX век». Лондон, 1977. Г. Померанц. Сон о справедливом возмездии. Н. Решетовская. В споре со временем. Л. Копелев. Утоли моя печали. Анн-Арбор (США), 1981. Ж. Медведев. Десять лет после «Одного дня Ивана Денисовича». Лондон, 1973. Ж. Нива. Солженицын. Deming Brawn. Soviet Russian Literature since Stalin. Camb., 1978. Michael Scammell. Solzhenitsyn. New York, 1984.

[26] Теленок, с. 107, 142, 56, 71, 98.

[27] «С трибуны пленума Хрущев заявил, что это — важная и нужная книга (моей фамилии он не выговаривал и называл автора тоже Иваном Денисовичем)». — Теленок, с. 54.

[28] Там же, с. 253.

[29] См. Соч. Вермонт, 1978, т. 3, с. 321—328, т. 4, с. 503; 1981, т. 8, с. 591—593.

[30] Костоглотов соотносит увиденное им в Ташкентском зоопарке с собственными представлениями старого лагерника: хищники — блатные, тигр — Сталин. «При клетке надпись: «Неволю белые совы переносят плохо». Знают же! — и все-таки сажают! ...Другая надпись: «Дикобраз ведет ночной образ жизни». Знаем: в полдесятого вечера вызывают, в четыре утра отпускают. А «барсук живет в глубоких и сложных норах». Вот это по-нашему! Молодец, барсук, а что остается?» — Раковый корпус, с. 472—478.

[31] Образованщина. Соч. Вермонт, 1981, т. 9, с. 107, 103. Ср.: «В нежелании Александра Исаевича понимать иронию... мне чудятся традиции самодержавия, для которого насмешка — слово и дело государево, оскорбление величества, контрреволюционная агитация и пропаганда». — Померанц, с. 81.

[32] Теленок, с. 231.

[33] Захар-Калита. Соч. Вермонт, 1978, т. 3, с. 301.

[34] «Новый мир», 1963, № 10, с. 193—194.

[35] «Крокодил», 1963, № 36.

НАСТЕНА
(А. МАТРЕНИН-ДВОРИН)

Почитай, еще целый год после того с опаской открывали люди толстую журнальную книжку и льнули к оглавлению: что там, нет ли чего?

Нет, пошелестев 288 страницами, люди шли дальше.

Только корректоры знали и помнили, отчего это все. Да я.

1

Уж к лютой зиме шло дело, когда опять захотелось мне затесаться и затеряться в самой нутряной России. К Новому году дело шло.

Маненько подался я самоходом по шаше — и замелькали вокруг деревеньки: Шкворни, Оглоблино, Чересседельники, Супоньцы, Шлеино. Кондовой Россией подуло.

Ночь застигла самоход и меня самое как раз тут.

— К Настене тебе надо, — посоветовала старуха, держа под уздцы бело-грязную криворогую козу. — Не в запущи Настена живет, а уборно. У нее и ночуй.

— Заходи, заходи желадной, — сказала Настена. — Избы не жалко. Только вот не умевши, не варемши как утрафишь?

Просветлел тут весь я. Куда надобно, думаю, попал.

А хозяйка к ужоткому стол накрывает. К ужоткому — к ужину, значит. Поставил блюдо с моченой брусникой.

— Поточи зубки, Игнатич.

Потом сало несет, холодец, грибки соленые, огурчики в маринаде.

«Ну, — думаю, — выдралась из колотной своей житенки, баба». А сам присматриваюсь: не перекособочена избенка, не видно на стене древних сельповских ходиков, не тянет дуель в окна. Кошка молода и не как та — без всякой порции: не колченога, не хромает. Не доносится из-за перегородки непрерывный, как далекий шум океана, шорох таракана. Тот шорох, с которым я так свыкся, ибо в нем не было ничего злого и лжи тоже не было.

2

— Иззаботилась я,— говорит мне Настена,— да не знаю, угожу ли.— Ведь Новый год встречаем, Игнатич.

А сама все ни картовь мне ни несет, ни суп картонный.

Влез я тогда опять в свою телогрейку, удалился за занавеску и сел писать святочный рассказ.

3

Не о Настене, конечно. А о той праведнице, у которой прожил я почти всю зиму и которой обещал машину торфа предоставить.

Рассказ, без которого не устоит на ногах ни один истинно русский писатель.

Ни журнал.

Ни вся литература наша.

Михаил ГРИГОРЬЕВ

[36] Не обычай дегтем щи белить, на то сметана. «Литературная газета», 4 ноября 1965 г.

[37] Некоторые грамматические соображения. Соч. Вермонт, 1981, т. 10, с. 557—560.

[38] Нива, с. 177.

[39] Теленок, с. 182.

[40] «Дело Солженицына». См.: А. Солженицын. Собр. соч. в шести томах. Франкфурт, 1973, т. 6, с. 26.

[41] Медведев, с. 84.

[42] «...Круто и необратимо разбежались наши литературы».— Теленок, с. 176.

[43] На возврате дыхания и сознания. Соч. Вермонт, 1981, т. 9, с. 25.

[44] Там же, с. 37.

[45] Жить не по лжи! Соч. Вермонт, 1981, т. 9, с. 168.

[46] Образованщина, с. 109.

[47] Письмо вождям Советского Союза. Соч. Вермонт, 1981, т. 9, с. 135.

[48] Об этом Солженицын покаянно написал через несколько лет: «Оправдание трусости? Или разумные доводы? Я — смолчал. С этого мига — добавочный груз на моих плечах» — Теленок, с. 243.

[49] См. Л. Алексеева. История инакомыслия в СССР. Хроника-пресс, США, 1984, гл. «Православие».

[50] Р. Юренев. Один день юных. «Искусство кино», 1964, № 44, с. 27.

[51] И. Ильф, Е. Петров. Золотой теленок. Собр. соч. в 5 тт., т. 2, М., 1961, с. 198.

[52] Спутник атеиста, М., 1959 г., с. III.

[53] М. Михайлов. Лето московское. 1964. «Посев», 1967 г., с. 100.

[54] Б. Парамонов. Согласно Юнгу. «Континент», 1983, № 37, с. 290—291.

[55] А. и Б. Стругацкие. Трудно быть богом. М., 1966, с. 175.

[56] А. и Б. Стругацкие. Улитка на склоне. «Посев», 1972, с. III.

[57] П. Гайденко. Экзистенциализм и проблема культуры. М., 1963. Современный экзистенциализм. М., 1966, Э. Соловьев. Экзистенциализм. «Вопросы философии», 1966, № 12, 1967, № 1 и некоторые другие.

[58] Цит. по: В. Матусевич. Жестокий мир Ингмара Бергмана. «Искусство кино», 1964, № 4, с. 110.

[59] Альбер Камю. Падение. «Новый мир», 1969, № 5, с. 150.
[60] См. прим. 20.
[61] В. Солоухин. Черные доски. М., 1972, с. 247. Книга «Черные доски», впервые опубликованная в 1969 г., продолжала тему собирательства предшествующих книг Солоухина — «Славянская тетрадь» (1965), «Письма из русского музея» (1966), «Третья охота» (1967).
[62] См. Л. Гёллер. Вселенная за пределами догмы. «Оверис», Лондон, 1985, с. 336—346.
[63] В середине 60-х при Академии медицинских наук образован Институт по изучению явлений парапсихологии. К 1970 году библиография материалов по вопросам парапсихологии, выпущенных в коммунистических странах, насчитывала 263 названия.
[64] Л. Гумилев. Поиски вымышленного царства. М., 1970, с. 402.
[65] А. Платонов. Сокровенный человек. Собр. соч. в 3 томах, М., 1984, т. 1, с. 363.
[66] Д. Лихачев. Поэтика древнерусской литературы. М., 1979, с. 12. Первое издание вышло в 1967 г. В 1969 г. академику Д. Лихачеву за эту книгу присуждена Государственная премия СССР.
[67] А. Кончаловский, А. Тарковский. Андрей Рублев. Киносценарий. «Искусство кино», 1964, № 4, с. 170.
[68] Там же.
[69] См. А. Янов. Идеальное государство Геннадия Шиманова. «Синтаксис», № 1, 1978.
[70] Позже эта концепция нашла полное развитие в книге одного из ведущих писателей-«деревенщиков» В. Белова. См. его книгу «Лад», М., 1982.
[71] См. прим. 69.
[72] Н. Бердяев. Русская идея. ИМКА-пресс, Париж, 1971, с. 253.
[73] «Письмо вождям» А. Солженицына стало широко известно в самиздате с 1973 г.
[74] См. «Огонек», 1962, № 11.
[75] См. «Огонек», 1964, № 28. Репортаж начинался словами «Коллектив широко известен в Африке...»
[76] Цит. по кн.: А. Сахаров в борьбе за мир. Франкфурт, 1973, с. 56, 38.
[77] Там же, с. 62.
[78] «Все эти позорные явления приближаются по масштабам к печально знаменитому маккартизму...» — Там же, с. 46.
[79] Там же, с. 37.
[80] Там же, с. 62.
[81] «Правда», 23 апреля 1968.
[82] См. Э. Каррер д'Анкосс. Расколотая империя. Лондон, 1982, с. 47.
[83] А. Солженицын. Соч. Вермонт, 1978, т. 3, с. 37.
[84] И. Ефремов. Сердце змеи. М., 1967, с. 47.
[85] А. Амальрик. Просуществует ли Советский Союз до 1984 года? В кн.: А. Амальрик. СССР и Запад в одной лодке. Лондон, 1978, с. 33.
[86] М. Хейфец. К истории написания статьи «Иосиф Бродский и наше поколение». В кн.: Поэтика Бродского. Тенафлай (США), 1986, с. 235. Статья, упомянутая в заглавии, должна была служить предисловием к неосуществленному самиздатскому собранию сочинений И. Бродского. М. Хейфец за написание этой статьи в 1974 году был осужден на 4 года лагерей и 2 года ссылки.
[87] Г. Шиманов. Против течения. Цит. по: «Синтаксис», № 1, 1978, с. 34.
[88] Цит. по: А. Солженицын. Образованщина, с. 105.

[89] Каламбур В. Бахчаняна.
[90] А. Раннит. «Континент», № 43, 1985, с. 22.
[91] Я. Каплинский. Там же, с. 22—24.
[92] И. Бродский. Стихотворения и поэмы. Вашингтон — Нью-Йорк, 1965, с. 67.
[93] М. Хейфец, с. 235. Эта цитата — отрывок из несохранившегося предисловия к сочинениям Бродского (см. прим. 89). Хейфец работал над предисловием в 1973 г.
[94] Письмо генералу Z. (1969). В кн.: И. Бродский. Конец прекрасной эпохи. Анн Арбор (США), 1977, с. 31.
[95] Конец прекрасной эпохи (1969). Там же, с. 59.
[96] Зимним вечером в Ялте (1969). В кн.: И Бродский. Остановка в пустыне. Нью-Йорк, 1970, с. 135.
[97] Письма с Понта, IV, 2. В кн.: Овидий. Скорбные элегии. Письма с Понта. М., 1978, с. 140.
[98] Письмо генералу Z., с. 34.
[99] Сахаров, с. 62.
[100] Post Aetatem Nostram (1970). Конец прекрасной эпохи, с. 94.
[101] Амальрик, с. 49—50.
[102] Письмо вождям Советского Союза, с. 156.
[103] Автор «Сатирикона» Петроний, характерно прозванный «арбитром изящного», типологически близок к полулегендарной личности Венедикта Ерофеева. См. характеристику Петрония у Тацита (Анналы, XVII, 18): «Его слова и поступки воспринимались как свидетельство присущего ему простодушия, и чем непринужденнее они были и чем явственнее поступала в них какая-то особого рода небрежность, тем благосклоннее к ним относились».
[104] В. Ерофеев. Москва — Петушки. Париж, 1977, с. 9.
[105] В. Урин. Равнодушные. «Огонек», 1968, № 33.

РУИНЫ УТОПИИ

[1] «Что такое маланец? — Еврей. — А почему же маланец? — Ну, сказать человеку «еврей» неудобно, — пояснила Людмила». — В. Войнович. Путем взаимной переписки. Париж, 1979, с. 119.
[2] «Литературная газета», 19 сентября 1961 г.
[3] Номер польской газеты на идиш «Фолксштиме» от 18 апреля 1963 года, где впервые были опубликованы эти данные, стал бестселлером еврейского самиздата.
[4] Статистика особенно важна была для западных защитников советского еврейства. Ведь только по ней они могли судить о положении евреев внутри СССР. Так, например, в Америке детально обсуждался вопрос о выходе книг на идиш. Выяснялось, что «общее число выпущенных на родном языке книг оказывается даже в абсолютных цифрах у бурят и кабардинцев в 42,5 раза больше, чем у евреев, у якутов даже в 88 раз больше». (С. Шварц. Евреи в Советском Союзе. Нью-Йорк, 1966, с. 280). Важную роль играла статистика и позднее — в переписке активистов алии с чиновниками советского правительства. С помощью статистики доказывалась невозможность евреев осуществить национальную самоидентификацию внутри СССР.
[5] С. Довлатов. Соло на ундервуде. Париж — Нью-Йорк, 1980, с. 14.
[6] А. Воронель. Трепет иудейских забот. Иерусалим, 1981, с. 33—34.
[7] «Огонек», 1967, № 26.
[8] «После Шестидневной войны с карты Израиля в новых границах (и — что

было очень важно — с русскими названиями городов и поселений) было сделано около пятисот фотоотпечатков, и эта узкая, вертикальная карта замелькала на стенах московских, ленинградских, киевских, одесских, минских квартир и стала зримым воплощением мечты, рассчитанной в километрах». — В. Лазарис. Диссиденты и евреи. Тель-Авив, 1981, с. 94.

[9] Э. Кузнецов. Дневники, Париж, 1973, с. 81.

[10] Из речи в день 70-летия, произнесенной по московскому радио в 1961 г. Цит. по кн.: М. Вайнштейн «Антисемитизм... и завтра?!». Иерусалим, 1983, с. 223.

[11] См. прим. 2.

[12] Лазарис, с. 22.

[13] Любопытно, что похожее мнение высказал Хрущев еще в 1958 году в интервью газете «Фигаро»: «...Характерная черта евреев — они по существу интеллигентны. Они никогда не считают себя достаточно образованными. Как только представляется возможность, они хотят поступать в университет... Нельзя бороться против воли к творчеству, как нельзя бороться и против негативной воли. Вот почему я отношусь скептически к возможности создания прочного еврейского общества». — Цит. по: Шварц, с. 264—265.

[14] А. Воронель, с. 30, 44, 32.

[15] Л. Тумерман. Если бы молодость знала. В кн.: Мой путь в Израиль. Тель-Авив, 1977, с. 18.

[16] И. Рубин. Оглянись в слезах. Иерусалим, 1977, с. 213.

[17] Там же, с. 217. Слова Б. Хазанова.

[18] Воронель, с. 202. Название «Москва — Иерусалим» получило и израильское русское издательство, одним из основателей которого был А. Воронель.

[19] Там же, с 201.

[20] Проблеме столкновения идеалов эмигрантов с западной реальностью авторы посвятили отдельную книгу — П. Вайль, А. Генис. Потерянный рай. Эмиграция: попытка автопортрета. Иерусалим, 1983.

[21] З. Млинарж. Холодом веет от Кремля. Нью-Йорк, 1983, с. 168.

[22] «За социализм и мир!» Этот лозунг на здании я помню с тех пор, как стал способен понимать окружающее. Однако прошло лишь семь месяцев со времени, когда эта надпись понемногу начала приобретать свой первоначальный смысл». — Всем студентам мира. «Студент», 23 августа 1968 г. Цит. по кн.: Н. Горбаневская. Полдень. Франкфурт, 1970, с. 53.

[23] Млинарж, с. 135.

[24] «Политический дневник», № 43, апрель 1968. В кн.: Политический дневник. Амстердам, 1975, т. 2, с. 273.

[25] Млинарж, с. 73.

[26] Цит. по: A. Levy. So many heroes. New York, 1980, p. 71.

[27] Цит. по: «Политический дневник», № 43, апрель 1968. В кн.: Политический дневник. Амстердам, 1972, т. 1, с. 332.

[28] Млинарж, с. 138.

[29] Программа действий КПЧ. Цит. по: Политический дневник, с. 321, 323.

[30] В. Белоградски. Литература как критика банального зла. «Континент», № 16, 1978, с. 167.

[31] Интервью Э. Лебла газете «Монд», Цит. по: Политический дневник, с. 404.

[32] Речь Дубчека на мартовском пленуме 1968 года ЦК КПЧ. Там же, с. 315.

[33] Млинард, с. 134.

[34] Там же, с. 34.

[35] М. Кундера. Похищенный Запад, или Трагедия Центральной Европы, «22», № 42, 1985, с. 183.

[36] Млинарж, с. 279.

[37] Цит. по: Levy, с. 257.

[38] Там же, с. 241, 235.

[39] The Cztch black book, N.Y.—W.—L., 1969, p. 19.

[40] «Мы сидели вокруг стола и молчали — нам в затылки были направлены автоматы. Богумил Шимон протянул руку к книжному шкафу и вынул *первую попавшуюся книгу*. (курсив наш — Авт.). Это была история древней Греции.— Давайте посмотрим, что нас ожидает, сказал Шимон, открыл книгу и выбрал предложение. В этом отрывке излагался тезис, кажется, Платона, о том, что демократия — это не лучшее общественное устройство, поскольку приводит к упадку дисциплины, и звери свободно ходят по улицам.— Так видите, товарищи, почему они здесь,— сказал Шимон и закрыл книгу...» — Млинарж, с. 210.

[41] Levy, p. 273.

[42] Там же, с. 246, 247, 282.

[43] Там же, с. 263.

[44] Там же, с. 236—37.

[45] Маршал Гречко во время переговоров с чехословацкими руководителями воскликнул: «Все мы читали Швейка...» — Там же, с. 358.

[46] См. там же, с. 358.

[47] Там же, с. 344.

[48] «О силе демократических принципов, завоеванных страной в последний год, следует судить по неспособности их защитить. Демократия, если она хочет остаться демократией, не может эффективно сопротивляться тоталитаризму».— Иржи Муха. Прага после Палаха. The New York Review, 27 февраля 1969 г.

[49] Авторы были свидетелями этого трагического инцидента 13 апреля 1969 г.

[50] В. Фирсов. Республики бессмертия. «Огонек», 1968, № 35.

[51] Горбаневская, с. 103.

[52] Письмо А. Якобсона. Там же, с. 495.

[53] См. там же, с. 326.

[54] В. Аксенов. Затоваренная бочкотара. Рандеву. Нью-Йорк, 1980, с. 29.

[55] Цит. по: Млинарж, с. 280.

[56] Речь Ф. Дюрренматта в городском театре Базеля. Цит. по: Политический дневник, т. 2, с. 247, 248, 252.

[57] Там же, с. 250.

[58] М. Кундера. Предисловие к вариациям. New York Times, 6 января 1985.

[59] М. Кундера. Похищенный Запад, с. 185, 195.

[60] Н. Добролюбов. Русская сатира в век Екатерины. Соб. соч. в 3 тт., М., 1952 г., т. 2, с. 322.

[61] Г. Державин. Фелица. В кн.: Оды. Л., 1985, с. 63.

[62] Цит. по: Голоса из России. Сборники А. И. Герцена и Н. П. Огарева. М., 1975, кн. I, с. 6.

[63] Ф. М. Достоевский. Подросток. Соб. соч. в 10 тт., М., 1957, т. 8, с. 621—622.

[64] Абрам Терц. Литературный процесс в России. «Континент», № 1, 1974, с. 170.

[65] Виктор Шкловский. Сентиментальное путешествие. Москва — Берлин, 1923, с. 233—234.

[66] Достоевский, с. 625.

ОГЛАВЛЕНИЕ

От авторов 5

КНИГА ПЕРВАЯ

ФУНДАМЕНТ УТОПИИ

20 г. до н. э. Коммунизм 12
Путем пирамиды. Космос 22
Соавтор эпохи. Поэзия 30

ИНТЕРВЕНЦИЯ

Березовые пальмы. Европа 42
Метафора революции. Куба 52
Перевернутый айсберг. Америка 64

В ПОИСКАХ ГЕРОЕВ

География вместо истории. Сибирь 80
Непотерянное поколение. Война 88
Физики и лирики. Наука 100

МАРШ ЭНТУЗИАСТОВ

Накануне праздника. Школа 112
Дорога никуда. Романтика 126
Смех без причины. Юмор 142

КНИГА ВТОРАЯ

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

Что делать? Полемика 160
Кто виноват? Диссидентство 176
Чего же ты хочешь? Богема 190

ВЛАСТЬ МАСС

Тройной прыжок. Спорт 206
Борец и клоун. Вожди 218
Крона и корни. Народ 232

СЛОВО КАК ДЕЛО

Поиски жанра. Солженицын 246
Русский бог. Метафизика 262
На окраине Третьего Рима. Империя 278

РУИНЫ УТОПИИ

Последняя тайна. Евреи 298
Культ личности. Прага 310
Страна слов. Эпилог 324
Примечания 332

**ВАЙЛЬ ПЕТР,
ГЕНИС АЛЕКСАНДР**

**60-Е,
МИР СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА**

Редактор *О. Тимофеева*
Художник *О. Смирнов*
Художественный редактор *А. Верцайзер*
Технический редактор *Л. Чуева*
Корректор *Т. Озерская*

Адрес издательства:
129626, Москва,
абонементный ящик 55,
тел.: (095) 976-4788
факс: (095) 977 08 28
e-mail: nlo.ltd@g23.relcom.ru

ЛР № 061083 от 6.05.97
Формат 60×90$^{1}/_{16}$ Бумага офсетная № 1.
Офсетная печать. Усл. печ. л.23,0.
Зак. № 4484.

Отпечатано с диапозитивов
в ППО "Известия"
103798, Москва, Пушкинская пл., 5.